

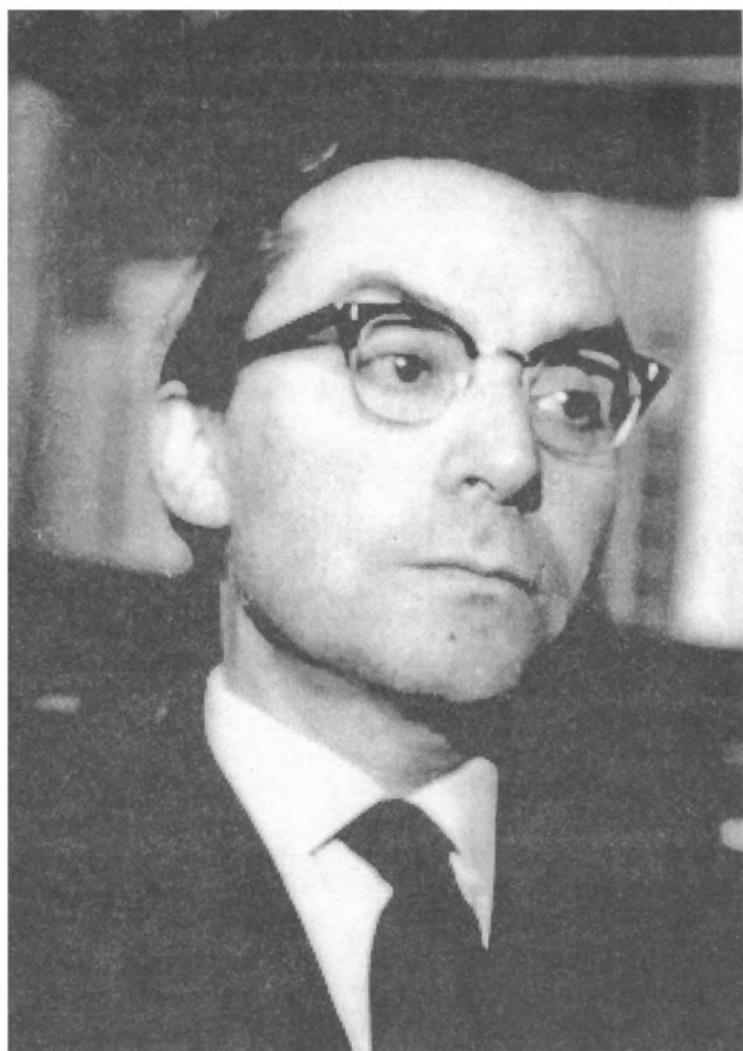
Аркадий
БЕЛИНКОВ

Россия и черт

роман • рассказы • пьеса • допросы

ДЕЛО № 711

**Журнал «Звезда»
Санкт-Петербург
2000**



Аркадий
БЕЛИНКОВ



роман • рассказы • пьеса • допросы

ББК 84.Р7
Б 43

*Издание составила и подготовила
Н. В. Белинкова-Яблокова*

ISBN 5-7430-0071-X

© Н. В. Белинкова-Яблокова, 2000
© В. А. Гусаков, художественное
оформление, 2000

Правда вымысла прокладывает дорогу правде факта

Аркадий Викторович Белинков (29.IX.1921—14.V.1970) вошел в отечественную литературу в 60-е годы. Многие его сверстники к этому времени успели продвинуться в иерархи советской литературы. А ему уже было сорок, когда его первая книга вышла в свет — через пять лет после освобождения из ГУЛага.

Аркадий Белинков стал известен как литературовед — автор книг о писателях советского периода русской истории — Юрии Тынянове и Юрии Олеше. В этих исследовательских работах анализ художественных особенностей писателей рассматривался с точки зрения их социального поведения в тоталитарном обществе. Белинков считал, что творческая личность, выполняющая «социальный заказ» господствующей власти и добровольно «наступающая на горло собственной песне», разрушает свой талант, становится бесплодной. Такое отношение к герою в 60-е годы было новинкой и неожиданностью. Еще более удивляло, что серьезные идеологические и социологические проблемы в книгах Белинкова разрешались приемами художественной прозы. Его книги называли литературоведческими романами, а о нем самом говорили, скорее, как о художнике, чем как об авторе академических трудов. Истоки его необычного творческого метода терялись в 40-х годах. Было только известно, что в 1944 году А. Белинков угодил в ГУ-Лаг за роман «Черновик чувств», а потом к его первому сроку был прибавлен второй, за вещи, написанные в лагере. Считалось, что они пропали навсегда.

Через четверть века после смерти автора и через полвека после того, как эти работы были написаны, в архивах бывшего КГБ их обнаружил Г. Файман. Рукописи, конечно, не горят... Но выцветают, что ли, со

временем. Ведь необходимое условие полноценной жизни художественного произведения — быть представленным современникам — нарушено. Живая связь между писателем и читателем — утрачена навсегда.

В книге «Россия и Черт» собраны вещи Аркадия Белинкова, написанные в середине XX века, а читают их люди, живущие в другую историческую эпоху, накануне века XXI. И, хотя живет младое и незнакомое племя новых читателей на тех же широтах, где когда-то пребывал автор, находятся они в другом государстве — не в СССР, а в России, стране с иным политическим строем, с иными ценностями. Боль у них — другая. Многие известные имена теперь забылись, бытовые детали, актуальные события последующих лет ушли в прошлое. Романтизм и пафос как Аркадия — литературного героя, так и Аркадия — реального человека, направленные против советской системы, современному читателю могут показаться старомодными. Но категории общественного поведения — преданность и предательство, смелость и трусость, мудрость и глупость, благородство и пошлость (что и составляет содержание работ Белинкова) — внесоциальны и устареть не могут.

В эту книгу просят объяснения и комментарии. Но вместо них будут только протоколы допросов, судебные документы и... даты. Иногда даже часы. Как раз тот случай, когда цифры бывают красноречивее слов.

Протоколы двух следственных дел, помещенных вперемежку с произведениями, из-за которых они возникли, подчеркивают такую особенность ранних вещей Белинкова, как нераздельность жизненного материала (угадываемого в тексте) и вторичной действительности (созданной его воображением). Почти все его литературные герои называются именами реальных людей, с которыми Аркадий так или иначе соприкасался: друзья — Генрих, Аня, возлюбленная — Марианна, жена — Наташа, литературный критик — Ермилов, поэт — Константин Симонов. Главный литературный герой по имени Аркадий изображен бескомпромиссным молодым человеком, идущим на неистовый конфликт с властью и сервильным обществом во имя спасения мировой культуры, бескомпромис-

сным героем, готовым отдать свою жизнь в борьбе с тираническим режимом. В нем много от реального Аркадия Белинкова. Другие литературные характеры тоже выступают в довольно правдоподобном соответствии с поведением тех людей, с которых списаны. Тем не менее никак нельзя отождествлять литературных героев с их прототипами. Ситуации, в которых правдиво проявляются или развиваются особенности характера как самого автора, так и избранных им прототипов, — вымышлены. В рассказе «Челoveчьe мясо» Аркадий выполняет работу банщика и намывает голову (отнюдь не в метафорическом смысле) критику Ермилову. В драме «Роль труда» Марианна прыгает вслед за Аркадием из окна. В рассказе «Побег» Наташа надевает на голову преследователя сумку в красную и черную клетку.

И все же возникает искушение воспринимать прозу Аркадия Белинкова как автобиографическую, поскольку реальная линия авторской судьбы совпадает с рисунком жизни его главного героя (одного и того же, проходящего через все вещи): тюремное заключение, невозможность опубликовать свои произведения из-за их политической направленности, планы по передаче рукописей за границу, контакты с американцами, рискованное бегство.

И ничего удивительного в этом совпадении не было бы, если бы не одно обстоятельство. То, что совпало с реальной биографией, было вымышлено до того, как случилось на самом деле. Все происходило в обратном порядке: не литература копировала жизнь, а действительность следовала за литературой. Неизбежность судебной расправы забрезжила еще в «Черновике чувств». «Аркадий, вас непременно посадят!» — восклицает литературная Марианна по адресу литературного Аркадия за год до первого ареста самого автора. Тема бегства и погони проходит почти через всю прозу Белинкова 50-х годов за двадцать лет до действительного пересечения им границы. По следам событий написан, пожалуй, единственный рассказ — «Побег». Но и в нем довольно точно предсказано взаимное непонимание между беглецом из СССР и прогрессивной американской интеллигенцией.

Читатель, конечно, заметит, как изящная проза двадцатилетнего молодого человека сменяется на жесткую, жестокую прозу опытного лагерника. Становится ясным путь, который привел писателя к созданию зрелых книг 60-х годов; объясняется безапелляционная требовательность, предъявляемая им к своим сверстникам и даже учителям — Виктору Шкловскому, Илье Сельвинскому... Но мне хочется обратить внимание на некую перевернутую схему. Литературный гротеск лагерного периода, созданный Аркадием Белинковым, зачастую в натуралистической манере, кажется «беллетристической» в сравнении с тем, что действительно происходило вокруг, а записанные следователями протоколы допросов с их страшным «Допрос прерван» приобретают черты сатирического художественного произведения.

Мы жили в стране абсурда.

Н. Белинкова-Яблокова

Монтерей, США

Большая зона



Дипломная работа

Аркадию Белинкову, автору романа «Черновик чувств», так непохожего на то, что создавалось в советской литературе военных лет, было 22 года, когда он вынес свое неординарное произведение на суд братьев по литературному цеху.

Не только его творение, сам Аркадий — студент Литературного института при СП СССР — отличался от своих сверстников. Вызывающе одевался. Носил бородку. Обладал исключительными знаниями в области истории, философии, литературы. Обо всем имел свои, несовместимые с советской идеологией, суждения и не скрывал их. Работал над созданием литературной теории «необарокко». Организовал на дому литературный кружок того же названия.

Как это часто практиковалось в сталинские времена, расправа с неугодными начиналась с исключения — из партии, из института, из комсомола. Арест Белникова был тоже предварен исключением его из ВЛКСМ в 1943 году, как раз накануне защиты дипломной работы — романа «Черновик чувств».

В ночь с 29-го на 30-е января 1944 года на квартире Аркадия Белникова, где он проживал вместе с родителями, был произведен обыск, за которым последовал арест.

Текст романа «Черновик чувств» печатается по первой публикации (с добавлением подзаголовка перед эпиграфами): журнал «Звезда», 1996, № 8.

Показания Белникова и обвинительное заключение по делу № 71/51 печатаются по ксерокопиям из архива ФСБ. Впервые опубликованы Г. Файманом: газета «Русская мысль», Париж, 1995, № 4095—4099.

Н. Б.

Черновик чувств

КНИГА С ОТЛИЧНЫМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ

*NATURE MORTE В 14 АНЕКДОТАХ С ЭПИГРАФАМИ И ПРЕДИСЛОВИЯМИ,
С ПОРТРЕТОМ АВТОРА, А ТАКЖЕ С ПОДЛИННЫМ ИМЕНЕМ ГЕРОИНИ*

Странно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда.

Мандельштам

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не возвышаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Пастернак

ЛИРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Зелень в Москве подобна концентратам, ибо, запланированная в город, она стала кубиками, шарами и таблетками. В лучшем случае это пища путешественников. Но если не бояться говорить решительно, то необходимо сказать, что это — солдатская пища. Так сделаны бульвары. Они за решеткой. И в пасмурные дни это похоже на зоологический парк.

Очень может быть, что концентрированная зелень похожа на автограф Тютчева, по невежеству секретаря попавший на стол редактора рядом с календарем, на котором означен нынешний год.

Если бы мы не читали Бернарден де Сен Пьера, то, вероятно, цветы на подзеркальниках и бульварная зелень нас радовали бы и умиляли.

Книгу о любви можно превосходно начать с конфликта между цветами и обществом. К тому же безусловно следует прибавить и то, что общество ломает им же самим возведенные решетки. Комнатные цветы — это отличная цитата из упомянутого писателя, очень похожая на книгу, снятую с полки тихой библиотеки и случайно позабытую на металлургическом заводе.

Несомненно, в книге о любви должны быть подходящие аксессуары. Именно поэтому о цветах в этой книге почти целая глава.

Но когда книга уже была написана, оказалось, что не эта глава — главная в книге.

Главным оказалась изящная словесность, явившаяся истинным содержанием всех без исключений глав.

Кроме рассказа о цветах, на нижеследующих страницах сообщаются весьма странные, но не лишённые приятности соображения касательно Анри Матисса, Ван Донгена, касательно выставок «Мира искусства» и книг Бориса Пастернака.

Выяснилось, что о Ван Донгене, Баксте и Сомове сообщается не только потому, что вопрос об их популяризации в простом народе столь сильно занимает автора. Сообщается об этом преимущественно по той причине, что беспокоиться о простом народе на поверку оказалось легче, чем писать искренние книги. Именно в связи с этой трудностью у автора возникла настоятельная потребность заняться странным делом некоторых современных отечественных писателей, и только предостережительные слова Валери о том, что литература очень трудное дело, убедили его продолжить прерванную работу и все-таки сообщить некоторые сведения не для популяризации этих артистов, а для собственного удовольствия.

Итак, автор продолжает думать о том, как приятно писать книги, в которых удастся обмануть читателя хорошим поведением героев и автора, выданным за искренность, и чувствовать маленькую радость победителя.

Искренность — это безупречное умение походить на себя самого.

Но обычно мы смутно представляем себе наш истинный облик.

Искренних книг мы не делаем потому, что пишем не о себе, а исторические романы.

Причина наших нечастых удач заключается в том, что мы иногда догадываемся, какими мы могли бы быть, или, лучше, какими мы быть можем.

Если же мы знаем, какими мы можем быть, и в состоянии

осуществить это, то столь редкая удача, вероятно. и есть гармоническое начало человека в обществе.

О последнем обстоятельстве превосходно рассказано в одной из строф пастернаковского стихотворения *Мейерхольдам*.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Слова могут делать только две удивительные вещи. Во-первых, они могут не походить на предметы, которые им положено изображать. И, во-вторых, начертанные на стенах, звучащие с пластинок, лент и из человеческих уст, они могут вполне притязать на права, подобные правам тончайшей коринфской капители, которой уже очень давно не приходится поддерживать архитрав; голосовой фиоритуры, которая не всегда только имитирует соловья с жаворонком; и орнамента, ставшего уже только украшением.

Слова, по счастью, не образцы товаров, которые предстоит продать большими партиями. Если бы это было так, то мир исчерпал бы себя в тоненьком лексиконе, который не слишком бы увеличился в объеме даже за счет значительного числа перестановок. Но слова похожи на своих родителей так же, как светловолосые дети на брюнетов отца и мать.

Сколько разнообразнейших книг и разговоров получилось благодаря всем этим счастливым обстоятельствам!

В книгах интересны только слова и самые разнообразные положения их.

Герои, коллизии, перипетии — хороши только в письмах.

В книгах достаточно одних метафор.

Если автор интересуется кроме читателя еще и своими близкими — то необходимы декларации.

Мы глубоко уверены в том, что интересоваться читателем ни в коем случае не следует. Это дело человека из редакции, устанавливающего тираж.

Если книга напечатана в пяти экземплярах, то в ней может быть все, что угодно.

Как трудно любить старую и в особенности старинную литературу. Для того, чтобы оценить ее несравненные достоинства, необходимо стать ее современником, т.е. героем ее. В большинстве случаев это бывает смешно. Или это маскарад.

Правда, о том, что не все старые книги смешны, мы узнали уже достаточно давно — во времена «Дон Кихота». Впоследствии лучше всех это знал, вероятно, Франс.

«Дон Кихот» читался избранному кругу, в конце концов, только потому, что его автору пришлось читать в тюрьме. В более естественных условиях старые книги — это книги больших тиражей.

О том, что читателя нужно развлекать, знали все стареющие писатели. Подобно тому, как все читатели, и чем старше, тем

более, знали, что им должно видеть хороший пример. Старым писателям нельзя было быть пьяницами и шулерами. Кроме того, им нельзя было быть в слишком хороших отношениях с государством. В этом случае они теряли доверие покупателя, предпочитавшего глядеть на личность, натравленную на общество.

Современному писателю легче и куда покойнее. Показывать хорошего примера ему не надо. Напротив, именно такой пример ему самому надо брать. Это так и называется: учиться у расцветающей социалистической действительности.

В этой книге весьма обстоятельно повествуется о севрских кофейниках, отлично служащих этой превосходной и благороднейшей цели.

Об отношениях автора с читателем я не пишу, во-первых, потому, что автор не собирается показывать читателям должного примера, специально для этого назидательно занимаясь севрскими кофейниками; во-вторых, потому, что пяти его читательницам последние предметы покажутся куда более занимательными, чем сам автор; и в-третьих, об этих отношениях очень хорошо рассказано в известных двух предисловиях кота Мура к сочинению, повествующему о житейской философии их вполне respectable автора.

АНЕКДОТ I,

в котором рассказывается о триптихе, изображающем двух девушек и женщину в темной шляпе. У одной девушки болит голова. Наряду с этим в Анекдоте рассуждается о технике масляной живописи и об интонациях человеческой речи.

О чем еще рассказывается в Анекдоте, читатель может узнать только прочтя его. Это соображение пришло в голову автору после того, как он уничтожил текст, совершенно тождественный тексту ниже приведенного Анекдота, который мог быть вполне точным и единственно исчерпывающим названием его.

На площади город неожиданно раскрылся, как тело, с которого сполз тяжелый халат.

По начинающимся спереди линиям с легкостью можно было судить о формах задних фасадов.

Улица не разворачивалась потому, что была прямой и широкой.

Дома то кинематографически вырастали, идя навстречу, то вновь уменьшались, уходя за спину.

Стеклышки холода сверкали на тротуарах. На них было скользко, и они обрезали ноги и царапали щеки и лоб.

Тепло вываливалось из темного подъезда. Его было так много, что, когда дверь открывалась, большие желтые буханки тепла легко падали на каменный пол и несколько мгновений со стек-

лянным звоном подпрыгивали. Подъезд был похож на большой черный буфет.

Женщина смотрела сквозь стену из другого зала. Были только шляпа, веки и подбородок. Потом — плечо и грудь. Потом — кусок рукава. И руки, не казавшиеся обломками, как эпические руки классической Афродиты.

Ничего более художнику не было нужно.

— Более ничего не нужно, — эхом отвечала женщина с двумя локонами и классическими руками. Правы были они оба. Особенно женщина, у которой были доказательства.

Женщину можно было любить за веки, шляпу и половину торса. И любить не как любят хромых женщин, а как хорошую рифму в буриме, где, собственно, ничего, кроме рифм, — нет.

После шумной книги в роскошном золоченом переплете, быстро перелистанной мелкими шагами, эта тихая комната огромного музея пахла сосновым московским пригородом.

Обе девушки сидели в креслах, и закрывающий ноги столик делал их висящими на стене в рамах.

У обеих девушек болели ноги. И у одной девушки сильно болела голова.

Девушка была плоской на желто-серой шероховатой стене, и ее обрамлял столик и карниз двери. Потом поднялось плечо, и от стены отделилась серо-коричневая прядь. Потом появилась срезанная рамой кисть. Девушка вышла из стены и подошла к окну. У нее болела голова и сильно болели ноги.

То, что они были похожи, эта девушка и женщина, было бесспорно. Даже удивляло то, что они сделаны не одним мастером.

Лоб у девушки был написан одним широким мазком. Кисть его вылепила и осветила. Потом кисть в том же цвете прошла по подбородку, спустилась к шее и, уже почти сухая, оставила розово-серые следы на груди. Губы и брови были сделаны быстрыми небрежными мазками и казались слегка плоскими.

В Ван Донгенову женщину я уже давно был влюблен.

Девушка была значительно младше женщины в темной шляпе. Но женщина была тоньше и насмешливей.

Девушка опиралась на мою руку.

— Это лучше, чем наша московская Антония, — сказала девушка. И еще что-то — о свете.

— Какая у вас чудная интонация! — тихо сказал я девушке, глядя на Ван Донгенову женщину, в которую был влюблен.

— Правильная интонация, мой друг, это не только отлично, по фигуре сшитое платье. Это еще тонкое умение непринужденно носить его.

Тишина стояла прямо в комнате, прислонившись к чуть-чуть нахмуренным рамам. Изредка она вздыхала, раздавленная чьи-то тяжелыми шагами. Было слегка серо и сыро. И пахло сосновым московским пригородом.

АНЕКДОТ II

Он предлагается читателям потому, что автору жаль, чтобы пропадали эти, уже давно написанные, музыкальные впечатления и соображения по поводу нынешней лирической поэзии, пропаганда которой является одной из причин, побудивших автора к написанию этой книги.

Кроме того, из этого Анекдота читатель узнает ряд весьма полезных вещей о Сафо, Васко да Гама и Константине Симонове.

Узнает он также о том, что героя предлагаемого сочинения зовут Аркадием.

Значительная часть Анекдота написана в весьма патетической манере, которая достаточно хорошо воспитанному читателю может показаться не вполне уместной.

Наконец, при внимательном чтении читатель заметит, что слова героини о боязни соглашаться с автором являются весьма важными словами.

Оркестр высасывал из люстр блистательное ожерелье вальса.

Оркестранты, закусив скрипки, перекидывали с руки на руку, боясь обжечься, круглый кусочек музыки.

У оркестра закатывались смычки, и казалось, еще немного, и лопнут тугие груди скрипок и виолончелей.

Маленький шарик стал похож на каплю масла, брошенную на раскаленное железо.

Он вскипал где-то под флейтами и мгновенно испарялся.

На все это, в сущности, было интереснее смотреть, чем слушать.

Слушать, собственно, было нечего.

Скрипки перекидывали матовый кованый шарик гобоям.

Гобои делали его большим мячом и мягко отпихивали к флейтам.

Здесь он становился совсем упругим и маленьким, как шарик из подшипника.

Флейты возвращали его контрабасам.

Причем все это происходило довольно долго.

Потом вздохнула какая-то труба, и сразу оркестр навалился подушками на голову.

Он растекался по залу. Затесал в уши и ноздри. И застыл там.

Дирижер пачертил в воздухе сложный рисунок, который старательно выпилили флейты.

Барабан сделал несколько дыр в перепутанном узоре, и сразу стало темней и тише.

Потом совсем тихо.

В челюстях ярусов еще кое-где торчали сгнившими зубами почерневшие люди.

На улице мы испуганно накололись на острый мороз и от неожиданности разбили стеклянные стаканы, полные только что слышанной музыки, которые мы, осторожно держа в руках, выносили из консерваторского зала.

Теперь о музыке уже нельзя было разговаривать. И она сказала:

— Вы знаете, мы, наверное, скоро будем совсем друзьями. Только мы всегда будем друг другу цитировать отрывки из наших программ, дневников и другой художественной словесности. Вот увидите.

Я серьезно предостерег ее:

— Боюсь, что это будет очень трудно: от своих друзей я требую партийности.

И конфиденциально шепнул:

— Кроме того, в душе я заговорщик и конспиратор.

Потом я сказал ей:

— История искусств — это простенькая история нескольких тем и сложная история их воплощений.

— Яблоки писали фламандцы и Сезанн.

— О любви тоже все писали. Сафо и Евгений Долматовский писали.

Она слушала. Потом вспомнила и согласилась. Я продолжал:

— Исследователи шекспировской хронологии прямым источникам предпочитают тексты, не означенные никакими указаниями года и дня, и делают подчас безошибочные выводы на основании едва заметных изменений в стилевой концепции автора.

— Наши писатели предпочитают более красноречивые свидетельства, подтверждающие истинность дат, аккуратно означенных на каждой из пьес.

— Из аксессуаров они, впрочем, тоже довольствуются немногим. Достаточно ей быть обладательницей геэсовского значка, а ему представителем какой-либо импозантной и вполне современной профессии, достаточно натуральную звездную сень, сопутствующую их дурному поведению, заменить вполне эпическим сиянием кремлевских звезд, как вещи и чувства немедленно станут вполне современными и любезными сердцу отзывчивого и чуткого читателя, жаждущего увидеть себя запечатленным в монументальной памятничности вполне испытанных и проверенных рифм.

Она испуганно глядела на меня, растерянно покусывая мохнатую лапу варежки. Во всю стену был нарисован человек без ноги, которую ему с успехом заменяла толстая красная нога огромного «Я», тяжело покоящаяся на затаившей обиду надписи: «Я не соблюдал правил уличного движения».

Я вначале тоже немного испугался. Потом махнул рукой, оглянулся и продолжал:

— То, что наши отечественные мастерзингеры вовсе ничего не ищут, стало уже очевидным и для самых упрямых. То, что происходит в нынешнем искусстве, уже не неоклассицизм. Это уже нечто худшее. Это неоклассицизм из вторых рук. Поэтому у нас никогда не будет Анри де Ренье и Андре Жида.

— На Руси желтая кофта Маяковского была такой же эпатажной, как век назад красный жилет Готье в Париже. Для России это еще не было большим опозданием. Но если сейчас человека, рискнувшего пройти по литературной улице имени пролетарского писателя Горького в разноцветных штанах, непременно посадят в тюрьму, то во Франции разнолацканному пиджаку усмехнутся как наскучившей реминисценции.

Я перевел дух после этой тирады и искоса взглянул на нее. Шаги убежденно пода-пода-дакивали моим словам. Воротник ушел в губы. Потом откинулся и тоже согласился.

Я чувствовал, что в этот вечер мы просто прощали друг друга. Даже с удовольствием. Мы понимали, что истину нам придется искать потом. Вначале только кусочки предсердий, ресниц, коленей и слов, похожих на свои или на такие, которые тебе самому бы хотелось иметь.

Ей, вероятно, тоже хотелось так думать, и она сказала:

— Аркадий, вы знаете, дорогой, вам мало быть просто правым. Поймите же, что если я соглашусь с вами, то через несколько дней мне ничего не останется, как только повторять за вами все остальное. А это скучно и обидно. Но главное — обидно.

И за круглой, ласковой улыбкой на мгновение показалось острое и уже беспомощное беспокойство.

Потом мы подошли к огромной глыбе ее дома, и долго две стеклянные двери разбивали друг о друга свои хрупкие зимние украшения.

АНЕКДОТ III

*Полезные сведения о немецком ученом Отто Вейнингере. Соципсихические тенденции автора. Несколько скептических замечаний по поводу истории искусств. Кроме всего этого, автор размышляет о своем весьма странном настроении и приходит к выводу, что ему свойственна тяжелая дореволюционная болезнь *reflexie*.*

Краткость этого Анекдота весьма неадекватно компенсируется величиной названия.

С непривычки я каждый раз укалывал глаза о чужие созвездия. Домá я знал. Тверской бульвар в январе лежит под Драконом. А над моим домом — маленькая звезда, имени которой я не знаю.

Почему мне было грустно, я понимал. Но спокоен я был со-

вершено. Это сильно удивляло и тревожило. Мне справедливо казалось, что обо всем этом грудной клетке пристало думать больше, чем голове. Но я слишком привык к доказательствам. И апелляция к тому, что у этой девушки поразительно острая восприимчивость, очень тонкий вкус и удивительного тембра голос, показалась мне более убедительной, чем рассуждения Отто Вейнингера, в которых косвенное участие принимает сердце, никакой роли не отведено голове и огромное место занимают наши дикие прародители.

Но было все-таки очень тоскливо. И грустно было думать о том, что наша жизнь — это не сшитое безупречно платье, которое прекрасно облегает фигуру, меняя ее очертания по своему образу и подобию, вполне соответствующему вашему характеру и разрезу глаз своим покроем и цветом. Если же покрой и цвет не соответствуют вашим глазам и добрым намерениям, то вы можете снять платье и надеть халат, который мало что привносит своего в вашу сутулость и узкоплечность. Халат, конечно, более искренен и удобен, но — увы! — некрасив. Жизнь наша еще хуже халата. Она не скрывает наших природных недостатков. Она вообще не считается с ними. Так же, впрочем, как и с достоинствами. Она не думает о форме и о материале, и потому мы так часто продеваем в рукава ноги, а веки закалываем булавками.

Я с горечью думал о том, в каком безвыходном положении оказались все мы, понявшие, какое надето на нас платье и как оно не соответствует разрезу глаз и нашему характеру.

Я думал о том, что, может быть, искусство действительно не только постоянная удивительная выдумка. И о том, что действительно выдумать что-нибудь еще — может быть, уже просто невозможно. И, может быть, действительно лучше забыть о том, что искусству уже очень много лет, и попробовать начать сначала. Но я с горечью вспомнил о статусе Сухатпу, Видении Тнугдала и Ярошенко. Опять сначала!.. Господи! Потом передвижники... Надсон!

Боль Мандельштама, не хотевшего истории поэзии в прошедшем времени, становилась близкой, как собственный пораненный палец.

Но он требовал:

— Итак, ни одного поэта еще не было. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер!..

Я чувствовал, как эти слова, не цепляясь за острые звезды, проплывали сквозь зубы и, похожие на воздух, тщетно сжимаемый в кулаке, растворялись в ушах.

Когда прошел испуг, я подумал о том, что это происходит потому, что эти великие артисты ничего для меня утешительного не написали.

Я рассчитывал поспорить с Мандельштамом и попытаться

обмануть себя. Поэтому я громко сказал, чувствуя повисшие на своей спине глаза под острыми ресницами оставшихся позади прохожих:

— Но Лафарж, Блок, Пастернак.

Я знал, что это последняя надежда, и что разочарования в ней достаточно для возникновения манифеста о нашем новом искусстве, под которым с радостью подпишутся мои друзья, поставив эпитафиями стихи из только что мною названных поэтов.

Когда, оглянувшись, я увидел несколько срезанных сегментов зрачков, я окончательно утвердился в намерении заставить своих друзей все-таки подписаться под декларацией о солипсическом функционализме, в первой части которой будет три основных артикула о форме как функции состояния.

Но я был очень расстроен, и мое огорчение сообщилось прохожим, совсем не удивившимся моему горькому сетованию:

— Но что можно сделать после Достоевского и Пикассо!..

И было действительно очень грустно обо всем этом думать под чужими и незнакомыми созвездиями...

АНЕКДОТ IV

Вполне реалистический Анекдот. В нем рассказывается о дохе, съевшей все конфеты, и о второй девушке, которую зовут Аня. Полезные сведения из области законодательства и теории государства. Об английском империалистическом капитализме. Очаровательные разговоры о погоде. В Анекдоте много красивых пейзажей. Неудачное сватовство графа Сен-Симон. Бегство. Полиция. Печальная история ребенка Бернарда Шоу. О любви автор говорит очень немного. Читатель узнает о том, что автор имеет сообщить героине нечто весьма важное. Кроме этого, читателю станет известным то, что героиню повести зовут красивым именем Марианна.

Через несколько дней все мы, Аня, Марианна и я, уехали из Ленинграда.

В вагоне Аня изредка выползала из своей сердитой дохи и возмущенно сла конфеты.

Лес быстро кружился под окнами, почти задевая за колеса. Удаляясь от поезда, он замедлял свое движение и шел крупным и круглым шагом.

Вагонные колеса заразили все песни, и читать под их аккомпанемент можно было стихи любых ритмических конструкций. Лучше всего поезду удавались дактили, перебиваемые хорями. Это правильно заметил Волошин.

Марианна конфет не ела. Сердита она тоже не была. Напротив, она улыбалась по преимуществу. Кроме того, она громко

рассуждала о том, что после окончания института она поедет в деревню преподавать английский язык в седьмом классе. Деревня будет непременно называться Петушки.

Она понимает, конечно, что для этого не надо кончать отделение германо-романской филологии. Но что делать! В Москве три тысячи способных мальчиков и девочек, и все они занимаются изящной словесностью, своей и чужой, и все эти мальчики и девочки тайно и явно надеются на эстетические лавры, но только три мальчика и одна девочка вырвутся из этих тысяч и с огромным трудом, обрывая кожу на ладонях, разбивая колени и царапая лоб и щеки, действительно прорвутся, а на груди их книг будет стоять шифр, похожий на номер, изображенный на груди кроссмена.

Она, конечно, понимает, что куцые буржуазно-демократические свободы, несмотря на то, что они куцые, буржуазные и демократические, несмотря на то, что они хилое детище разлагающейся буржуазной морали (цитировать, оказывается, можно даже предисловия Анисимова), они все же позволяют говорить о том, что тебе, пускай смешно и наивно, нравится, и даже еще более — что не нравится и кажется дурным. Она, вероятно, никогда не сможет солгать что-нибудь отвратительное о балладах о Робин Гуде или о романе Пруста. И, пожалуйста, не уговаривайте ее.

Поезд пил воду. Аня ела конфеты. Пассажиры неудобно спали, косо и быстро, боясь недоспать, переспать, проспять.

Рука у нее была темная и пористая, почти чугунная, и пальцы были похожи на ржавые гвозди, которые вытащила она из старой покоришневевшей стены. Она хваталась еще по ночам за деревья, и на деревьях вырастал белый мох инея; проводила по оттаявшей днем воде, и лужи затягивались хрупкой, рвущейся корочкой. Но днем она ревматически опухала и была совершенно беспомощна что-либо сделать.

Все это происходило не потому, конечно, что был апрель, не в силу каких-то природных законов, старинных традиций и не потому, что весна должна была быть обязательно; все это происходило потому, что все мы сильно устали, а у Марианны сильно болела голова.

Солнце неожиданно оттаяло. Оно свалило с себя облако, сидевшее башлыком на волосах, потянулось и расправило плечи.

Потом оттаяли деревья и птицы.

Вечер был большой и гулкий, и колоколоподобный.

Мы бродили в этом вечере, доходили до его конца и возвращались назад, перевязывая вечер улицами.

Говорить нужно было только о *Виктории* и о себе. Так как она знала о том, что я пишу балладу об электрифицированной розе и о рыцаре, то, естественно, считала меня достаточно осведомленным об этих предметах.

— Все мы, ненужно и никак думающие, суть двигатели внутреннего сгорания. Только мы не двигатели, а внутреннее сгорание. Мы — газ. Фу-фу! Ничего! Воздух...

Я возражал ей:

— Полноте, что вы, газ!.. Нечего сказать — газ!.. Максимка сапожник... Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо! А что за силища!

— О да, вы правы, — это *Мертвые души*.

Мы рассмеялись.

— Зачем вы пишете балладу?

— Я не пишу балладу, мой друг, но, конечно, можно бы написать балладу. Я думаю даже, что это необходимо сделать. Писать, наверное, обо всем нужно. Даже необходимо обо всем писать. А самое главное? Самое главное, мой друг, это интонация, с которой вы говорите о пустяках. В интонации могут быть рассуждения о звездных судьбах. А писать можно о наволочках.

Но она не соглашалась.

Она во что бы то ни стало хотела знать, о чем стал бы писать я, если бы чужой кусочек сердца, хоть самый маленький кусочек (сентиментальна и мила была она необыкновенно), попал бы в мое собственное сердце, как сорвавшийся в неудержимо быстром вращении куб (и все это рисовалось маленькой vareжкой, сделанной из куска огромного медведя) врывается в тело стакана в превосходной композиции Цадкина.

— О чем?

— Не знаю. Вероятно, о суждениях аббата Куаньяра. Или написал бы: плыло облако. Оно действительно было в штанах. И с земли это казалось дурным знаком. Как затмение в *Слове об Игоре*. На облако выпустили целую стаю разъяренных аэропланов, и они, разумеется, тотчас же разорвали и облако, и штаны. И все это побросали на стоящих на улице женщин. Я зарифмовал бы: облако — обморок, штаны — Штейнах, женщины — женщины.

Но она хотела серьезного ответа. И было очень трудно убедить ее в том, что я не шучу. Тогда она расстроилась.

Потом она безошибочно спросила:

— Хотите, я расскажу вам про Александра Николаевича?

Я знал, что это очень важно и что этот рассказ неминуемо должен привести к серьезному разговору.

Знал я также о том, что это довольно тривиальная и одновременно довольно редкая в наш век история влюбленного учителя. Но она обещала быть откровенной, и все это могло стать в достаточной мере занимательным.

— Но мама об этом, кажется, только догадывается.

Это было предупреждением. Я серьезно поднял правую руку. Она осталась очень довольна.

— Итак, во-первых, согласитесь с тем, что это очень лестно.

Он совершенно взрослый и, кроме того, может быть, даже способный человек. Конечно, мне это нравилось. Вам это тоже нравится. Вот, пожалуйста, откровенна я до грубости. Боже мой! Что бы сказала мама?! Ужасно! Но все равно. Слушайте дальше. Во-вторых, он сделал меня значительно старше. Из девочки я превратилась в девушку благодаря ему. Произошло это не потому, конечно, что он меня *развивал* (слово из неприличных кинофильм), а потому, что в его присутствии я считала себя обязанной быть взрослой. Я становилась кокеткой и предчувствовала всякие любовные утехы. (Так Веселовский переводит Боккаччо.) И сейчас тоже только предчувствую. (Боже мой! Что я ему говорю...) Слышите, это почти предупреждение. Вот видите — я же обещала быть циничной. Потом он сказал мне про это. «Про что — про это? В этой теме личной и мелкой, перепетой не раз и не пять, он кружил поэтической белкой и будет кружиться опять». Но я действительно плохо понимала, чего нужно этому женатому учителю. По правде сказать, я не думаю, чтобы ему действительно что-нибудь было нужно. В классе он спрашивал: образ большевика по роману Фадеева. Я прекрасно знала, что влюбленный женатый учитель — это отвратительно, но знаете, мне показалось все это не очень серьезным. А об утехах, по правде сказать, мне не пришло тогда в голову. Только маме не говорите, а то она запретит мне бегать глядеть Форнарину. Вам не скучно? В моем голосе, очевидно, чувствуются опыт и размышления. Никакого опыта. А тогда даже и размышлений не было. Тогда я была полутрамотной девчонкой и едва-едва только начинала читать Гамсуна. Вы, наверное, не стали бы водиться со мной. Так вот — размышлений не было. Опыта тоже. Об утехах мне действительно не пришло в голову. И вообще, все это было только лестно. Влюблена я — увы — еще ни разу не была (а тем более в учителя). Аркадий, слышите, я еще ни разу не была влюблена. Не знаю, что чувствовала я к Александру Николаевичу. Вероятно, для того, чтобы сравнивать, нужно полюбить два раза.

Темно было поразительно. Неба не было. Был светлый шар вокруг нас радиусом в метр. Шар передвигался вместе с нами и от дыхания становился то несколько больше, то сжимался.

Я уже знал, что сегодня я скажу этой умной, очень красивой девушке о том, что я люблю ее манеру разговаривать, всегда тревожиться, говорить в телефонную трубку «ни-и» и низким оранжевым контральто просить: «Не обижайте Марианну, ну пожалуйста».

Потом, когда мы были уже очень далеко от дома, я растерянно догадался о том, что другая умная и красивая девушка меня действительно любит, и восхищенно вспоминал Марианну утреннюю прогулку и «лейку», висевшую на плече.

Шар сильно затягивался. И только редкий фонарь растягивал

его упругие стенки и глядел на нас выпуклым и глупым глазом. Но если бы фонарей было много, мы, наверно, стеснялись бы друг друга.

Радиус шара был один метр.

Парафраз из «Про это» мне показался восхитительным.

Но сказать ей о том, как дороги мне стали ее манера смотреть картины, набирать телефонный номер, держать в руке плеть, которая стелила по полу передние лапы и уши большой зеленой овчарки, — я никак не мог.

Тогда я подумал и очень коротко рассказал Марианне про войну Алой и Белой Розы: сначала Ричард Йоркский не имел успеха. Потом ему удалось захватить в плен герцога Сомерсета. Но Генрих вскоре освободил пленника. При Сент-Эльбенсе было сражение. Убили Сомерсета. Генрих был ранен и попал в плен. Парламент обвинил Ричарда в измене. Граф Уоррик бежал в Кале. Герцог Йоркский потребовал корону. Разгневанная королева одержала блестящую победу при Уэкфильде. Ричарда все-таки казнили. Эдуард воевал с Маргаритой. Лорд Монтегю помешал Генриху получить престол. Маргарита бежала во Францию. Эдуард женился на Елизавете Уайдвилль.

Дальше я не стал рассказывать. Марианне очень нравился несчастный душевнобольной король Генрих. О любви я ничего не говорил. Очень хорошо было бы рассказать о сорок первом дожде Энрико Дондоло. Но я не подумал и со вздохом начал рассказывать об одной красавице актрисе, написавшей письмо Шоу, в котором была пикантная декларация ее прелестей и заявление о том, что она ищет его, человека удивительного и тонкого писателя, взаимности, в результате которой на свет непременно должен появиться чудесный отпрыск, усвоивший себе все удивительные качества родителей.

Шутник Шоу написал красавице актрисе о том, как тронуло и порадовало его это милое письмо, но как одновременно с этим оно посеяло в его душе тягостные сомнения по поводу того, сколь рационально используются упомянутые родительские качества в будущем чудесном ребенке, ибо ему казалась не исключенной грустная возможность Натуры распорядиться вопреки их желаниям, почему у бедного ребенка могут оказаться ум матери при несколько затсйливой внешности отца. Затем он извинялся и благодарил.

Теперь мне стало несколько легче. Если бы я захотел, я мог бы рассказать и о себе. Но я вовремя поймал себя на том, что начинаю рассказывать о Пипине Коротком.

Все это было не в ее манере разговаривать, спорить с матерью и читать классические английские стихи.

Потом я убежденно сказал ей:

— Писать можно о наволочках.

Потом помолчал и грустно показал Марианне, какие толстые стекла в моих очках. Но я непременно должен был что-нибудь

рассказать, и мне стало еще более грустно, когда я напомнил Марианне Сслина:

— Слова! Одни слова! Но даже и они не очень изменились. Так, кое-где, два-три, маленьких...

— Хорошо бы завтра пойти посмотреть Марке? Не надолго. Только его одного. Знаете, Марианна, у вас, наверное, опять болит голова. У меня не болит. Впрочем, у меня тоже болит. Я очень люблю вас, Марианна.

АНЕКДОТ V

Он начинается с изложения некоторых соображений по истории античных и новых литератур. О том, как пишутся стихи, повести и рассказы. О фонетических эквивалентах семантики. Как Марианна искала панторифму к объяснению в любви. Пастораль.

Шел дождь. И лужи были так полны, что казалось, если их не выльют, они растекутся и замочат скатерть.

— Вероятно, в классической литературе куда больше иронии, чем мы предполагаем. По-моему, слова Яго об Отелло и Дездемоне, изображающих животное о двух спинах, просто смешные слова, — весело сказал я.

Марианна молчала.

Я с тревогой заметил, что радиус шара стал еще меньше.

Потом она спросила, буду ли я писать поэму. Но меня она не слушала и рассказывала о том, что она ровно ничего не делает и что ей тоже не худо бы написать поэму. Мы постояли под дождем. Потом пошли дальше...

— Я не успеваю ничего делать. Как только я сажусь за стол и вижу голубоватый, как лезвие, отлив прохладной бумаги, в которой отражается скошенный циферблат, я уже думаю о том, что скоро надо кончать. Как мало я научилась! Как трудно извлекать хоть маленький опыт из уже сделанных вещей. Все сделанное мною — это все сделанное сначала. И сделанное раньше ничему меня не научило. Вероятно, поэтому я всегда похожа на свой голос, слова, жест и манеры. Хорошо, что всего этого у меня довольно много, и можно делать самые разнообразные картины. Но, знаете, неповторимых калейдоскопических изображений из этого все-таки не сделаешь. По неопытности я даже говорю лучше, чем пишу. А в детстве мама заставляла меня писать какие-то нелепые письма с описаниями и подробно заносить свои впечатления о виденном и прочитанном. Мама знала, что писатели должны сравнивать вещи. Однажды я разозлилась и сравнила облако с тортом. Мама была очень довольна.

Нет, не о любви.

Дождь разрыдался, как девочка, требовательно и громко. Он

колотился о стекла и сползал с дивана, судорожно передергиваясь на булжниках. Прохожие пытались его успокоить. Откуда-то принесли стакан холодной воды. Но он дернулся, расплескал воду и раздраженно огрызнулся длинной кривой молнией.

Она помолчала. Потом тихо спросила:

— Теперь вы что-нибудь скажите. Пожалуйста.

— Я? О, извольте. Знаете, Марианна, по своей принципиальной сущности фонетическая система русского классического и в значительной степени и современного (даже хорошего) стиха глубоко натуралистична. — Я вспомнил о том, как смешон человек, серьезно оправляющий свой галстук, будучи подвешенным за ноги. Но потом подумал и добавил: — В этом отношении поэты значительно отстали от лингвистов, давно оставивших праздную затею найти фонетические эквиваленты семантике!

Девушка опять присела на диван и теперь плакала тихо и сосредоточенно. Только молний было больше. Они наотмашь рубили небо, и было ясно, что девушка сердито и серьезно угрожает кому-то.

Марианна спросила:

— Вы действительно меня любите?

Я протер очки и, расстроенный, рассказал Марианне о том, как Галя вчера разлила на моем письменном столе чернила. Потом я сказал Марианне:

— Да. Я люблю вас. Я, наверное, очень люблю вас.

Мне, конечно, нужно было узнать, что же она думает обо всем этом, потому что я действительно очень любил ее, но я был уверен, что об этом не следует спрашивать и что надо говорить только о серьезных вещах. Поэтому я сказал ей:

— Передайте привет вашей милой маме.

Потом подумал и рассказал, как чернила затекли под пишущую машинку и как я испачкал пальцы. Потом еще подумал и тихо сказал:

— Вот, теперь вы все знаете, Марианна.

В трамвайную остановку с шумом падали дрожащие освещенные вагоны. Когда женщины с зонтами обходили нас, нам на плечи стекал почти весь тот дождь, который должен был замочить женщин под зонтами.

И вдруг я забыл о том, что нужно говорить только о главном, о том, что это не важно, и главное в том, что ее ответ уже ничего изменить не может, скороговоркой и торопливо спросил, выпадая из шара с двухметровым диаметром, натыкаясь на реку и вспомнив о том, как курит Аня, и что-то еще вспомнив и позабыв опять, быстро спросил, торопясь и растеряв слова по дороге к губам, языку и зубам:

— А вы, наверное, совсем не любите меня?

Я хотел спросить, любит ли она, но язык поскользнулся и вышла какая-то чепуха. Она, наверное, не поняла. Я хотел объяс-

нить. Но, так как я совершенно не любил ее, было, в сущности, совершенно не важно, поняла она или нет.

Она сказала:

— Нет, не знаю.

Я придумывал рифмы и невнимательно слушал ее. Потом она подумала и продолжала:

— Не знаю. Зачем вы сказали мне об этом?

Ветер помахал дымом и упал на мостовую. Марианна догадалась и остановилась. Потом сняла перчатку и потрогала дождь. Мы пошли дальше.

— Я не знаю. Но я люблю вас. Просто не знаю. Как я любила вас сегодня у Нади! Вы надоели всем: мой додыр, твой додыр, ваш додыр, их додыр. Мне очень понравилось. Черный костюм вам идет удивительно. Это совершенно ясно. Вот стихи ваши мне нравятся. А вы — я не знаю. По-моему — нет. Наверное, я не люблю вас. То есть я определенно не люблю вас! Что вы, Аркадий!

Потом она попросила проводить ее.

— Господи! Какой вы резкий. Скоро вы начнете переругиваться в трамвае. Как хороши тигры!

Потом я вспомнил и сказал:

— Марианна, я люблю вас.

Она рассмеялась:

— Это «Роман биржевого маклера».

Я тоже смеялся. Но любил я ее сильно и уже давно.

И я искренне пожалел о том, что Ван Донген не придумал для нее рамы. О, тогда я ездил бы в Эрмитаж глядеть на нее и делать пометки в записной книжке.

Девушка понемногу успокаивалась. Но наверху, в небе, все еще тревожно зажигали спички и били об пол тяжелые стаканы.

АНЕКДОТ VI

Черновик чувств. В Анекдоте утверждается весьма критически встречаемое некоторыми физиками-реалистами положение о том, что одно и то же тело в одно и то же время может иметь разные координаты.

Дверь троллейбуса быстро прожевала длинную складную очередь. Пятна на жирафе были похожи на отпечатки подошв чье-то неверного и сбивчивого топтания на одном месте. Дернулся ветерок. Потом прилег на тротуар, встревожив нахмурившиеся обрывки бумаг и окурки. Смеркалось.

Марианна была очаровательна. Мы пресерьезно говорили о взаимной склонности, опасливо спрягая глагол «любить» в прошедшем времени условного наклонения. Это, в сущности, ни к чему не обязывало. Но достаточно глаголу было обрести иные

формы времени и наклошения, как улыбка, очень похожая на зайца в солнечный день, могла сползти с лица, как светлая весенняя перчатка.

Теперь стало очевидным, что думать мы можем только одинаково, что не можем мы делать разных вещей и что полюбить мы в состоянии только одно и то же. Больше я никого не любил. Потом были книги.

Троллейбус уехал. Остановка опустела. Болтался небольшой еще живой огрызок очереди. Мы пошли дальше. Тогда я подумал и начал рассказывать Марианне длинную историю о том, как граф Сен-Симон сочинил опальной г-же Сталь очаровательное письмо, в котором категорически объявлялись ее удивительные качества, столь выгодно отличающие писательницу от ее ординарных современниц. В *post scriptum*'е коротко извещалось о том, что он, граф, также обладает некоторыми не лишенными интереса достоинствами, и поэтому он, самый умный из подданных французского императора, предлагает ей, самой умной из подданных, руку, сердце и отцветающие лепестки геральдического древа. Испуганная писательница бежала к Бель-Ильским скалам, куда поспешил за нею эксцентричный граф. И только смехотворное вмешательство полицейских властей спасло бедную женщину от очаровательных ухаживаний утопического графа.

Марианна думала, что я тоже утопически люблю ее как самую умную, самую лучшую и удивительную из подданных.

Не надо было говорить таких легкомысленных слов: они всегда внушают подозрение, как правдивая тень, отбрасываемая самой посредственной ложью. Неясно было, когда я понял это. Но неяснее всего было то, почему я не любил Марианну. Так похожей на Ван Донгена была только Марианна. Только она так читала Пруста. И никто так не мог разговаривать по телефону, покупать цветы, поругивать Анио, уставать и надписывать книги.

Мы прошли уже несколько шагов, когда Марианна, вспомнив, узнала в двух белых кисточках, длинной перчатке и мерцающих калошах, оставшихся позади, Нику Никель.

Ника сказала, что на футбол она не поедет, потому что гораздо важнее пойти на концерт для скрипки и фортепьяно. Но мы сказали, что непременно пойдем на футбол, и растерянно посмотрели на отражающие вечерний город маленькие закрытые калоши, в которых уходила неоновая реклама гастрономического магазина.

Я понимал, конечно, что мое соображение об идентичности литературных субъекта и объекта вещь очень спорная и почти для всей старой литературы, вероятно, неверная. Но я придумал это не для историков изящной словесности, а для нескольких молодых писателей, которым не интересно писать книги, могущие понравиться всем. Марианна тоже очень хорошо знала, что нам с нею литература нужна только во имя ее самой. И что лите-

ратура не должна помогать нам делать что-либо другое, потому что ничего другого нам делать не надо и мы не умеем ничего более делать.

Марианна была без калош. И толстое гумми ее туфель мягким пресс-папье промокало асфальт. Неоновая реклама не отражалась, а обводила ее следы.

Это было восхитительно. Боже мой, сколько было удивительных вещей, которые можно было в вихре, мотая головой, отмахиваясь руками и бегом, с наклоненным вперед туловищем, полюбить на всю жизнь и вспоминать встречу с женщиной в темной шляпе в маленькой золотистой зале французской экспозиции Старого Эрмитажа.

Истинные отличители счастья — только свидетели. Мы о нем лишь смутно догадывались, потому что были участниками. И сравнивать нам было не с чем.

Я рассказал про калоши с неоновым светом, про маленькую золотистую эрмитажную залу и про то, что через несколько дней я скажу ей о своей любви. Потом я поделился с Марианной пришедшей мне в голову мыслью, заключающейся в том, что тогда, может быть, мы не сможем так великолепно вспомнить эти удивительные калоши, футбольный матч и концерт для фортепьяно и что несмотря на то, что я еще не люблю ее, лучше я скажу ей об этом сейчас, потому что никаких сомнений в том, что будет со мною через несколько дней, когда уже не будет неоновой рекламы, троллейбусной очереди и дождя, который она трогает пальцем, у меня нет.

Марианна согласилась. И тотчас же первый попавшийся на пути фонарь осветил мое тусклое признание, сделав сразу его выпуклым и светлым.

Все было так. Больше ничего не было.

Галя действительно пролила чернила.

Шар тоже был. Радиус — метр.

Фонарей не было.

«Роман биржевого маклера» был.

Были цитаты.

Был мост. И башмаки с нестоптанными каблуками.

АНЕКДОТ VII

Аркадий убеждается в том, как трудно такому партийному человеку, как он, любить Флобера, который, вероятно, действительно был реалистом, и девушку, на каждом шагу поражающую его своей беспартийностью. В связи с этим отсутствием партийности, которая в избытке была, наряду с прочими качествами, у других знакомых Аркадия, он утверждает в мнении о том, как

глубоко прав был Рафаэль, писавший волосы, плечи и колени Галатеи с различных женщин. Аркадий отлично знает, что любить так, как Рафаэль писал Галатею, он не может. Но ему очень хочется полюбить Марианнину мягкость, которая так раздражает его.

Таможенный чиновник просматривает чемоданы Марианны и Аркадия при отплытии на остров Цитеру. У Аркадия оказывается запрещенная литература. Происходит ряд неприятных разговоров, и ему долго не хотят возвратить паспорт.

Назавтра я пришел к Марианне.

Радостная, она быстро вышла ко мне, отобрала перчатки и долго топтала мою шляпу, упавшую под ноги.

У нее многоугольная и неудобная комната, и такая, точно в ней несколько кусков из различных комнат. Больше всего было окон. Письменный стол отстал от стены. За шелестящей лиственной зеленых ширм раскинулась аккуратно подстриженная красная тахта. Сама Марианна в своей комнате всегда была цветным стеклом в окне, узором на ковре или оранжевым корешком в книжном шкафу.

Еще в передней появилось странное ощущение связанности рук. У меня был какой-то громоздкий пакет, завернутый в потрепавшиеся газеты, за которыми бог весть что скрывалось. Когда узел распаковывали, там оказалось ровно никому не нужное очень большое и легкое одеяло.

Это, конечно, не было смущением. Я уже начал привыкать к этому дому. Но сегодня знали об этом тяготившем меня свертке, присутствие которого необходимо было тщательно скрывать. Но я не знал, как можно скрыть такие огромные и неудобные вещи. Я понял, что скрыть мне ничего не удастся, и решил сделать хозяек соучастницами.

Потом Евгения Иоаникиевна ушла.

Я спросил Марианну:

— Как вы думаете, мой друг, не провокация ли это?

Марианна улыбнулась.

— Наверное. Мама все знает. Вы ей очень нравитесь. И мне тоже нравитесь.

Я чувствовал себя просто влюбленным.

Становилось важным, что же она, наконец, думает обо всем этом. Она ничего от меня не скрывала, и я знал, что я правлюсь ей. Я знал, что она, наверное, меня не любит; что она верит в то, что я говорю и пишу; знал, что она, вероятно, любит меня; знал, что многое, с чем она теперь соглашается, в глубине души чуждо ей совершенно. Но самого главного я не знал — чего не любит она. Я позабыл об этом, просто не предполагая, что это может понадобиться. К тому же я думал, что мне вовсе не нужно знать, любит ли она меня. Я положительно не знал, что с этим можно

делать. По-моему, совершенно достаточно того, что я был влюблен, а она, в сущности, меня не очень интересовала.

Марианна придвинула к библиотеке стремянку и приглашающе показала на нее рукой. Я быстро поднялся к потолку по ребрам лестницы. Здесь были Шиллер, Тургенев и другие мертвые. Воскресение шло к земле. Я начал медленно спускаться. На уровне согнутой в локте руки стояли все писатели, которых могла любить Марианна, — от Алкея до Олеси и Селина.

Примечание автора:

Объективность повествования нудит меня к подробному перечислению и комментированию стоящих на Марианнинной полке писателей. Однако я не могу этого сделать, потому что не собираюсь сразу все рассказывать о своей героине и тем самым на этом закончить роман.

На этой полке Марианна нацарапала гвоздем следующую сентенцию: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу кто ты». Именно для того, чтобы о Марианне ее знакомые не могли узнать сразу все самое интересное и важное, она прицарапала другим гвоздем, потоньше, к вольтеровскому обещанию еще несколько слов от себя: «Но здесь не все, что я читаю, и не все я читаю, что здесь».

Андре Жида Марианна еще не знала, но она обещала непременно полюбить его. Это очень серьезно готовилось в качестве будущего свадебного подарка. Я знал, что Жида я люблю так же, как и Марианну, не очень хорошо зная — за что. Меня занимают отнюдь не все вещи, которыми дорожит Марианна, и еще меньше — вещи, дорогие великому писателю. Партийности не было. Было восхищение. И разность потенциалов.

Марианна сказала:

— У нас будет общий письменный стол, и в верхнем ящике будут лежать наши письма. Обязательно вместе, мои и ваши. Туалетный столик тоже будет общий.

Потом она сказала:

— Это неправда, что я не люблю вас, Аркадий. Только я, наверное, не скажу вам об этом.

И поспешила прибавить:

— Вы бы хоть почаще спрашивали меня. И уж, пожалуйста, не догадывайтесь сами. Но что толку! Ведь вы ужасный человек. Конечно! Милый мой! Милый! Вас непременно, непременно посадят! Конечно, посадят. Господи! Сколько вы говорите лишнего! И с кем? С кем? С половыми о декадентах... Да и потом, правы ли вы? Правы ли вы? Вот что!

Я не стал убеждать ее в своей правоте.

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОЙ БЕЛИЧЬЕЙ МУФТЫ

Трамвай вдребезги разбил глубокую чашу вечера. Весенняя тишина впитывала звуки города и только изредка, раздавленная тяжелым троллейбусом, роняла, как губка, несколько звонких капель. Небо смешивалось с асфальтом. И в переулках пахло теплым, сладким, коричневым молоком.

У нее была положительная программа. Но несчастье ее было в том, что осуществить свою положительную программу она могла только на гладком месте. История Карфагена ее ужасала.

Площадь была похожа на мешок. И темно становилось, потому что мостовая, мотоциклетки, Марианна, Аня и я, фундаменты домов и панели спускались на дно, и у мешка слегка затягивалось горло.

На Моховой маленькая, молодая женщина громко закричала и тотчас же начала что-то быстро рассказывать. Трамвай шел по Большой Никитской. Зимой у нее вот точно так же пропали перчатки. Нет, не эти.

Я был разрушителем, и у меня не было положительной программы. Для других, по крайней мере. Даже Марианне я приносил какие-то обломки и осколки, о которые она обрезала пальцы и торопилась спрятать в свой туалетный столик или в какую-нибудь из многочисленных коробочек, которые зачем-то тщательно собирала, покупала и отбирала у меня.

Я был разрушителем и понимал, что если бы я родился 35 лет назад, то, вероятно, стал бы революционером. Хотя бы из одного чувства оппозиционности. Но теперь из этих же соображений я никак не могу быть революционером.

Мы приехали поглядеть Россию и возвратились домой, вспоминая удивительную прелесть московских предместий и пригородов. В библиотеке был томик Чехова и за окнами раскрашенная к какому-то очередному пролетарскому празднику улица. И все-таки именно она и была самым интересным, потому что мы — эмигранты, и увидеть все это можно только в России.

Марианне зачем-то понадобилось к Нике. В трамвае сохранить свою форму нам, конечно, никак не удалось. Марианнина спина тотчас же приняла очертания плеча какого-то мужика. Это принцип коллектива. И Марианна молча страдала. Я боялся, что какая-нибудь уставшая женщина посоветует Марианне сесть в автомобиль, и Марианна покраснеет и расстроится, потому что она думает, что проповедь индивидуализма делает человека холодным и жестким.

Вероятно, вся эта история с перчатками и другие неприятности произошли потому, что Стояновские, конечно, позабыли ключи и, конечно, опять придется возвращаться. Зимой у нее тоже пропала муфта. Такая же, белка. Манто и беличья муфточка. Это очень, очень странно. Манто тоже беличье. Правая пола только

слегка темнеет. Она три раза оставляла ее. Раз даже в «17-м». Просто страшно. Один раз в «Б». И каждый раз находила. Товарищи. Тут перчатка. Вот такая. Бежевая. Вот. Нет, вот. Пожалуйста. Боже мой, это Никитские. Да нет же, муфточку я нашла. Просто дома забыла. О каком манто, товарищ, вы говорите? Пожалуйста, посмотрите под ногами. Тут перчатка. Вот. Бежевая. Нет, с двумя.

Я удивился тому, что она ходит сейчас с муфтой. Марианна тихо объяснила мне:

— Что вы, ей-богу! Она, наверное, везла ее к скорняку подобрать шкурку.

Я со страхом догадался, что мы давно проехали свою остановку, и поспешно стал помогать Марианне выбраться из вагона.

Свежо стало так, точно в жаркий день сняли новую жесткую перчатку и руку обдало прохладным ветерком.

— Бедная женщина! — громко сказала милая Марианна. — Что же она будет делать зимой. Она же не сможет достать шкурку под цвет своего манто. Я вижу, мой друг, что вам совершенно не жалко эту превосходную женщину. Пойдите. Да не вертите же. Что такое, Аркадий, куда вы девали мою сумку?

В руке у меня действительно висели два больших хромированных кольца и на одном из них мерно раскачивалась длинная золоченая пряжка.

Марианна расстроилась. Она прекрасно знала, что я не выношу всей этой болтовни и эти коллективные идеалы с реализмом меня никак не устраивали. Всего этого она тоже не выносила, но ей было легче вздохнуть и мучиться, чем запретить у себя в доме цитировать из газет или просто отказать от дома этим людям. Она не принимала этого своим безошибочным вкусом. Это кололо ей пальцы и резало глаза, но она думала, что это необходимо и что это все-таки лучше, чем что-либо другое. Уж если нам так не повезло, что наши родители старше нас всего лет на двадцать. Она прекрасно знала, что если каждый будет выдумывать сам для себя общественный строй, то людям с развитой фантазией жить будет много легче и лучше. И ей очень нравился этот милый дисвизиновый анархизм. С советской властью она была солидарна в целом ряде вопросов, и у нее не было этого продуктово-потребительского отношения крупных партийных работников, которых советская власть вполне устраивает. В небольших дозах все это было, в сущности, просто верно. А для большинства людей, не очень серьезно занимающихся собой и изящными искусствами, просто незаменимо. А тем более коммунизм. Но она занималась литературой, и проблематика испанского Возрождения в связи с известным соображением по поводу того, что такового вообще не было, вызывала у нее больше тревоги и волнений, чем рассуждения о человеческом благополучии и гармонической социалистической личности. Для себя она

всегда с легкостью находила это благополучие на тахте вместе с «Темами и вариациями», поджав под себя ноги и прислушиваясь к улице.

Я категорически запротестовал:

— Пожалуйста, не спрашивайте меня о таких огромных и пустых вещах, потому что очень легко спросить: что более всего вы цените в жизни? На это можно отвечать только так:

— Более всего в сестре своей жизни я ценю искусство и общечеловеческое счастье. Но так ответит Ника Никель. Вся беда этой лжи в том, что она почти общечеловеческая правда. И каждому от нее достается очень немного. Поэтому я поверю только маленькой части этой колоссальной вселенской правды. Ограничьте ее любовью к томику стихов Пастернака вместе с желанием написать хорошую книгу, и вы получите простую человеческо-писательскую правду с нашими подписями и номером милого светлого дома на Большой Полянке. Но я терпеть не могу Шубина и передвижников. Что же касается революционной бури на Коста-Рике, то эта буря, мой друг, меня просто не интересует. Подобно тому, как меня совершенно не интересует то, что сейчас, может быть, в соседнюю квартиру к незнакомым мне людям вошел какой-то незнакомый человек, давно пропадавший где-то и оказавшийся лучшим другом хозяйки. Какое мне дело до всего этого?

Марианна все это хорошо знала сама. Когда смысл моих слов дошел до нее, она испуганно запротестовала:

— Нет, нет, вы сноб. Кроме того, вы эстет.

Против первого я, собственно, не возражал, но второе мне показалось страшно несправедливым, и я убежденно доказывал несостоятельность ее обвинения, ссылаясь на свои слова, которые она отлично знала, о том, что поэзия, конечно, должна быть всякой, но что *всякой* поэзии я предпочитаю декларативную и экспериментальную лирику, в чем она с легкостью может убедиться, взяв почти наугад какую-либо из моих пьес.

Милая Марианна сказала:

— Вы правы. Конечно. Как всегда. Во-первых, правы всегда — вы. Во-вторых, вы правы тогда только, когда вы доказываете. Как только вы уйдете, я опять буду уверена в том, что вы эстет. Аркадий, милый, я привыкаю к чему-либо значительно быстрее, чем могу от этого отвыкнуть.

Я вспомнил ее беспокойство о том, что она не может соглашаться со мной, потому что это должно уничтожить ее собственное отношение к вещам. О том, что это неминуемо, я уже знал. Она права, конечно. И все-таки ее неумение быстро расставаться со своими привычками очень уж походило на обыкновенное упрямство. И если бы она не поторопила меня ехать на теннис, слова ее могли показаться мне слишком тревожными симптомами.

— Ни-и, — сказала она. И это было так мило и так шло к пей.

Я знал, что Марианна придет домой и обязательно вспомнит, что опять я ругал Твардовского и Суркова. И без доказательств. Однажды я пригрозил ей, что если она будет приставать ко мне и требовать объяснений, то я буду цитировать. Она обиженно поглядела на меня и долго о чем-то шепталась с Евгенией Иоаникиевной.

Марианна тоже не знала, что эти люди будут делать потом, когда уже не надо будет убеждать их в том, что им необходимо делать именно это и именно так. Впрочем, она знала, что социалистическому государству эти люди всегда пригодятся. Но наше несчастье в том, что в социалистическом государстве думают, будто искусство в жизни людей играет такую серьезную роль, какую ему приписывают. Да ведь это же неправда. Никогда ни для кого из этих молодых и, наверное, сильно уставших женщин трагедия Мелибеи или Джульетты не была занимательнее, чем неприятности на службе или плохие отметки дочери. И эти женщины совершенно правы. И совершенно правы они, когда через полчаса после трагического спектакля они спешат приготовить ужин и привести в порядок костюм мужа. А наших поэтов заставляют верить в то, что в перерывах между выходом в свет их стихотворений люди будут не просто работать, а вспоминать своих учителей. Не будут этого делать люди. И не потому даже, что у них плохие учителя. Просто машинистка или секретарь не в состоянии улучшить свою работу под впечатлением стихов Острового. Но она не изменит ее, даже если ей каждое утро перед уходом в канцелярию читать «Кольцо Нибелунгов» и «Песнь о Хильдебранте». И преимущества «Нибелунгов» в сравнении с Островым не играют никакой роли. И не в том дело, что Островой ее агитирует. Едва ли не все, что знает об агитационной сущности поэзии в наши дни Островой, она тоже знает. Поэтому действительно не важно — стихотворение ли в газете, или стихи о первой брачной ночи Гунтера и о поясе Брунхильды, похищенном Зигфридом. Никогда искусство не играло и не будет играть такой серьезной роли в жизни людей, какую ему приписывают. Никто не умирал от скорби при виде закалывающейся Джульетты. И, наверное, империализм как высшую стадию капитализма социалистические люди испавидят не благодаря двум томам Жарова.

Марианна все это прекрасно знала сама, но она не желала вечно помнить о том, что для меня совершенно безразлично, скажут ли «Жаров» или какое-либо другое нехорошее слово. И мое барство терпела только с доказательствами.

Марианна не хотела понять, что это не только барство, но соображение, имеющее политическое значение, ибо в самом деле, если искусство не играет в жизни людей столь серьезной роли, следовательно, на него не надо обращать такого большого, а глав-

нос, *высокого* внимания, значит, оно может развиваться по своим имманентным законам. Марианна замуривает глаза от ослепительного света и в восторге уже ничего более не хочет слушать и понимать.

Я долго бродил по улицам и придумывал рифмы. Придумал: киргизам — коммунизм.

Та-та-та-та-та-киргизам
Очень нужен коммунизм.

Я не знал, что можно сделать с этой рифмой. До сих пор не знаю. Хотя такие вещи у меня обычно не пропадают. Жалко, что я тогда не отдал ее Марианне. Стихов она, впрочем, не пишет, Марианна. Она положила бы ее в свою маленькую шкатулку, и я мог бы взять ее, когда она мне понадобится.

Потом я придумал фамилию наркому просвещения Литовской социалистической республики — тов. Чертыхайтис. Товарищ Чертыхайтис сейчас занят. Позвоните попозже. Да, да. К обеду. Больше я ничего не мог придумать.

Совсем стемнело. Трамваи звонко разбивались на каждом повороте.

Вот теперь я был влюблен окончательно. Знал я также о том, что становлюсь сентиментальным. Тогда мне это понравилось. Я с нежностью гладил бархатную ленточку, лежавшую на Марианнином столике. Ленточка удивительно идет к Марианне, но она не решается носить ее из боязни походить на соседкину домработницу, в чем я ее энергически поддерживаю, несмотря на растущую нежность к этой милой, чуть потрепанной по краям бархатке. С нежностью трогал я и крошечную Марианнину зубную щетку, которую она тщательно вытирала, глядя сощурившись на свет сквозь маленькую золотистую ручку.

Дома мне сказали, что звонила Марианна и просила спрятать ручку от какой-то сумки и перепечатать ей «Песню и пляску» Михаила Голодного.

Оказалось, что, пока я придумывал рифму и фамилию туземному наркому, у меня была Марианна. На столе лежала ее записка.

«Я не знаю, что мы будем делать после того, как окончательно полюбим друг друга. Спорить мы не сможем потому, что Вы ожесточаетесь против своих противников. Я думаю, что это так и надо. Вам это необходимо, потому что Вам надо убеждать в своей правоте. Но меня Вы всегда будете любить меньше, чем Вы любите картины и книги, даже те картины и книги, с которыми Вы ожесточенно спорите. В сумке, которую Вы потеряли, были па-

броски второй главы, записная книжка с Вашими рифмами, документы, пудреница, помада, кольца и аккредитив».

Я так и не смог отличить конца Марианниной подписи от затейливой и длинной приписки.

«Все-таки Вы очень противный. Я очень плакала и все рассказала нашему Фильдингу. Он сказал, что непременно укусит Вас. Почему Вы дурно обращаетесь с Фильдингом? Вы должны говорить ему «Вы» и не дергать его за хвост. Когда Вы уходите, он все мне рассказывает».

Я тоже не знал, что мы будем делать после Марианниного признания. Она, впрочем, уже давно его сделала, но я смутно чувствовал, что надобен строгий и более официальный ответ. Это несколько походило на расписку и озадачивало безусловной ненужностью.

Программу первых нескольких минут я довольно точно представлял себе: во-первых, вероятнее всего, мы поцелуемся. Это — ритуал. Стало быть, беспокоиться не о чем. Во-вторых, мы будем говорить о планах на будущее. И это тоже вполне ритуально. И милая Марианна будет радоваться моим очень сомнительным надеждам. Я буду смеяться над деревней с забавным и милым именем, в которой она собирается заниматься германо-романской филологией, и тоже буду радоваться за нее, едва ли представляя себе, что, собственно, служит причиной этой легкомысленной радости.

Обо всем этом я посоветовался с Марианной. Выяснилось, что такая программа ее вполне устраивает, вплоть до сомнений касательно замыслов о будущем. Одно мы знали твердо: участие в социалистическом кроссе и участь кроссменов с номерами на груди нас никак не устраивали.

Больше я ничего не мог придумать. Мне пришла в голову несколько затейливая мысль спросить у Евгении Иоаникиевны о том, что делать нам после Марианниного признания. Это могло получиться или очень забавно, или грубовато. Все зависело от Евгении Иоаникиевны. Я не думаю, чтобы у меня это получилось бестактно. Наверное, мило. И я, испуганный и смущенный, громко сказал прохожим новое, еще непривычное слово:

— Теща!

Вечером мы слевой сочиняли народную песню про то, как Маришка с Марианнкой живут на Большой Полянке. И Лева закончил песню грустным трехстопным анапестом:

Я последним женюсь в этом мире!..

АНЕКДОТ VIII

Первомайский парад на Красной площади. Праздничная речь автора. Светская хроника о рауте второго мая у Наги. О том, как именно плакала Аня. Черновик чувств. Решительное объяснение. Аркадию очень мешает его весьма широкая эрудиция. Он смущенно цитирует Мандельштама. Героиня говорит о своей любви и пишет венок сонетов.

В Анекдоте автор применяет некий весьма любопытный прием показа вещей, заключающийся в том, что вещи изображаются в среде, им наиболее свойственной. Именно таким образом описаны анчоусы в уксусе и с пряностями. Аркадия и Марианну это очень забавляет.

Настал праздник Венеры, высокочтимой по всему Криту.

От удара по белоснежной шее падают коровы с кривыми золочеными рогами; задымился на жертвенниках ладан.

Пигмалион стоит перед жертвенником Венеры и робко просит великую богиню дать в жены ему девушку, похожую на изваянную им статую, не решаясь просить себе в жены саму статую, изваянную из слоновой кости.

Когда оранжевые лучи солнца вычертили в голубом небе острый треугольник, в знак божественной милости трижды вспыхнул на жертвеннике огонь и к небу поднялись витые сиреневые струи дыма.

Снова склонился художник над своей статуей, и пальцы его прикоснулись к ее груди.

Нежнее становится от его прикосновения кость статуи, становится она темнее и мягче, как размягчается под горячим солнцем гиметский воск, из которого делают красивые изделия.

Изумленный, не решаясь предаться обманчивой радости, счастливый и влюбленный Пигмалион снова робко дотрагивается до потемневшей слоновой кости и чувствует, как под его испытующими пальцами вздрогнули и забились поголубевшие вены.

Великолепной задумал Пигмалион любимую девушку!

Великолепной ожила она под его прохладными и искусными пальцами...

Метаморфозы

Первого мая я громко говорил Марианше:

— В нынешний век честные и серьезные ученые тратят свои убеждения, как рантье: они расходуют только проценты с принципов. Остается основной капитал, и при благоприятных обстоятельствах они вновь обретают новую ренту. На представительство они субсидируются социалистическим государством. Представительство — это «Новые принципы социалистического

реализма». А основной капитал — это серьезные старые исследования, материалы и сочинения. Но есть авантюристы, которым, кроме мифических процентов с несуществующего капитала, терять нечего.

Я продолжал свою майскую речь:

— Пролетарии — это именно тот класс, который в революции ничего не теряет, кроме цепей своих. И ему нечего терять более. Ну да это вы все сами знаете. У него нет ни эдемовых яблок, ни галстуков. Но что делать тем, у кого есть музеи с мраморами Праксителя и библиотеки с книгами Стерна, Олеси и Метерлинка. Праксителя он, правда, взял (у них есть такая статья: «О классическом наследстве»). Но вот Метерлинка не берет. И Федора Сологуба не берет, и Луи Селина, и Марину Цветаеву. И Матисса тоже не берет. А тех, кого взял, он переделывает по своему пролетарскому подобию.

Очень хорошо. Прекрасная Дама была Невестой. Потом она стала проституткой. Потом она вообще умерла. Причем, заметьте, только в 18-м году, в черный вечер с белым снегом. Я настаиваю на этом. Знаете, когда над этим грустно издевался Блок, это было грустно и мило. Потому что, когда издеваешься над собой сам, что ни говорите, это, батенька мой, грустно и мило, и рефлексия. Но когда мы издеваемся над этим да еще цитируем из какого-нибудь сочинения о прибавочной стоимости, то, уж простите мне, любезнейший, отвратительно это у вас получается!

Пролетариат не делает искусства по своему образцу. Добро бы он делал мужественное и решительное искусство. Но он почему-то делает какие-то странные вещи, похожие на него подвыпившего и всегубо улыбающегося. И какая-то странная скomorошья подпись подо всем этим искусством. Знаете, «Эх, сплясал бы я Камаринского, братцы!» Или такая: «Вот те и конституция!..»

Зачем это? Зачем эти привязанные к ушам губы? И столько пузатого, глупогубого оптимизма? Зачем двенадцатиэтажному жесткой конструкции дому колошны с коринфскими капителями? И зачем, боже мой, зачем же, наконец, улыбался спартакский юноша, когда лисица под тонкой туникой прогрызала кожу и мышцы его живота?

Марианна долго смеялась над моим праздничным выступлением. И плакала, долго и тихо.

Вечер был удивительный. Синий и черный. Похожий на обложку *Охранной грамоты*. И на пограничный столб.

Он свободно входил в открытые окна, останавливался у приотворенной двери и повисал на раскаленных кончиках папирос, супрематически двигавшихся в темноте.

Краски и линии за окнами превращались в звуки. С наступ-

лением темноты они интенсивнее оживали и, не слушаясь, прыгали по улицам, сталкиваясь друг с другом и друг другу мешая.

Ощущение вещей от глаз переходило к ушам.

Тост был великолепен: мы пили за сладостный voyage на Цитеру.

Боже, как все были милы и трогательны! Все непременно желали нам счастья. Тогда я сказал, что нашу дочь будут звать Натальей Аркадиевной и что у нее будут хорошие манеры. Марианне очень понравилось это соображение. Она сказала, что мы не отдадим маленькую Наташу в полную среднюю школу, потому что нам не нравятся здоровые и жизнерадостные социалистические дети, не знающие ужасов крепостничества.

Аня слегка опьянела и заплакала. Она незаметно прошла в кабинет Александра Степановича и плакала там. Меня это очень расстроило. Я тихонько постучался к ней и тотчас же увидел лежащие на ковре два больших пепельно-голубых глаза. Они двинулись. Я сказал:

— Не надо, Аня, не надо...

На секунду глаза пропали. Один появился на мгновение раньше второго. Я повторил тихо:

— Аня, не надо.

Глаза заплыли куда-то за слезы и неожиданно переместились, вздрагивая на спинке дивана.

— Ну пожалуйста, — сказал я и ласково провел ладонью немного выше глаз. Здесь были волосы. Глаза стали пропадать все чаще и чаще. И волосы мелко вздрагивали у меня под ладонью. Я тихо просил.

— Ну, не надо. Ну, пожалуйста. Аня...

Ей было очень жалко недавно застрелившегося Коку Кобальта и Нику Никель, его подругу-вдову; жалко свое, косо складывающееся двадцатилетие. Жалко Женю и его глупую историю с Корочкой. Наверное, даже нас с Марианной ей было жалко. Я очень хорошо понимал ее. Конечно, жалко. В таком положении мне было бы очень грустно думать о Коксе, Нике и обо мне с Марианной.

Потом она долго и медленно утихала. И только иногда вдруг побольше глотала воздуха на короткий и влажный всхлип.

Марианна поцеловалась с Женей и закричала ему:

— Теперь ты, пожалуйста, не забудь. Женя, дай-ка мне, братец, печенье. Ты очень хороший, Женя. Ни-и... Эй, ты! Конечно, ты!

Аня сильно курила и как-то здорово и очень красиво проглатывала дым. Во всяком случае назад он не возвращался. Что с ним она делала, я не знаю. Марианна уверяет, что это был фокус.

Марианна хотела отрезать Надину косицу. Женя говорил ей,

что это неприлично, потому что у Нади от этого непременно испортится цвет лица. Но Марианна не слушала. Потом послушалась. Потом отняла у меня папиросу и обожгла пальцы.

Упала она с девятого или даже одиннадцатого этажа и сразу притихла. Аня так здорово заглотила дым, что Марианна восхищенно замерла, втайне и с тревогой надеясь, что он появится откуда-нибудь из Аниного уха, как это иногда бывает у Аркадия или у папы, после того как они жестоко настаивают на том, чтобы она положила на грудь им свою руку и закрыла глаза.

Марианна очень расстроилась и стала серьезной. Она оглянулась. Потом тихонько прошла в соседнюю комнату, сразу изменившаяся и заметно выросшая. Я решительно пошел за ней.

Наконец должно было случиться окончательное объяснение. И только сейчас. Ни за что — завтра. Я не давал себя успокаивать. Я сильно нервничал. Стыли пальцы, и под воротничком лихорадил пульс.

Ее часы сильно стучали в темноте.

Она позвала меня.

Потом тревожно спросила:

— Что с вами?

Я молчал. Ее я не видел. Я же был виден отчетливым и черным металлическим силуэтом в окне. Вероятно, она сидела на диване.

Тихо и тревожно она спрашивала:

— Что, что с вами?

— Марианна, — попробовал сказать я. С голосом случилось что-то странное. Он взвился в воздух и скатился с лестницы.

— Марианна, — сказал я, — я люблю вас. — И очень удивился.

Часы ее громко стучали, заглушая мои. Неожиданно я услышал ее движение и неправильно объяснил его. Изредка я слышал ее дыханье. Больше о пей я ничего не знал.

Тогда я опять сказал:

— Я очень люблю вас.

Часы забились быстрее. Глухо вздохнул диван.

Теперь я сильно нервничал.

Она не шевелилась. Она зажала рукой часы, но тиканье просачивалось сквозь пальцы и падало на пол.

Я понял, что она тоже нервничает. И не выдержал и подошел к ней.

Она оказалась гораздо дальше, чем я ждал. Оказалось, что она лежит.

Я прикоснулся к ее ногтям.

Тотчас же отпущенные часы треснули и затрещали настойчиво и громко. Я испугался — мне показалось — сердито.

— Марианна, — сказал я. И тихо повторил: — Марианна.

Я чувствовал на своих пальцах часть овала и треугольник ногтя Марианны. И тотчас же я вздрогнул, вспомнив, что у Мандельштама в одной из его статей сказано: «Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму».

Марианна поняла.

Но я не сказал ей этого. Я сказал только:

— Я люблю вас, Марианна. Любите ли вы меня? Скажите. Любите ли вы меня, Марианна?

Она уже была в поле, когда я только еще выходил из лесу. А сзади за нами быстро и сбивчиво, наступая на листья и хрустя в кустарнике, шел дождь.

Вдруг она побежала. От неожиданности я бросился за ней. Потом, удивленный, остановился. Но Марианна бежала, и ветер приклеивал языки платья к ногам. Потом она обернулась, и ветер вскинул нимбом ее волосы. Тогда она закричала, пошатываясь от усталости и ветра:

— Я очень, очень люблю вас, Аркадий. Я очень люблю вас.

И тихо добавила:

— Ну конечно.

Часы стучали очень громко и фальшиво, и, наверное, их слышали Надя с Женей. Потому что Женя сказал:

— Надя, не пейте водку. А то папа скажет Стеше.

Вдруг мне захотелось начать все сначала и впервые рассказать Марианне о том, что я очень люблю ее. Потом я вспомнил о статье Мандельштама, в которой говорится о том, что мы свободны от груза воспоминаний и что не стоит создавать никаких школ и не стоит выдумывать своей поэтики. Это было, конечно, важнее моего признания, хотя я знал, что за одни эти слова Мандельштам должен стать моим врагом на всю жизнь. Ибо я не верю в то, что не стоит выдумывать своей поэтики и не стоит создавать своих школ. Но я опять не сказал этого. Я сказал только:

— Марианна, не надо так долго мучить друг друга. Как это хорошо, что вы любите меня! Господи! Как хорошо.

Но потом подумал и все-таки добавил:

— Вы знаете, мне показалось даже, что, может быть, действительно не стоит создавать своих школ, Марианна.

Она ничего не ответила.

И вдруг блеснула, выплеснутая, и брызнула такая радость, что мы, испуганные, отскочили в сторону, но вода разбилась вдребезги, и брызги ее целым ведром опрокинулись на нас. От удивления мы даже не отряхнулись и стояли мокрые и растрепанные. Когда мы огляделись по сторонам, самым удивительным оказались воздух и дома, не принимавшие в нас ровно никакого участия. Вначале это даже обидело немного. Но потом, когда я увидел наполовину отвалившийся карниз у фиолетовой тени большого зелено-желтого дома, на который показала мне Мари-

анпа, я понял, что это, конечно, не так. Под картизом стоял аквариум, и в нем плавали золотые рыбы. А на двери дома висела большая стоптанная подкова. Среди руин висело перовное ожерелье плюща.

Часы куда-то пропали. Я пробовал нащупать их слухом. И не мог.

Георгика кончилась. Я опять разнервничался. Затикал пульс, перебивая часы и глухо ухая в уши. Я испуганно переспросил:

— Это правда, Марианна?

Она была очень серьезна.

— Ну да.

И пояснила:

— Ну конечно, я люблю вас.

Мы совершенно не знали, что делать. Как волновалась Марианна! Дыхание выпадало из ноздрей маленькими упругими резинками и глухо стучалось об пол.

«Господи, да ведь она может заплакать», — с тревогой подумал я. И в то же мгновение понял, что она вздрагивала и тихонько тряслась, похожая на тоненькую отпущенную пружинку.

У меня защемило сердце от горя. И я глотнул ее губы. Она испуганно отпрянула и вдруг успокоилась и неумело обернула руками мою голову.

АНЕКДОТ IX

Несколько практических замечаний касательно клептомании. Робкое замечание Аркадия в защиту истории философии. Он убеждает героиню в том, что философия может быть всякой и не обязательно правильной. Аркадий и Марианна вполне зарифмуют друг друга.

С непривычки мы не знали, куда девать наше новое счастье. Оно было удивительным, потому что когда лежало рядом со старой мечтой о нем, оно было таким же, как и эта мечта, и даже еще лучше. Мы клали его по углам. Закрывали какими-то обязательными и неудобными вещами. Это было несколько стеснительно и было похоже на ощущение, с каким некоторое время носишь новое платье.

Дома ему еще не было места. На улице тоже не было. Здесь оно натыкалось на людей и фонарные столбы. А однажды, когда Марианна едва не попала под трамвай, я с ужасом понял, что улица совершенно неподходящее место для хранения этой топенькой книжки, которую мы неумело начинали читать и которая сама учила нас грамоте.

Лучше всего было в музее.

Наша жизнь была согласием и братством рифм. Мы жили, как хорошие основные повторы. Но уже тогда стало совершенно

ясно, что флексии у рифм разные. Кроме того, очень часто мы гладко рифмовались только по одному признаку, примерно так, как рифмуются «морозы» с «розами», вещи очень далские друг другу, единство которых осуществляет лишь простенькая звуковая случайность, и, в сущности, это были антонимические рифмы. Все это мы заподозрили сразу же.

Мы были праздны, праздничны и бесконечно поздравляемы. О том, что делать теперь нам, я так и не решился спросить Евгению Иоаникиевну.

Марианна поцеловала меня вполне канонично. Я отвечал ей тем же, остро ощущая многовековую традиционность этого поцелуя. О поцелуях мы отлично знали, что это очень нехорошо и что Евгения Иоаникиевна будет страшно недовольна. Конечно, без них вполне можно было обойтись. Было чрезвычайно много рук, и хорошо еще, что мы хоть, вероятно, больше других походили на многорукую статуэтку Будды. И счастье наше падало в дыры между руками и отскакивало, когда мы оглядывались на него, вытягиваясь, многорукое, у нас за спиной.

Но каждый из нас продолжал любить своей дорогой. Встречающиеся нам обоим на пути одни и те же вещи каждого из нас беспокоили или не беспокоили по-своему. Марианну, например, едва занимали современные русские поэты. Кроме того, она очень любила свою маму.

Евгения Иоаникиевна решительно потребовала:

— Я думаю, что ребенку надо показать две или даже три вполне хороших манеры. Как вы думаете, Аркадий, удастся вам это сделать?

Я очень испугался этого предложения, полагая, что Марианна будет шокирована им. Кроме того, я думал, что Марианна уже знает три хорошие манеры, но я не хотел расстраивать Евгению Иоаникиевну и с тяжелым сердцем согласился.

Примечание автора:

Дело в том, что Марианна все трогала руками, низко склонялась над тарелкой, и Аркадий уверяет, что один раз он сам видел, как Марианна разрешила сразу все мясо, положила нож, взяла в правую руку вилку и все съела. Этого Евгения Иоаникиевна с Аркадием не могли перенести, и, вероятно, именно поэтому она обратилась к Аркадию с таким требованием.

О ТОМ, КАК АРКАДИЙ УБЕЖДАЛ ГЕРОИНЮ В ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЯКОЙ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНОЙ

Марианна с сожалением осматривала свой велосипед с погнутой педалью и дико растрепанными спицами, когда я вошел и радостно сказал ей:

— Марианна, из зоологического парка убежал тигр. Его ловят пожарные с брандспойтами и милиционеры со свистками. Надо немедленно позвонить Сельвинским.

Марианна прочла несколько строф из Киплинга и посмотрела на свою обезображенную машину.

Вошла Евгения Иоаникиевна и, удивленная Марианниними коленями, строго сказала:

— О, закрой свои бледные ноги.

Потом пришел Цезарь Георгиевич и прочел три стиха о красавце По-Пок-Кивисе.

Внизу под окнами долго, задыхаясь, свистела сирена кареты «скорой помощи». Евгения Иоаникиевна и Цезарь Георгиевич ушли. И мы опять остались одни.

Удивительно и необыкновенно красива Марианна. Она очень устала, и это шло к ней, потому что, когда Марианна устает, она откидывает голову и видны ее шея, скругление подбородка, ноздри, ресницы и фиолетовые овалы над веками.

Марианна красива, как орнамент с простыми внешними очертаниями. В него надо пристально вглядываться для того, чтобы понять, как он красив. То, что Марианна поразительно хороша, не все знают.

Марианна очень расстроилась.

Мое заявление о том, что я вовсе не против нынешней философии, испугало ее, как ренегатство.

Она оччень расстроилась.

Она коротко вздрагивала, и захлебнулись ее фиолетовые веки.

— Если отступите вы, то что же всем нам останется делать, — горько пожаловалась Марианна.

Я так испугался, что даже не стал ее успокаивать. Я говорил милой Марианне о том, что в конце концов их концепция все-таки заслуживает того, чтобы о ней просто серьезно говорить, может быть, так же серьезно, как о концепциях Платона и Плотина, о кантианстве, позитивизме, Бергсоне с его учениками, о Ницше и о Марбургской школе.

Марианна немного успокоилась. У нее были заплаканные глаза с покрасневшими веками. Глаза с покрасневшими веками похожи на губы. Милая, милая Марианна.

И все-таки ей было очень жаль неокантианцев. Она была так удивительно хороша и добра сегодня, что долго, не перебивая

меня, слушала подробнейшее изложение моей попытки системы функционального ассоциативизма.

Раньше она вовсе не хотела понимать. Но сегодня она перестала упрямиться и бояться утратить свою, так горячо и старательно оберегаемую, возможность думать самостоятельно. Но даже сегодня не понимала Марианна, как это, как это одни и те же вещи всегда у меня выглядят по-разному и обретают различное назначение и неверные удельные веса. Она каждый раз наткалась на всегда незнакомые вещи, и я уже знал, что она долго не сможет прожить в этой вечно незнакомой гостинице. Но как мило бранила она мою методу: просто диалектика.

Маринна сегодня очень нервничает. Она говорит, не поднимая глаз:

— Это все потому, что вы что-нибудь находите или придумываете, потом приносите мне и, когда приходите на следующий день, то ищете запаха цветов, даже не поинтересуясь, привилось ли ваше растение. Я не ива. Меня нельзя черенками. Вы хотите изваять меня сами, но вы удивитесь моей мертвенности, несмотря на все искусство ваших пальцев, потому что вы не понимаете простой вещи — что все это должно привиться, созреть, прорасти, и только потом — запах. Не торопите меня, не торопите меня, ради бога, не торопите!..

Вещи Марианна лучше всего ощущала верхним покровом мозга. Она очень тонко чувствовала форму и поэтому легче всего в вещах понимала их поверхность. Их оболочка плотно покрывала серое вещество, обливая его и сливаясь с ним. Но для этого выпуклые предметы должны были вывертываться наизнанку. И в ее интерпретации они получали подчас самую неожиданную и удивительную внешность.

Как глубоко верила Марианна в очертания.

— О нет, не Роллан. Прежде всего мастерство и изящество. Прежде всего. А доброе сердце — потом. И забота о человечестве — тоже. О, если бы было наоборот, то наша мама стала бы чудной художницей. Но наша мама плохой мастер. Конечно.

Вот в этих стихах мы рифмовались омонимическими словами. Но когда мы спорили, мы любили уже друг в друге только то, что делало нас согласными.

Но лучше всего было в музее.

Соглашаться здесь было легче потому, что наши доказательства висели перед глазами, что было особенно ценно для Марианны, и достаточно было только не упрямиться, как все это говорило так громко, как только могут говорить краски и линии, которые с поры импрессионистов совершенно перестали стесняться.

Мы долго рассуждали с Марианной о связи поэтов с другими артистами и пришли к весьма замысловатому выводу.

Мы определенно решили, что воровать теперь можно только

у живописцев и прозаиков. Поэты ни о чем, кроме стихов, не имеют представления. Поэтому еще можно воровать у скульпторов, архитекторов и музыкантов. Закат лучше всего писать прямо с Монэ, а не с горизонта. Там это точнее и красивее. Только рифмы надо придумывать самому. И метафоры — самому. А мы с Марианной уже хорошо знали, как это трудно.

— В особенности метафоры, — кротко и скорбно сказала Марианна.

В комнате у нее было бестолково солнечно. Солнце с треском отскакивало от стекол, закрывающих картины и фотографии, от зеркал, посуды и безделушек. Его было невыносимо много, и оно было очень густым и плотным. И ходить в нем было, как в воде, трудно. Потом солнце ушло к Евгении Иоаникиевне и мы остались одни.

Я сказал ей:

— Марианна, вас ни за что не сделают наркомом. Не ревнивы потому что. Вот что. Наркомы обязательно должны быть ревнивыми. Эти ужасные люди не спят по ночам и ни о чем не думают, кроме как о своих несчастьях. Агитатором вас тоже не сделают.

Марианна сначала не поняла. Переспросила. Потом долго кричала.

— Ах, сестрица Геро, не давай ему говорить! Не давай ему говорить, сестрица. Пусть он лучше тебя поцелует, или сама зажми ему рот поцелуем! Ах, сама, сама... пожалуйста...

Она долго шумела и поцеловала меня. Потом мы разом расстроились. И Марианна со вздохом сказала:

— Не начинайте писать роман. Сегодня вы уже не успеете его закончить.

Положим, я и без того не собирался начинать. Но, конечно, она была права, — сегодня я, действительно, не закончил бы романа.

Мы сорвались с поцелуя и неожиданно заметили, что стекла стали сирепевыми, как готические витражи, и что обе стрелки часов глядели на запад, все более и более сжимая малсыкую толстую девятку.

И опять мы грустно и длинно отпили от губ.

Тогда я начал лепить ее.

Я брал ладонями и откидывал назад ее красивую крупную голову. Шея ее выгибалась и соскальзывала круглой тяжелой волной под широкий воротник платья.

Я работал быстро и сосредоточенно. Я прижал мягкую массу ее щек, отчего профиль сразу стал медальонным, и большими пальцами срезал виски. Потом резче очертил овал. Ноздри ее вздрогнули, зацвели и распустились. Я круто повернул всю голову и опять слегка откинул ее.

Мгновением так все и оставалось. Но она улыбнулась, стряхнув все лишнее. И не успевший загустеть гипс опять превращался в нее.

Тогда я нетерпеливо начинал сначала и делал ее опять непохожей. Я перечеркнул губы и даже не стал их переделывать. Я сделал ее в манере Майоля. И это шло к ней более всего другого. Но она подняла веки, шевельнула губами, и бронза стала медленно испаряться. Потом появились краски, и линии заплывали под воротник, за уши, в волосы и в воздух.

Но я был счастлив своим ваятельством и смутно ощущал радость и удивление Пигмалиона.

АНЕКДОТ X

Манера, в которой написан этот Анекдот, несколько напоминает манеру старинных итальянских травести. Теперь автор сожалеет об этом. Автор просит прощенья у героини. Он чувствует себя глубоко виноватым. Теперь он знает, как гурно было с его стороны писать в таком легкомысленном тоне. Тяжелый пример автора повести о Гулливеровых терниях мог послужить отличным уроком, но автор очень упрям и ветрен. Он еще раз просит прощенья у своей героини. Марианна читает Аркадию сочиненные ею баллады о Робин Гуде. Замечание героя по поводу генезиса социалистического реализма. Хождение Богородицы по двум мукам (к Ане и домой). Критический разбор книги тов. Сталина «Спасенный Маяковский». О севрских кофейниках и опять о соц. реализме. Анекдот заканчивается некрологом разбитым очкам, написанным в манере надгробного слова кота Гинцмана.

В нашей жизни было мало глаголов.

Мы рассказывали свою жизнь. Просто рассказывали прочитанные, написанные книги.

Мы уже очень хорошо знали, что самую динамическую коллизию с легкостью можно свести к нескольким ритмически вялым прилагательным. И даже такой важный для нас глагол «любить» мы превратили в существительное имя «влюбленные», подозрительно похожее на свою прилагательную сестру.

Занимались мы следующим: ровно ничего не делали, любили друг друга, невыносимо утомляли друг друга внимательностью, Марианна писала очень важную для нас работу об английской балладе, а я делал первое стихотворение «Сепсиса» и с упоением читал схемы Белого в его архиве.

Но кроме того, что мы любили друг друга, читали, покупали, писали книги и дарили друг другу цветы, мы волновались, предчувствуя, что паспортов на Цитеру нам все-таки не выдадут. И Марианна с Евгенией Иоаникиевной будут уверены в том, что виноват в этом я.

Евгения Иоаникиевна стояла, прислонившись к косяку оконной амбразуры. Небо висело в раме окна и было расписано в манере лирической сюиты Кандинского.

Марианна спросила Евгению Иоаникиевну:

— Мать, скажи, пожалуйста, Каждан женат? Очень красивый мужчина.

Евгения Иоаникиевна ответила дочери:

— Нет, Марианна, он бережет свой цветочек.

И добавила тихо и отчетливо:

— Четыре тысячи семьсот двадцать четыре, — и глубоко вздохнула.

Спокойна была даже Евгения Иоаникиевна. Сегодня она сказала мне:

— Аркадий, если вы еще раз доведете моего ребенка до слез своими глупыми рассуждениями, то ребенок не пойдет за вас замуж.

Марианна сказала:

— Нельзя меня обижать.

Цезарь Георгиевич по ошибке долго солил суп табаком. Потом стоически ел его, конвульсивно дергая челюстями. Но попросить другого супу он не решался. Он боялся Евгении Иоаникиевны. А я не боялся.

Потом мне стало жаль Цезаря Георгиевича.

Марианна просыпала сахар.

Дома я ничего не мог делать.

Я только придумывал надписи на книгах, которые дарил Марианне. Вчера меня поймали на том, что я писал что-то очень трогательное на большом только что распустившемся тюльпане.

В последнее время я ежедневно надоедливо звонил по телефону Марианне и удивленно спрашивал, уж не хочет ли она перейти в Геологоразведочный институт. Она деловито переспрашивала меня, в какой именно, и каждый раз серьезно отказывалась. Потом, когда это стало невыносимым, она согласилась. В сущности, ее очень легко было уговорить. Но если не удавалось заставить ее немедленно привыкнуть к новому положению, то завтра надо было начинать все сначала. И я звонил, спрашивал и предчувствовал, какие роковые последствия могут скрываться за этим, столь легко преодолимым упрямством.

На лирике Симонова я с горечью надписал:

«На бестемье и любовь тема».

Марианна позвонила ко мне и деловито спросила:

— Аркадий, скажите мне, только, милый, пожалуйста, поскорее, почему социалистический реализм должен быть именно в России? Да, да. Именно в России.

Я длинно и обстоятельно, как умел, объяснял ей. Но она спешила и поторопила меня:

— Варвары, — сказал я. — Варвары, ну и метод такой.
Иное дело Сезанн, барбизонцы:
Они — композиция, план, протокол,
У них на каркасе солнце.

Она согласилась и благодарила. Потом тихо пожаловалась:
— Я дурно себя чувствую, милый. Приезжайте.

Я побежал за цветами. Было уже поздно, и цветов не было. Впрочем, цветов не было, наверное, не только по этой, вполне реалистической причине. Цветов в Москву, наверное, сегодня не завезли.

Вместо цветов продавали газированную воду и чистили обувь. Чистили все. Это было чем-то почти триумфальным. Все чистили и в чувственном ажиотаже приговаривали стихи Маяковского «О белом и черном». Настроение у меня было подавленное, и я тоже чистил. Чувствовал, что этого не следовало делать потому, что я чищу туфли каждое утро и что мой чистильщик, коричневый, блестящий и кожаный, с усами, зашнурованными бантиком, будет очень удивлен и недоволен, узнав чужую щетку. И все-таки чистил, преодолевая острую недоброжелательность к чужой щетке.

Но к Марианне я не шел.

Пить воду на улице я терпеть не могу. Я своими глазами видел, как один вполне приличный мужчина соскочил с трамвая, бросил монету, взял стакан, пил, пил, потом вздохнул, саркастически плюнул в стакан и, громко крича, опять побежал за трамваем. Тотчас же продавщица долила доверху стакан и по общедоступной цене продала его, не торгуясь, на все махнувшей рукой молоденькой девушке. Это было ужасно. Я поклялся, что мы с Марианной решительно отказываемся от уличных удовольствий.

Недавно Марианна оживленно рассказывала о своей приятельнице, которая даже сэкономила на воде. Все лето. Потом пошла и пропала все. В один вечер. Потом узнал ее муж. Боже, что там было!

Цветов все-таки не было.

Принести Марианне воды, даже той, чистоту которой я мог гарантировать, мне не приходило в голову, хотя она, большая и слабая, наверное, хотела пить. Как впоследствии я сожалел об этой жестокой опрометчивости! Запомнил. Ну, просто никак не мог подумать о воде. Больше приносить было нечего. Нести вычищенные туфли я не решался. Не было ни шоколада, ни пирожных, ни фруктов. Продавали пирожки.

К Марианне я все не шел.

Дома у меня были цветы. Я возвратился домой и с тоской сунул их в письменный стол. К рукописи. Пусть тоже гниют.

Мама сказала, что час назад Марианна опять звонила и сильно беспокоилась.

Я подошел к телефону и позвонил Ане.

Аня уже спала. Я попросил разбудить ее, и по моему расстроенному голосу Наталья Дмитриевна поняла, что это очень важно. Недовольная Аня спросила меня заспанным и глухим, как подушка, голосом, чего мне нужно, и я весело осведомился о ее самочувствии. Потом я сказал, что рад пожелать ей доброй ночи. Аня сказала, что будить человека для того, чтобы пожелать ему легкого сна, бессовестно. Потом зевнула и добавила:

— Но изобретательно. И очень похоже на вас.

Потом она спросила меня о Марианне. Я с беспокойством рассказал про цветы.

Аня сказала:

— Приходите. У нас есть. Возьмете у мамы.

Я извинился и поблагодарил.

Через полчаса я поднимался к Аниной квартире.

Перед дверью, на лестничной площадке, действительно стояли цветы. Цветы, собственно, не стояли, а лежали. Наверное, они даже просто валялись. Я осторожно подобрал их и тихо позвонил. Я знал, что в электрические звонки тихо звонить нельзя. Звонят они всегда одинаково. Можно только звонить коротко и часто. Или длинно и редко, или длинно и часто, или еще как-нибудь. По-всякому можно звонить в электрические звонки. Но я все-таки звонил тихо, потому что Аня спала и будить ее было бессовестно.

Мне открыли. Я быстро прошел в Анину комнату и не очень громко сказал:

— Завтра концерт Гилельса. Положим, он плебей, Гилельс, но все-таки интересно.

Аня проснулась. Она взглянула на меня. На щеке у нее была копия наволочкиного кружева. Милая Аня...

Она проговорила:

— Спасибо, спасибо. Я же хочу спать, невозможный вы человек. Поставьте на стол.

Я умолк и недоуменно глядел на спящую Аню. Потом испуганно догадался. Но делать было нечего. Я осторожно поставил цветы и тихонько вышел из комнаты.

Было около двух часов ночи.

Широколастные плавали автомобили.

А цветов я все еще не достал. Я возвратился домой. На душе у меня было тревожно. На письменном столе лежала записка:

«Дорогой мой, была у вас. Не застала. Очень беспокоюсь. Куда вы пропали? Зачем вы принесли маме коньки? Ваша пельница оказалась в моей пижаме. Вот где. Принесла вам роз. Целую вас крепко, крепко, мой дорогой и самый хороший. Наша Маша.

Знаете, хороший, хороший мой, я тишайшая, я простая. "Подорожник", "Белая стая"».

Розы стояли на столе в большом темном бокале. Рядом с розами лежал томик Ахматовой с Марианшиной дарственной.

Я был потрясен. Я понял, что все передуманное мною о Марианше, все верное и неверное, что придумал я или обнаружил в ней, ничто и ничтожно в сравнении с этими двумя простенькими строчками, переполненными захватывающей надеждой на то, что она все-таки, может быть, талантлива, исполненными горечи примирения с мыслью о своей бесталанности, полными иронии над людьми, поверившими в это и предавшими ее, и исполненными робкой попыткой доказать, что все это все-таки, может быть, и не так.

Эта цитата была неизмеримо важнее стихов, которые Марианна написала бы сама, сделав их, может быть, равноценными этим по удивительному искусству, в них вложенному, ибо нужно было быть только очень талантливым человеком для того, чтобы так удивительно уловить свою интонацию в чужих словах и вложить в эти несколько ритмически упорядоченных голосовых движений все свои опасения, надежды, боязнь и отчаяние.

Если все это рассказать Марианне, то она станет упорно отстаивать незначительность своих художественных способностей, потому что большой талант Марианны — потенциален и таен.

Стало душно. Дыхание сдавили подушки, горячие и слегка потрескавшиеся, как губы. Под челюсть заплыли кисловатые железы. Боже мой, боже мой! С невыносимой нежностью думал я об этой необыкновенной и неповторимой, больной и большой девочке, которой я утром купил коньки, а вечером долго, путано и бестолково покупал гвоздику, торопливо пересекал улицу, сталкиваясь с прохожими, спотыкаясь, серьезно придумывая какую-то путаную историю о воде, продававшейся на улице, и смутно догадываясь о том, что нет на земле мне счастья без счастья этого человека и книг, которые мы вместе прочтем и напишем.

Милая моя детка. Милая. Милая и дорогая...

На следующий день я купил цветы и побежал к Марианне. Она сердито встретила меня и немедленно сказала:

— Знаете, любовь, на холоде особенно, очень скоропортящийся продукт.

Я оторопел.

Сентенцию эту она придумала ночью. И теперь не утерпела и сказала, не дав мне войти как следует. Это я понял по тому, что она не утерпела. Сказать нужно было несколько секунд спустя. Тогда я бы не догадался. Теперь уже нельзя было сердиться. Я просил:

— Рифмы? «Особенно — Собинов», «Продукты — репродуктор».

Марианна не стала слушать моих объяснений. Она занялась с

цветами и разговором с Надей. Но потом она подошла ко мне и сказала, поводя бровью в сторону тут же сидевшей Любы.

— Правда, она интересная?

Я не удержался и торопливо проговорил:

— Толста. Без окон и без дверей, полна пазуха грудей.

Марианна всплеснула руками и ахнула.

— Стыдитесь, Аркадий, как вы дурно воспитаны!

Люба рассмеялась и спросила:

— Кто это?

Марианна сказала:

— Аня.

Начинался кофе. Нике очень понравились конфеты. Я знал, что понравились они ей со злости. Она очень хорошо знает, что я не люблю конфет. Марианна любит. А я не люблю. Даже не в этом дело. Терпеть не могла меня Ника, собственно, не из-за конфет, а из-за Марианны. Доктор сказал, что у нее патологическая страсть изо всех сил стараться все делать вопреки желаниям своих друзей. А так как Марианна была ее подругой и Ника знала о некоторой склонности Марианны ко мне, то этого было совершенно достаточно, чтобы Марианне ежедневно сообщалось обо мне что-нибудь не слишком стимулирующее Марианнины чувства. Я, положим, тоже терпеть не мог Нику, но я готов присягнуть, что это только в ответ на ее чувства ко мне. Больше она меня вообще не интересовала. Впрочем, иногда она мне нравилась, — когда была высокой и тихо говорила.

Вдруг Ника, не дав хоть немного остыть кофе, заявила о необходимости ревизии чрезвычайно популярного в простом народе мнения о Маяковском как о весьма одаренном поэте.

Марианна выронила чашку кофе на колени Цезаря Георгиевича. Я — на колени Евгении Иоаникиевны. Большой черный кот вскочил на стол и сразу выпил весь ликер и съел все бисквиты.

Тогда все предварительно обдумавшая Ника немедленно присовокупила к сему цитату из Ленина, о которой ничего нельзя было сказать, потому что кроме нас пили кофе какие-то архитекторы, которым очень хотелось посадить Цезаря Георгиевича и меня в тюрьму.

Я просто не знал, что делать. Все тревожно смотрели на меня, как на защитника цивилизации от варварских посягательств. Делать было нечего, и я решил дать сражение на том же поле. Я с аппетитом съел чье-то печенье и, почти успокоившись, радостно сказал:

— Очень хорошо-с. Я бы сказал даже — просто превосходно. Таким образом, уж если мы вступили на тернистую стезю апелляций к священному писанию, то некоторое напряжение памяти самой малой толикой разгоряченной чаем фантазии неминуемо понудит нас вспомнить некое весьма популярное заявление на этот счет, ставшее категорической формулой и прекрасным эпи-

графом. С таким эпиграфом можно, скажем, написать книгу под титлой «Спасенный Маяковский».

У Ники стыли руки и чай. Она положила пальцы в стакан. Потом страшно смутилась и выпула их. Потом обсосала и положила сахар.

Я продолжал, успокоенный, почувствовав знакомое щекотание под подбородком.

— Вы, естественно, возразите указанием на то обстоятельство, что эти два высказывания суть диаметрально противоположны одно другому. Очень хорошо.

Архитекторы начали икать от удивления.

Чужое печенье я уже съел. Свое тоже. Марианнино тоже. Это было удивительно осторожно сказано. Во всяком случае, архитекторы не могли посадить нас в тюрьму.

— Вы совершенно правы, — настаивал я, — придется только решить, кому из двух высказавшихся на эту щекотливую, в некотором роде, тему верить больше.

Марианна отобрала у Ники кофе, в котором она ложечкой размешивала пальцы, и спросила:

— Кому из двух высказавшихся отдать предпочтение?

Я тоже спросил:

— Кому? Кому верить больше, ибо верить обоим сразу — противно. — И пояснил архитекторам: — Логике естественной противно.

Марианна сказала:

— Противно.

Архитекторы еще раз икнули и тоже сказали:

— Противно.

Ника плакала. У нее отобрали кофе, бестактные архитекторы съели ее печенье и горько обидели ее. Это, конечно, было слишком жестоко, и я пожалел ее.

— Не плачьте, Ника, не падо. Вы вполне можете примириться с обоими. Конечно. Только счастливое преимущество Ленина, — сказал я, — было в том, что он мог скромно иметь свое мнение, которое не было обязательным для других так, как обязательно исполнение предписаний последних фраз статей уложения о наказаниях. Поэтому мне даже приятна его наивность и абсолютная некомпетентность в отношении Маяковского. Конечно, ведь и в канонической жизни Иисуса ученые нашли, знаете, много вещей, увязать которые между собой можно только нитями любви к отцу и учителю нашему. Только нитями любви, Ника.

Архитекторам очень понравилось это соображение. Они сказали:

— Нитями любви к отцу и учителю нашему.

И выпили по стакану чая.

Все это мне страшно не понравилось. Я разозлился и плюнул на архитекторов.

Какая-то литературно-музыкальная девица на выданье очень мило сказала мне, что стихи мои ей нравятся потому, что они вполне искренние стихи. Еще она очень просила меня написать стихи про любовь, и если можно, то ей хотелось бы и про изнасилование.

Другая музыкально-литературная девица допытывалась, правда ли все то, о чем я пишу.

Теперь я все это вспомнил. Это уже было слишком невыносимым. Раньше я не сердился на девиц, но теперь мне стало нестерпимо обидно, и, хоть я и прекрасно воспитан и был в вечернем костюме и в сорочке с туго накрахмаленной грудью, больше я не мог быть спокойным, я стукнул кулаком об стол, еще раз плюнул на архитекторов и громко закричал:

— Да что они, в самом деле, хотят жизни учиться у изящной словесности? Пусть тогда изучают статьи Горького о грамотности! — кричал я угрюмым архитекторам, которые хотели посадить нас в тюрьму. — Странно, удивительно даже, непостижимо, почему это до сих пор никому не приходит в голову, как вести себя с любезными женой и детками у тонкого северского кофейника, который сделан с действительно неподражаемым искусством. Почему у кофейников никто не учится морали, а приходят спрашивать с нас, писателей? — кричал я на Нику. — Это неверно и несправедливо! Уж если вы действительно уверены в воспитательной функции искусства, то воистину совершеннейший северский кофейник научит вас большему, чем самые зарифмованные речи Суркова и Алигер. Я напишу им про любовь. Про кофейник! Про кофейник! О-о!

Я задышался. Марианна отвела меня в свою комнату, напоила водой и тихо сказала:

— Дорогой мой, правды не надо говорить слишком много. И сразу. Шутите побольше, милый.

— Ну, конечно, конечно, дорогой, занялась бы эта литературно-музыкальная дама каким-нибудь честным делом, ботаникой или медицинским промыслом, например, и была бы просто приятной дамой или даже дамой, приятной во всех отношениях.

— Но какой же вы мальчик. Совсем, совсем мальчик. Знаете, еще в Екклезиасте сказано: «Потому, что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того».

Марианна дала мне еще попить, пожалела меня и сказала, протирая стекла моих очков:

— Знаете, Аркадий, когда разбиваешь розовые очки, то зрение чрезвычайно выигрывает, но, знаете, вещи получаются такими, точно их отпечатали на слишком контрастной бумаге. У них морщинистый лоб, складки у губ и под глазами большие темные круги. Может быть, действительно, мой друг, не нужно очень пристально вглядываться в вещи.

АНЕКДОТ XI

Марианна и Аркадий весьма хладнокровно выслушивают резкий выговор за свой эгоцентризм и оправдываются, ссылаясь на глубокую любовь к замечательному поэту Илье Сельвинскому. Процесс ассимиляции и диссимиляции в человеческом организме. Прометей, выклеивающий свою печень. Автор понимает всю безнадежность положения своего героя и соглашается с предложением пригласить знаменитого профессора. Знаменитый профессор недовольно покачивает головой и безразлично советует читать «Пьер и Люс». Больной умирает. О дожде, шедшем во время отъезда милой невесты героя.

Наша жизнь была только для нас.

С социалистическим обществом мы не делились.

Даже мои близкие друзья не прощали этого ни мне, ни Марианне. Они, попыхивая, уходили хлопьями, похлебывая горечь нашего отплытия. Но мы были совсем рядом с огромным писателем. Это мой учитель. Наш любимый писатель и учитель.

Кроме того, что Сельвинский писал удивительные стихи, он еще и не писал удивительной прозы. Эту прозу он говорил. Как говорил Сельвинский? Как ходил — великолепно упруго и стремительно и весь обваливался на ноги. Это был старый и чрезвычайной важности разговор о том, как тошно обедничиваться, и о том, что литература не парад с его дотошным равнением. Сельвинский непременно лидер. Непременно глава. Непременно вождь. Он крупен и кругл. Каждая часть его тела похожа на другую. Ноготь его большого пальца похож на сильное мускулистое крыло ноздри, а вместе — они похожи на веко. Он говорит громко и нежно. По его фигуре и голосу легче всего догадаться о том, как сделаны эпиграммы, стихи о зверях и посвящение в «Пушторге».

Он сам стоял во главе большой школы.

Поэтому у него не было почтительности. У него не было восхищения. Он лучше других знал, как сделаны «Про это» и «Разрыв». Потому что никто не знал так хорошо, как он, как сделаны «Улялаевщина» и «Записки поэта». Он был единственным серьезным конкурентом своим гениальным современникам — Маяковскому и Пастернаку. Наверное, он не любил их, владимвладимыча и борислеонидыча. И кто знает, — может быть, ему очень больно было читать эти строки:

Мчались звезды. В море мылись мысы.

Слепла соль. И слезы просыхали.

Маяковскому было легче простить. Там прямо так и сказано:

«Илья Сельвинский: Тара-тина-тара-тина-т-эн...»

Часто он резко говорил о них обоих. Но это говорил очень большой писатель о других очень больших писателях. И незабываемое ощущение того, что в разговорах с Сельвинским эти писатели становились резкими и живыми соперниками в споре, тут же за столом, рядом, со своими книгами, интонациями и спорами.

А мы с Марианной жили тропами. Поэтому наше согласие было рифмами, а споры лишь переборами ритма. Это была радостная жизнь заряжающихся аккумуляторов.

Мы много впитывали в себя и почти ничего не тратили. Это нарушало правильный обмен веществ. Мы отлично видели, что вокруг, но брать предпочитали только из собственной печени. Брала мы, как голуби. И ни для кого не добывали огня.

Об отличности наших темпераментов мы уже хорошо знали, но полагали, что эта отличность именно и есть разность потенциалов. Кроме нас знала это Евгения Иоаникиевна. Откуда и как она это узнала, мне неизвестно. Я не думаю, чтобы она сама об этом догадалась. Наверное, это сказала сама Марианна.

Как трудно Марианне быть ожесточенной. Хорошо, что пока ей это не нужно. Но она не понимает, какая нужда в ожесточенности мне. И то, что литература — это моя профессия, не казалось ей достаточно убедительным доводом.

Нашему счастью мы уже нашли место.

Дома мы его все-таки не оставляли, а предпочитали носить с собой. Но оно становилось все больше и тяжелее и все более и более походило на изображение многорукого Будды. В руки и губы оно уже не укладывалось.

Тучи прилипали к крышам, и тонкие июньские дожди отмачивали их, как вату. В воздухе плавала обидная ухмылка, совершенно нерусская, ибо в ней был сарказм и сознание нашей беспомощности. Погода была похожа на нарыв: он неминуемо должен был скоро лопнуть. Это было ясно, ибо не мог долго держаться нарыв, так сильно набухший желтым густым теплом.

Пригороды неслись в Москву желто-зеленым всхлипывающим щебетом. Их сдержанный и сильный шепот прижимался ветром к поездам, и в Москве он отклеивался от серо-голубых стенок и стекол и листовками падал на горячие трамваи, на еще твердый и сухой асфальт, на перила и на изящные, всегда повые киоски.

Наши обязательные ежегодные отъезды из Москвы происходили всегда неожиданно и неприготовленно. У нас не хотят и не умеют запасаться. Впрок мы покупаем только книги. А все остальное — ненадолго. И поэтому легко и радостно меняем вещи и не очень привыкаем к ним.

О том, что по странной фантазии Марианна едет в подмосковную деревню, куда мои родители ни за что не поехали бы и сам я мог сделать это только ради нее, я знал еще с конца зимы. Марианна тоже ненавидела эту деревню, и мы старались об этом не думать и не говорить.

Довольно часто с треском лопались небольшие хрупкие коробки и из них выпадал зернистый, сухой дождь. Но через полчаса на земле его уже трудно было найти, и только изредка встречались небольшие, слегка сплюснутые капли. Потом и они пропадали.

В зоологическом парке открывали летние вольеры. Театры уходили на юг.

На солнце испарялись дома и панели и затекали в еще не успевший загустеть воздух.

В музее было прохладно и тихо, как в слегка потрескивающий полдень, когда очень высоко пролетает аэроплан.

Картины, как всегда летом, слегка потемнели, и опять мы смотрели их заново. Особенно заметно меняются летом Марке и Матиссовы рыбы.

В Гогеновском зале крался вдоль стен, сползая по изогнутым рамам и смешивая свои пальцы с охрой полотен, растворяясь в сотворенном рисунке своего жеста, сглаживая тепло-желтые вздрагивающие пятна масляных солнечных бликов, крался вдоль стен и вился по рамам высокий, худощавый, начавший сесть, зеленоватый человек.

Он слегка пошатывался рядом с девушкой под деревом манго. Их светло-коричневые лбы смешивались. Пальцы усложняли крупную резьбу темной рамы, сливая ее с полотном.

Он испуганно вздрагивал, широко заводил руку и мелко дробил какое-то длинное слово, полное губных и сонорных звуков.

Вдруг вздрогнув, он вырвался из рамы и, сорвав шип на рифме, пожевывая сиреневые губы и скосив фиолетовый глаз, бросился в дверь, отрывая подошвы чуть скартавивших длинных узких ботинок.

Мы были разбиты, разом прочтя «Сестру мою — жизнь».

Мы вышли на улицу.

Был дождь, похожий на этого светло-зеленого человека. Стихи были о них обоих.

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель,
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы,
Как рухнет в воду, да как треснется
Усталое: «Итак, до завтра!»

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как ramoшник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

С теплом в Москве грохот и шум распускаются и цветут, цепляясь за шероховатости карнизов окон и бульварных решеток.

Первым созревает горохообразное дребезжание трамвасв. Потом появляются тяжелые, как фрукты, темного влажные голоса автомобилей. Потом шарканье прохожих. Птиц нет вовсе. Дожди в Москве бесшумны. Они висят в воздухе. Падать им некуда.

Мы опять собирались на юг. Там легче оторваться от однообразной зимней усталости и нужно заново привыкать к воздуху, людям, домам и деревьям. Неожиданность успокаивает, как редкие выпадения из строгого и утомительного ритма.

Марианна уезжала в деревню.

С утра хлопотали с вещами, которых, конечно, оказалось непомерно много, и с книгами, которые тоже всегда неожиданно становятся тяжелыми. Все это нужно было приводить в порядок, складывать, увязывать и отправлять на вокзал. У Марианны болела голова. Мне была тягостна собственная беспомощность, и я дурно чувствовал себя среди этих беспорядочно валяющихся по столам, креслам, стульям и просто на полу вещей. Я натыкался на них и всем надоел.

Евгения Иоаникиевна на меня дулась, уверенная в том, что я уговаривал Марианну не ездить в деревню. Ничего подобного я не делал. Я только прочел Марианне «Когда волнуется желтеющая нива...». И купил ей удочку.

Дождь штопал окна. Потом началась гроза. Поле стало серым и маленьким. Ветер охалками бросал дождь из стороны в сторону. Лес рванулся в поле. На мгновение он замер, не понимая своей неподвижности, потом вспомнил, вздохнул и переминался с

ноги на ногу. Гроза шла за рекой и вместе с нею. Обе были торопливы, и река часто кашляла. Было много молний. Они скрещивались, и это очень походило на рисунок, предупреждающий об очень высоком напряжении.

Я сказал Марианне об этом и еще о том, что все-таки грома мы боимся больше, чем молнии.

Марианна утвердительно кивнула головой, но я знал, что сейчас ей это неинтересно. Она глядела в окно на автомобили, которые как-то удивительно лавировали среди ниточек дождя, умудряясь оставаться сухими.

Уехали они в дождь.

Гроза прошла, и дождь повис над узким перроном, как скошенный гребень.

Поезд был уставшим и потным. Был июнь. Было тепло. И в вечере висел дождь, натянутый между фонарными столбами.

АНЕКДОТ XII

Письмо с эпиграфом. Раскаленный воздух по вечерам над ресторанами. Болезнь. Проект письма. Огуннагцатая заповедь Евгении Иоаникиевны. О любви, простуженной на холоде. О дочери и о неуловимом. О вновь завывших химерах Собора Богоматери.

В Руане светало. Ветер смахнул дождь. Хлопьями падал туман. Совсем рядом плавало сочное море. Потом вспыхнуло гладкое солнце. И растаяло на голых головах булыжников.

Это был предутренний час, когда великий писатель кончил последнюю фразу «Сентиментального воспитания» и, откинувшись на спинку кресла, тихо, как цитату из своего романа, сказал:

— Всегда пишешь не те книги, какие хочешь.

Даже не читаешь, какие хочешь. Все делаешь не так, как хочешь. Флобер хотел быть просто эстетом, но в 30—40-х годах нынешнего века он оказался разрушителем и реалистом, а его друга Д'Орвильи начинают забывать. Вероятно, Марианна тоже стала бы разрушительницей, но я был слишком нетерпелив и злоупотреблял радостью Пигмалиона.

Метаморфозы

Эта часть романа начинается именно так: Это было в тягостные июньские дни девятьсот сорок первого лета, в пору превращения дождей из белых туманов и опрометчивых колебаний термометра; в пору, когда Симонов, Алигер и Долматовский становились такими же древнерусскими безнадежностями, как праздная попытка переписать заново стихи поэтов допушкинской эпохи; в то тягостное время, когда уставшие школьницы и студенты сда-

ют последние экзамены, уже утратив сладость предвкушения грядущего бездельного лета, в пору тягостной диктатуры пролетариата...

Ночью я писал Марианне. Это было новое, до этих пор почти незнакомое ощущение. Потому что это письмо было одним из очень немногих писем, которые я когда-либо писал Марианне. До этого мне некуда было писать. Я задумал целую серию. На конверте я нарисовал маленькую единицу.

Мне было очень тяжело. Я впервые расставался с Марианной. Еще недавно я не знал ее вовсе. Теперь Марианна уехала. По-моему, это преждевременно. Кроме того, сама, добровольно уехала. Как будто даже отдыхать.

Письмо получалось громоздкое и сложное, как пьеса к концу четвертого акта.

Эпиграф был такой:

...Взгляни на меня
Я твое несчастье.
Я обрекаю тебя на муку
неслыханной соловьиной страсти...

Эпиграфа я испугался. Но оставил. Письма не выходило. Тогда я подумал и решил переделать его в пародию на европейскую литературу, и главным образом на шлегелевскую «Люцинду», плохо понимая, зачем мне это нужно.

Шел дождь. Наверное бы пошел снег, если бы это не был конец июня. Было холодно. Было темно. И был ветер. Я надвинул шляпу на лоб. По блестящей полированной поверхности макинтоша текли лужи. В них отражались автомобильные фары. Плащ был кинематографичен и блестящ, как великосветское общество с шампанским.

Но письма не выходило.

Про кинематографический плащ, похожий на сервировку великосветского ужина, вполне можно было написать в письме.

Но я не писал.

Я вернулся домой и долго курил. Потом читал Селина. Потом лег. Были сны. Потом я заснул. Сны были многоверстные, громоздкие, огромные и похожие на шкаф, который выносят из пустой квартиры. Толкаясь, они толпились под одеялом и мешали спать, чужие, как прохожие, похожие друг на друга. В одном был какой-то сложный сюжет. Какой, я забыл. Потом снились рифмы. Забыл — какие.

Утро было удивительно похожее на вечер. На тот, который я видел накануне. Серый узкий дождь сушился, свешиваясь между фонарными столбами, и за ним был покрасневший, набухший фонарь. Если бы я сам не видел ночи, можно было бы подумать, что ее вовсе не было. Но это неправда. Она была. Я не мог написать письма. Это совершенно ясно. Это оно лежит, со вставками

и вычеркнутыми строками, поломанное и скомканное, как сияющий плащ, или как остатки великосветского ужина.

Тверская растворялась в тумане, как мазок акварелью по влажной бумаге. В конце улицы, прямо на дороге, все время пересекаемой автомобилями, лежало тихое зеленоватое облако. Автомобили подпрыгивали и зарывались в круглые бугорки тумана. Где-то, кромсая, рванулись и взвизгнули сразу несколько трамваев и молодая женщина. Повесился мужчина в возрасте 27 лет.

Толстая, черная машина вдруг кругло затормозила и упруго припала к асфальту.

Репродукторы расстреливали автомобили.

Гравий из репродукторов легко пробивал воздух и забивался в рот и за ворот.

Автомобили неожиданно круто тормозили и удивленно приседали на задние колеса.

Глубокие горсти репродукторов слегка пошатывало. Слова и еще не отлетевшее от них дыхание просыпались во все стороны. Они сыпались на крыши и на тротуар. Некоторые закатывались под ноги, под дома и автомобили и — пропадали.

Потом вдруг зажегся фонарь. Несколько секунд бессмысленно погорел, потом мигнул и поспешно погас.

Домб покачивало. Сорвалась какая-то рама и билась об стену, звонко вырываясь из рук испуганной девушки.

Тверская громоздилась говором.

Откуда-то появлялись новые люди, и автомобили становились выпуклыми и круглыми, этим выдавая свою довоенную некомпетентность.

Говор большими кульками с крупной крупой переходил из рук в руки. В него заглядывали, переспрашивали, с тем чтобы, тотчас же забывая опять и сбиваясь в тщетных высчитываниях, угадать название, количество или время.

Выпорхнуло, помахивая, похожее на тень уже позабытого, непривычного слова. Оно оказалось солоноватым на вкус и было похоже на шепот. И на летучую мышь.

В квартире уже знали. Мамы не было. Через несколько секунд, задыхаясь, она выпала из двери и у папы в руках разбилась в истерике.

Я подошел к письменному столу и, не думая, не высчитывая и не угадывая, торопливо запечатал обрывки не дописанного ночью письма с нашим довоенным, великосветским ужином.

Марианны не было. Я сильно нервничал, перечитывая надписи на подаренных ею книгах. Сколько хороших, но уже очень давно запрещенных слов. И все трогательные.

Цезарь Георгиевич привез мне письмо.

Я удивленно читал античные, еще довоенные, слова.

«Милый каприза! Если бы я знала, что Вы где-нибудь совсем рядом, то была бы вполне счастлива.

Мы с Никой чудесно ехали в пустом поезде, радовались, как дурочки, каждому деревцу, скакали на «кукушку» и злились на начинающийся дождь.

Деревня наша хорошая.

В комнате у нас висит много очень красивых картин. На них нарисованы лошади и коровы и другие разные люди. Кремль написан в манере Моне. Моне поры Руанских соборов. Всем. Нам. Очень. Скучно.

Вечер мы пели разные песни. В этой деревне chevalier называется странным русским словом «парень». Эти самые «парень» норовят шлепнуть здоровенной ручищей между лопаток какую-нибудь из местных наяд. Восхищенным наядам это тоже страшно нравится. По всей деревне вечером несутся дикие вопли, птичьи перья, лошадиное ржание и бешеные собаки. Аня поет романс: «Уверяю вас, что русской бабе необходим писатель Бабель». Хорошо бы написать лирическую книгу под титлой «Вечерние взвизги».

Я все время, каждую секунду с Вами, самый хороший и любимый из всех каприз! Я Вас в каждой строчке читаю. А мама все время что-нибудь говорит про Вас. А Ника говорит, что у Вас череп убийцы. А я злюсь. Господи. Да, какой же Вы чудный!

А я что придумала!.. Угадайте-ка. Вот. Фамилию придумала. Аксель Бант. Подумайте только! Норвежец. Толстый. Рыжеватый, со светлыми пушистыми бровями и ресницами. Литературовед, конечно. Доктор Аксель Бант. Лекции о древнегерманском эпосе доктора Аксель Банта. Ну, правда ведь хорошо! Похвалите меня. Ну, пожалуйста. Знаете, я тишайшая, я простая. «Подорожник». «Белая стая»...

Вот и все о наших делах, дорогой. Перед Цапочкиным отъездом напишу еще. Все Вас приветствуют. Я очень люблю Вас, очень целую и очень кусаю.

Мар-на на Франкфурте.
Бейте Аню».

На последней странице карандашом было быстро написано: «Дорогой, дорогой мой! Боже, война... А я не с Вами. Вы, наверное, уже никуда не поедете. И я не с Вами! Как Вы? Господи, наверное, Вы заболели... Мы истерически ловим все радиосообщения. Ради бога берегите себя! Целую Вас. Очень, очень крепко. Больно без Вас, родной. Твоя М.».

День вывалился из суток.

Две ночи прижались друг к другу.

Довоенная ночь была розовой и пахла женскими духами.

Первая весенняя почва была Незнакомкой.

Она разрослась, как широкое, полное листьев дерево, и закрыла своим легким и шумным телом наши книги, картины и афиши.

В эту ночь, настоящую, как сгущенная ночь планетария, приехала заплаканная Марианна.

Ночью я заболел.

Жар поднимал меня с подушек. Горячо и сухо прижимался ко мне и вдруг неожиданно наотмашь бил меня по лицу. Я падал с подушек, скатываясь под гору и цепляясь волосами за кустарник. Холодно становилось так сразу, что трудно было сказать даже, холодно ли это.

Врачи настойчиво вычерчивали расширенное предсердие, но я уже хорошо знал, что теперь уже и за сердцем — легкие.

Утро было задумчиво дымчатым и шершавым.

Я долго ловил плавающие рукава халата, встал и с трудом добрался до телефона. Марианны не было. Евгения Иоаникиевна велела лежать. У меня очень высокая температура. Все время не переставая мелко бьется телефон. К телефону прижимаются подушки на щеках. Все стало похожим на бесконечный ряд перфорационных отверстий в киноплёнке. Я старался запомнить каждое из них, но они слишком похожи друг на друга и, не останавливаясь, текут вдоль кадров. Потом Женя. Люся. Лена. Приехали папа и мама. Привезли журналы. Мама уехала. Он остался один, расстроенный. Потом уехал. Надя. Галя и Вера. Потом опять Женя. Марианны — нет. Я встал опять позвонить ей. У нее плохое настроение. Заниматься ей не хочется, но это необходимо — у Марианны сессия. Мне она советует больше лежать. Кроме того, она выписывает мне рецепт: не волноваться и валериановые капли. Вставать мне очень вредно. Потом Марианна прощается. Она говорит, чтобы я непременно выздоравливал. Потом, что-то высчитав, обещает:

— Впрочем, я, наверно, часа в два зайду к вам.

И запечатывает трубкой.

Примечание автора:

Эта книга менее всего мемуары. Читатель должен ни на мгновение не упускать из виду, что это *nature morte*, и не переставая переводить себе для уяснения смысла это слово на русский язык. В этом натюрморте *ничего*, кроме мнений Аркадия и Марианны о ряде книг и картин, музыкальных сочинений и философских сентенций, а также несколько весьма интенсивно окрашенных предметов на среднем плане, нет.

Далее следует одно очень важное сообщение:

МАЛАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕРОЯ И АВТОРА О причинах раздвоения героя

Каждый из нас, дойдя до этой страницы нашей жизни, независимо один от другого, окончательно убедился в том, что ответственность за свои поступки мы должны нести отныне каждый в отдельности.

Это решение явилось в связи с тем обстоятельством, что роман писался весьма длительное время и претерпел несколько радикальных метаморфоз, количество которых приблизительно равно количеству вариантов и редакций романа. За это время, а также за время, прошедшее после окончания книги, в жизни автора и его любимой героини произошел ряд важных происшествий, которые, естественно, оказали серьезное влияние на их мнения касательно целого ряда предметов и событий. Ничего подобного не произошло с героем, вынужденным тотчас же с окончанием книги о нем остановиться в развитии своих мнений и поступков и вынужденным думать и поступать так, как он это делал на протяжении немногих дней, о которых повествуется на этих страницах.

Таким образом, мы, герой этого сочинения и его автор, в этой своей *Малой декларации* заявляем:

отныне, с этой страницы, о некоторых вопросах и действиях мнение автора и его героя утрачивают свою идентичность. В силу этого обстоятельства автор считает своим долгом в отдельных случаях делать некоторые замечания, подобные тем замечаниям, которые читатель уже знает по предшествующему тексту.

Примечание героя:

Книга эта могла бы стать вполне образной, если бы я обманул вас и личные местоимения «Я» склонял в третьем лице. У него с легкостью и удовольствием можно описывать прическу и цвет лица. Описывать свою прическу для себя — то же самое, вероятно, что, шагая по улице, приговаривать: а вот я поднял правую ногу, а теперь опустил правую, потом поднял левую. Для читателей, которые все вместе поместятся на одном средних размеров диване, тоже не стоит описывать хорошо им известную прическу. А эта книга — для них. Кроме того, эта книга для меня самого. Просто нам не нужно описание скромной и незатейливой прически.

Я до тех пор не стану автором этой книги, пока не перестану быть ее героем.

Но самое главное то, что эта книга для самой Марианны.

То, что я говорил Марианне, она не всегда хотела понять, потому что это говорилось специально для нее,

и меня можно было заподозрить в нечестности. То, что написано здесь, — Марианна хорошо знает — написано для меня. И если я себя узнаю здесь не всюду, то это происходит, вероятно, по тем же причинам, по которым мы удивляемся своему голосу, записанному на целлулоидной пластинке: мы забываем об ушах, меняющихся вместе с голосом, который мы слышим всегда на одинаковом расстоянии от ушей. Граммофонная пластинка может вертеться на другом конце квартиры. И еще потому, что на хороших фотографиях мы не очень похожи на себя. Но для этого необходимо научиться фотографироваться.

До четырех Марианны нет. Теперь я уже не болен. Теперь я очень сосредоточен. Больше всего меня занимает, достаточно ли я спокоен и сдержан.

Хорошо, что я нервничал. От этого я меньше кашлял. Эту медицину ненавидела умная и красивая девушка, о которой я некогда растерянно вспомнил, когда мы с Марианной были уже очень далеко от дома и когда вокруг нас был светлый шар с двухметровым диаметром.

А Марианны нет все.

Тогда я читаю «Первый крик».

Я знал, что это уже не ассоциация, а просто цитата.

Марианна не приходит.

Евгения Иоаникиевна не велела Марианне баловать меня. У Евгении Иоаникиевны восемь заповедей. В присутствии Цезаря Георгиевича и моем она поучает Марианну:

— Выйдешь замуж — обеда не готовь. Может обедать в ресторане. Хочет — у любовницы. Шей наряды. Принимай по средам. Детей не имей. Чужих не люби. Мужа не ругай. Ничего не спрашивай. Помни мать.

Евгении Иоаникиевне очень хочется сказать еще:

— Мужа не люби.

Но тогда это будет какой-то одиннадцатой заповедью, и она не решается.

Марианна слушается ее. Марианна хорошая и послушная дочь. Наверное, она будет хорошей женой. До тех пор, когда жена должна стать хорошим другом. Но друг Марианна ненадежный. У нее нет партийности. Она любит слишком всех. Это значит, что изменит она всем сразу. Кроме того, она не сможет долго идти со мной одной дорогой. Для друга она не годится. Я должен всегда любить ее. Но Марианна не может быть второй. Не может она быть и первой.

Нет, не приходит.

До матери мне нет никакого дела. Но Марианна. Слушаться кого-нибудь она должна обязательно. Иначе — она не может

жить. Я не хочу, чтобы она слушалась меня, как мать. Она не может быть первой. Я не могу — чтобы Марианна была равной. Тогда ей придется стать сразу третьей. Марианну это оскорбит, как насилие. Больше всего ее устроило, если бы не было этого почти публичного распределения ролей. С этим нельзя примириться. В это надо поверить. И привыкнуть надо к этому. Сможет ли Марианна? Смогу ли я оскорбить эту необыкновенную девушку, которую я так люблю?

Все нет Марианны.

Читаю «Четвертый крик».

Все нет.

Очень сильный жар. Опять начинаю задыхаться. Быстро, но очень тщательно одеваюсь. Главное — безупречный воротничок. И я внимателен и терпелив.

На улице комья туч. Среди них копошится и капает дождь.

Войне уже два дня. Стены в приказах и репродукторах.

Марианна сильно пугается. Впрочем, она недовольна:

— В такое время. Как вы можете. Ведь я сказала, что сама буду у вас!

Я прошу прощенья.

Но Марианна доказывает:

— Ведь война, понимаете. Ну, понимаете ли вы, что война! Боже мой. Вы больны ведь. Как вам не стыдно!

Евгения Иоаникиевна резко выговаривает мне:

— Почему вы совершенно не жалеете Марианну?

Я чувствую себя глубоко виноватым и тихо целую руку невесты. Я негромко говорю ей. Я только ей говорю:

— Как хороши вы сегодня. Ваша мама сердита на меня. Это потому, что она старше нас и хочет внести в вас поправки, которые не внесли в ее собственную жизнь. Но вы не похожи а мать. Вас нельзя так же править. Мама пишет к вам какой-то непохожий комментарий. Вам можно только фотографироваться, Марианна.

Потом я тихо еще говорю. Тоже только ей:

— Писать обо всем можно, Марианна, но обязательно интересно. То, что форма действительно глубоко функциональна, мой друг, это правда. Но главное не в этом. Главное то, что форма неизмеримо действительнее содержания. Поэтому в хороших рифмах можно даже написать мираклё о наволочках. Но в плохих рифмах мне неинтересно читать ни о наволочках, ни о четвертом измерении, ни о Великой революции.

Я говорил тихо и смотрел ей в ресницы. Но я уже знал, что Марианне это неинтересно. Она посмотрела в дождь и сказала:

— Вон, Ника бежит досдавать сессию. Экзамен довоенный. Немецкие романтики еще не предшественники наци. Теперь уже нельзя так. Это все политика партии в области художественной литературы. Как это у них сказано, так, кажется, — нашим

бедным писателям мы позволяем писать в любой манере, но хорошо бы, конечно, соц. реализм имени пролетарского писателя Горького.

Марианна тихо сказала:

— Послезавтра я сдаю фонетику. Какие у вас горячие руки. Вы совсем больны. Опять дождь.

Я ушел.

А ее все не было.

Был ветер. Вечер был в военном. Приказы за это время сильно потрепались и вымокли. Они продрогли и были мало похожи на приказы. Похожи они были на человека, обиженного другим человеком, которого он очень любит и который его тоже очень любил.

АНЕКДОТ XIII

Анекдот начинается с прозы, близкой к эпической манере chansons de geste: лирические стихи о разнице вкусов. Писатель-эмигрант, у которого нет хороших положительных героев. О войне как гигиене мира и о генезисе геддизма. Опыт анализа у кубистов. Несданный экзамен по марксизму-ленинизму.

Как называется эта часть Анектога, автор не скажет, потому что это слово еще не поняли его герои. Единственно, что он может сделать для читателей, с которыми он в заговоре против Аркадия, это сообщить, что именно этим словом называется небольшой цикл «Темах и вариациях». О девяносто шести фотографических изображениях Марианны. Аркадий и Марианна начинают догадываться о названии вышеупомянутого цикла Пастернака.

Больше всего было ветра.

И мы этот ветер и эти густые резиновые сумерки ценили всего более.

Ценили из простой, но очень сильной боязни за них.

И тогда нам,
думающим о России
и об изящной словесности
иначе,
чем всем нам
категорически
предложено думать,
справедливо казалось, что теперь
это крамола —
удар в спину.

Тогда нельзя было думать с черного хода.
Длинный ветер из последних усилий опять превращали
во флаги.

Появились простые классические вещи:

Хлеб,

воздух

и сон.

Казалось, до холода рукой подать.

Ночью сильно нервничали провода.

Рассыпался, еще незамерзший, дождь.

Газеты стали милыми и сердечными.

Это было очень трогательно.

И вот именно тогда предчувствие эпической величавости
событий отливало в бронзовую

монументальность

классических памятников.

Но в минуты, ставшие на несколько секунд короче, для па-
мятников не хватило времени.

И был ветер. И дождь. Были сосны и сумерки. И тучи.

Марианна довольно быстро отобилизовалась. Я с беспокой-
ством чувствовал, что продолжаю оставаться довоенным элли-
ном. Не могу я быть иным. Я всегда буду довоенным. Не хочу я
иным быть в тягостную пору пролетарской диктатуры. Эмигрант я.

Мы тайно живем в России.

С какими-то заграничными паспортами, выданными
«Обществом Друзей Советского Союза».

Нельзя так любить Россию! Потому, что так ее любят интуристы.

Профессор А. писал в длинном письме, повествуя о своей
метаморфозе:

«Только теперь я понял Руссо. С какой легкостью и радостью
сменил я перо ученого на заступ сапера. И как я рад этому. Исти-
на не в книгах, а в непосредственном служении Человеку».

А мне это было смешно и противно. Так же, как и до войны,
смешно и противно.

Разъяренной Евгении Иоаникиевне я неосторожно сказал:

— Спросите у любого из нынешних неопитов, зачем ему вся
эта болтовня, он скажет вам, что ему это не нужно. Но вот дру-
гим... Но ведь так же говорят все они. Никогда ничего не делайте
для других. Все делайте только для себя. Но так, чтобы другим
при этом было хорошо и легко.

Все вокруг хваталась за все, делали какие-то бессмысленные

вещи, ничего не умея делать, стесняясь отказаться от этой неспушной деятельности и не решаясь делать что-нибудь серьезное.

Я прекрасно знаю, что, когда появляются глаголы, то ничего хорошего не стоит ждать. Глаголы я не люблю. Еще со школьной скамьи не люблю. У меня есть такая ассоциация.

Вечером я принес Марианне цветы. Цветы еще были синие, но листва была уже защитного цвета. Не знаю хорошенько, какие это были цветы. Но то, что это не были померанцевые, было ясно. Не были это и фиалки.

Марианна поцеловала меня и сказала:

— У вас привычки сноба. Довоенный вы человек.

Мне было очень тяжело, и я с горечью прочел ей лирические стихи о разнице вкусов: «Лошадь сказала, взглянув на верблюда: «Какая гигантская лошадь-ублюдок». Верблюд же вскричал: «Да лошадь разве ты?! Ты просто-напросто — верблюд недоразвитый!» И знал лишь бог седобородый, что это животные разной породы».

Марианна пожала плечами.

Меня поражало то, что ее, человека никогда не отдающего ничему целиком, война захватила всю и совершенно. Ей было некогда. И она хотела быстро привыкнуть к новым вещам, откладывая на неопределенное время привычные и дорогие книги.

Поэтому искусство она оставила под дождем на улице.

Теперь ее ничего из старого не интересовало. Она перестала ходить смотреть Марке и Пикассо.

А я довоенно любил воротнички с длинными кончиками и не выносил сапог и гимнастеров. Своими туалетами Марианна уже перестала интересоваться.

Какое странное кокетство у Марианны. Она придумала себе несколько интонаций и жестов и всем этим пользовалась перед зеркалом, когда оставалась одна. Оно не было для других. Для меня оно тоже не было. Нравиться мне уже было не нужно. Труднее всех было Евгении Иоаникиевне, потому что именно в это тяжелое время Евгения Иоаникиевна полюбила все только хорошее. Плохого теперь она не любила. А так как она была уверена в том, что больше ничего не бывает, то исключалось и непонятное, безжалостно посрамленное вкуче с плохим. Эта умная и сильная женщина, охваченная общим психозом, тоже не доверяла смущенным милиционерам, боялась диверсантов и прислушивалась к уличным разговорам. Это была аберрация. И она видела одним глазом. Слышала одним ухом. Осязала одним пальцем.

Я боюсь людей о двух измерениях. Это — плоские люди.

Я становился раздражительным и резким. Евгения Иоаникиевна справедливо упрекала меня в желчности и замечала, что, к сожалению, это способствует только остроумию.

Я постоянно сбивался на середине строки, ворошил рукописи, не дочитывал книги и не доезжал до нужных остановок.

Стихов Марианне не читал. Просто боялся. Она говорила:
— У вас нет положительных героев. Вы заговорщик.

Когда я только попробовал заговорить о социалистическом реализме, Марианна вспыхнула:

— Там люди умирают! А вы... Стыдно вам!

Вещи окрашивались в защитный цвет. Те, которые не окрашивались, были яркими, желтыми пятнами на черном. Я осторожно напомнил Марианне о световых нюансах и рефлексах света. Ее это не интересовало. Я пожал плечами и сказал о двумерных людях. Она меня неверно поняла. И обиделась. Я стал резким. Она испуганно перестала возражать. Я сказал что-то очень грубое. Марианна заплакала. У меня задрожали колени, задышавшись, хватая охапками воздух и хлопая рукавами по ветру, я нагнулся над ее пальцами.

— Ну, зачем, зачем мы так мучаем друг друга? — спрашивала Марианна. И отвечала, стараясь убедить меня: — Война.

Я не понимал, зачем было вмешивать войну в нашу жизнь. Нам и без того было очень тяжело. Но Марианна уверена, что тяжело нам *не и без этого*, а именно *из-за этого*. Но она ошибается, Марианна. Она ни в коем случае не должна убедить меня в этом, ссылаясь на нервы, вконец испорченные за последние дни.

— Милая моя и дорогая! Не надо лечиться сейчас. Сейчас не время для впрыскивания вакцин. С этим всегда сопряжен известный риск. Уж если все так плохо на свете, то следовало бы вовремя подумать о предохранительных прививках. Мы не подумали, и это очень легкомысленно с нашей стороны.

Но испытание ссорой было необходимо. Мы навсегда остались бы верны друг другу после этого мучительного катарсиса.

Марианна холодно сказала мне:

— Теперь я все более и более убеждаюсь, что нравственный критерий качества истинней эстетического. О, я очень хорошо поняла, что примерки на хороший вкус это эстетство.

Эстетом я не был. Но я никогда не искал для себя истины. Я очень хорошо знаю, что истина и мораль пужны тем людям, которым некогда думать в каждом отдельном случае над своими поступками. Когда возникает в этом необходимость, они примеряют потребность к заготовленному на зиму мировоззрению и отрезают сколько им нужно. У меня слишком много времени на размышления. Если мне не хватит, я всегда могу занять время у глаголов. Жечь сердца ими мне не приходилось, поэтому я стараюсь думать особо для каждого случая и верю хотя бы в хороший вкус, чтобы только не стать похожим на этих странных людей, вылущивающих удобные зерна из всякой философии и делающих из этих зерен самые неожиданные вещи, вроде судебных процессов над людьми, полагающими, что Марбургская школа

лучше Гейдельбергской, или успешно проводящих партийную политику в изящных искусствах.

Марианна стыдила меня:

— Спросите у Нади, кто вы. Конечно, эстет! Я вчера нашла в ваших рукописях строку пентаметра.

Я отказываюсь от строки пентаметра. Потом выясняется, что это цитата из статьи о Симонове.

Марианна действительно хорошо знала, что пентаметров я не пишу. Знала она и то, что я не эстет. Когда ей становилось тяжело или когда она боялась за меня, она говорила:

— Заговорщик.

Но испытание было необходимо. Необходимо было дознаться, чего не простят мне. Я должен был знать, за что меня любят. Все должно было быть написано, как у кубиста. Вещи обретали вес, глубину и фактуру. Жизнь, выпуклая, лежала на столе, как яблоки у Сезанна!

Вдруг резкий ветер сразу сломал хрупкие сумерки. Стемнело. Звезды проткнули небо. Запахло теплым трубочным табаком. Мы вышли на набережную. Как красиво, Марианна. Но как это не похоже на Ренуара и уже на Ван Донгена не похоже. Потому что появилось что-то от розовых с желтым старых великолепных фламандцев.

Марианна говорит очень медленно и негромко. Она прижимается к моему плечу и крепко сжимает мою руку. От нее веет влажным запахом духов. Она только что после ванны. Кажется, что Марианна стала несколько больше.

Вода отражает спрятанные огни. Где-нибудь они все-таки должны быть. В таком большом городе. Какая теплая Марианна. Она может простудиться. Марианна уже чувствует необходимость осложнений в наших отношениях, но она уже глубоко убеждена в том, что это моя выдумка, которой она должна противопоставить свое спокойствие и уравновешенность.

Марианна находит, что Багрицкий вовсе не такой провинциальный поэт, как я полагаю. Да ведь это же не важно, потому что ни Марианна, ни я Багрицкого не любим и в нашей жизни он не играет никакой роли. Но Марианна дает мне понять, что конструктивистам должно было быть очень лестным его вступление в ЛЦК. Сразу же напрашивается сравнение с Сельвинским. Марианна еще не хочет делать этого сравнения, потому что она отчетливо видит преимущество Сельвинского, но через несколько секунд она уже читает строфу из «Улялаевщины». Сравнение сделано. Теперь Марианна ничего доказывать не будет и невнимательно будет слушать мои доказательства.

Теперь нужно, чтобы Марианна забыла об этом разговоре, и тогда можно будет начинать сначала. Ее нельзя настойчиво убеждать. И торопить нельзя ее. Но этого разговора Марианна не забудет.

Поздно. У Марианны стынут пальцы. Пахнет дымом от трубки и мокрым берегом. Поднимается слабый ветер. Если долго не моргать, то выступают слезы. Я провожаю Марианну. К ней я не пойду сегодня. Уже поздно, и я устал. Марианна целует меня и кладет эполетом свою золотистую кисть на мое плечо. Потом я вижу отблески каблуков и слышу вздох тяжелой, обитой войлоком двери, которую вынимает Марианна из своей светлой зеленоватой квартиры.

Примечание автора:

Марианна все это время сильно расстроена и раздражена. Она считает, что необходимо делать, наконец, что-нибудь полезное. Делать, разумеется, нечего. Аркадий пытается организовать бригаду поэтов, художников и артистов для поездки в армейские части. Никаких поездок Фадеев, конечно, не разрешает. Марианна уверена в том, что отказано потому, что Аркадий не был достаточно настойчив, и ни за что не хочет понять нелепость этой выдумки и совершенно естественную неудачу, которую она терпит. В это же время у Аркадия осложняются отношения с родителями, очень болезненно переживающими его категорический отказ уехать из Москвы, как это необходимо было по службе его отцу. Марианна серьезно настаивает на этом отъезде. Аркадия возмущает ее непонятное упрямство.

Куски солнца жирно таяли на тротуарах, затекали под дома и с легким шипением испарялись, оставляя высушенные мысы на асфальте.

Ссоры падали без подготовки, как тропические сумерки.

Ссорились мы каждый для себя, а не друг для друга, потому что теперь нам было почти безразлично, удастся ли убедить противника в своей правоте, ибо почти безразлично было, воспользуется ли противник качествами обретенного опыта. Это были злые ссоры от раздражения и потребности превосходства. Мы не обязательно были раздражены друг другом. Раздражение иногда было против других и вызвано было другими, но здесь было опаснее, легче и страшнее.

Большой желтый солнечный кот лежал на подоконнике под горячими стеклами и изредка шевелил тюлевыя гардины. Он густо мурлыкал и выгибал спину. Это тоже раздражало. Оно казалось сытым и довольным. Его слегка тошнило. Хотелось хорошего рабочего дождя, в который ходят с непокрытой головой, смешивая волосы с водой и ветром.

Хотелось, чтобы Марианна не говорила дерзостей моим друзьям, которых она почти не знала и которые не любили ее.

Солнце засыпало, укрывшись тучей. Улица сразу стала похо-

жей на любительскую фотографию — серую и неретушированную.

Я дурно себя чувствовал. У меня опять была температура. И с утра лихорадило. Марианна была измучена жарой и долгими поисками каких-то ненужных вещей. Я вздыхал и бубнил: «И знал лишь бог седобородый, что это животные разной породы».

Марианна вспыхнула и вспылила:

— Перестаньте болтать вздор! Чего вы хотите от меня?

Я почувствовал, как сорвалось и забилося веко и как ногти рванулись в ладонь. В глазах поплыли зеленые троллейбусы. Они выгибали упитанные спины и неожиданно начинали кружиться. Медленно вращаясь, туго завинчивалась мысль о том, что если бы все это произошло дома, то я ударил бы кулаком об стол и все безделушки, стоящие на нем, непременно бы зазвенели, смешивая крошки своего дребезжания с круглым звоном бронзовой вазы. Маленький бисквитный Шиллер, кудрявый и чуть-чуть нахмуренный, упал бы навзничь, смешно взмахнув скульптурно отрезанными руками. Я никогда не бил кулаком по столу, но теперь я отчетливо представил, как испуганно упадет ничком кудрявый фарфоровый Шиллер и звякнут тяжелые чернильницы. Письменного стола не было. Была открытая дверь какого-то подъезда. Я с силой ударил ее, и она с грохотом открылась. Потом отскочила и открылась опять. Я вернулся и еще раз ударил.

Но я все еще задыхался:

— Вы опять не верите мне? — тихо и тяжело шагнул я к ней. — Почему вы не верите? Почему вы боитесь согласиться со мной? Вы сторожите свое право думать самостоятельно. А когда наши мнения случайно совпадают, то вы делаете вид, что вовсе так и не думаете. Да ведь никто на него не посягает! Почему вы даже не даете себе труда понять, чего я хочу от вас. Почему вам так хочется быть несчастной? Зачем вам спорить со мной о литературных преимуществах? Вы понятия не имеете о том, чего вы хотите! Вы даже не можете сделать мне серьезную неприятность. Вы хотите, чтобы я сам ее сделал. Господи! Как это мелко! Марианна! Как это мелко. Знаете — это бездарно.

Я понял сказанное и ужаснулся. Я испугался этих слов, как затаенного признания, слишком похожего на правду.

Передо мной была гладкая желтая стена. Слова отскакивали от нее и рикошетом попадали опять в меня. И я повторял их. Где была Марианна, я не знал. Но она была где-то рядом. Сбоку или за спиной. Наверное, она с ужасом глядела на меня и дрожала. Вдруг я услышал ее голос, влажный и прерывающийся:

— У Андре Жида ... он говорил: «Больше всего нас мучает непонимание близких. Мы больше всего страдаем из-за этого. И нам из-за этого очень больно».

Я повторил рикошетом ударившиеся в меня слова:

— О, как вы правы! Больше всего нас мучает непонимание

близких. Это вы измучили меня! Как вы сделали так много за эти несколько дней? Я больше не могу! Я болен. Я не могу больше! Убирайтесь прочь!

Я бросился в сторону. Улица взбежала вверх. Дома ложились под ноги. Я бежал по окнам, и оконные рамы хлопали меня по ногам.

Я выбился из сил и пошел шагом. Улица отряхнулась и, отдышавшись, выпрямилась, став вполне приличной. Журчали трамваи. Из репродукторов падали мелкие гроздья «Соловья». Все становилось вполне буколическим, и хотелось вместо новенького плаката, призывающего к истреблению немцев, повесить голубое шелковое полотнище со стихом Феокрита:

Стадо овец с тех пор возвращалось домой без призора.

Когда я начал развешивать это великолепное полотнище, показалась Марианна. Она торопливо подошла ко мне, опустив голову и закрывая шею, на которой блесло ожерелье еще не высохших слез, и попросила тихо:

— Подарите мне вашу фотографию. У меня нет. Пожалуйста.

Наверное, мне показалось это слишком сентиментальным. Но я вспомнил, что у меня девяносто шесть ее фотографических изображений и сколько радостных воспоминаний связано у меня с каждым из них. И всюду разная. Потом совсем белая на теннисном корте — невеста. Этого нельзя было делать. Испытание еще не кончено. Но я не выдержал и тихо сказал:

— Я дам вам. Зайдите ко мне.

Домá больше не ложились под ноги. Я все глубже входил в улицу. Перекрестки похожи на киносъемку. Я старался вспомнить лучшие из запрещенных слов, которые она писала мне и говорила. Ничего не мог вспомнить. Потом вспомнил:

«Милый каприза!»

Наверное, это упрек. Но какой милый! Боже мой, какой милый!

Дома я свалился на диван и закрыл глаза. С утра, кувыркаясь, плавала и за все задевала горькая фраза Ильфа: «Как легко написать: «В его комнату не проникал луч света». Ни у кого не украдено и — не свое».

Общее, конечно, общее. Так пишут наши поэты. Я не знаю, чья это рифма «уже — душе». Тоже, наверное, общая. Но мы живем этим, этими общими словами. Все общее. У нас ничего своего нет. И я самым общим и пошлым образом смертельно оскорбил самого дорогого человека, без которого я задохнусь через несколько же дней.

Вошла Марианна. Она была строгой и сдержанной. Мне хотелось, чтобы она была расстроеной. Нет, она только спокойна и сдержанна.

Я спросил:
— Что вам?

Она молчала.

Я взял шкатулку с письмами и фотографиями. Она попросила:

— Отдайте мне их. Все.

Я был поражен. Я отобрал все ее фотографии и протянул ей.

— Теперь, я полагаю, моя фотография уже не нужна вам.

Она не просила. Ну, стало быть, не нужна. Потом опустила голову. Потом — вышла.

Угол буфета с размаху разбил мне бровь. Я пошатнулся и присел. Я видел стол, по которому надо было ударить кулаком. Шиллер был фарфоровым и кудрявым.

Испытание подходило к концу. Ночью война была более явной. Она выдавливала из улиц свет и прижимала его к внутренней стороне окон. И все нервничали, боясь, как бы кусочки света не выпали из щелей ставень и штор и не рассыпались на тротуарах, смешные, разбегающиеся и светло-греческие.

АНЕКДОТ XIV И ПОСЛЕДНИЙ

О жизни методами commedia dell'arte. Социология читательского вкуса и критика Аристотелева канона. Нравоучительная легенда о ста спасенных девственницах. Баллада о девяносто шести фотографических изображениях Марианны.

О смысле христианской трагедии, заключающейся в том, что адские тернии находятся в замкнутой сфере догадок и предположений, ибо никому еще не ведомы апостериорные пути к ним. После Средних веков и Данта, пытавшегося заглянуть в эту сферу, стало еще хуже, потому что стало страшнее.

О том, как с героем этой книги случилось несколько иначе — он не пошел гипотетическим путем. По обочинам той дорожки, по которой шел герой, стояли указатели, которые привели его прямо в девятый круг. Вероятно, на своем пути Аркадий попирает добрые намерения все простить Марианне, примириться с врагами Маяковского и проникнуться вполне комсомольской, небом разрешенной, любовью к людям, убежденным в том, что главная истина содержится именно в оглавлении газетного номера. Но этими добрыми намерениями не случайно оказалась устлана именно адская дорожка, по которой пошел герой этого сочинения.

Если классическую трагедию смотреть, как перевернутую фильму, прежде всего узнавая о смерти героя, то в комедию она превратится не потому, что раньше мы увидим могилу, а потом кишкал, которым закалываются герои. Просто у такой преобра-

женной драмы будет радостный конец. Как известно, именно по такому принципу построена Дантова поэма.

Нашу пьесу надо было тоже глядеть с конца. Тогда в финале перевернутого изображения мы должны были с нежностью поцеловать друг друга. Но мы были не зрителями этой пьесы. И даже не были ее авторами. Мы были только героями. К тому же это была классическая драма, краткий, но категорический сценарий которой был уже написан Евгенией Иоаникиевной и предложен нам с Марианной.

Дома было темно и холодно. Еще не знали. На столе еще был Блок. На нем письма. На них — Достоевский.

Почему все эти люди так легко согласились с тем, что они все должны быть простыми, хорошими и ни в коем случае не отличающимися друг от друга даже несомненными достоинствами?

Зачем они тратят столько времени и сил на праздное убеждение других людей в истинности или необходимости вещей, о которых эти убеждаемые люди знают все, что знают их агитаторы, и с которыми они вообще отнюдь не собираются спорить?

Почему все они ни о чем не хотят думать и рассуждать тотчас же, как только обнаруживается сомнительное наличие похожего на ответ отрывка из канонического текста?

Как могут все эти люди, занимающиеся самыми разнообразными делами, не дорожить своими занятиями и быть готовыми по первому знаку внести свой труд малой толикой, превратив его в любую из предложенных форм, в сумму общечеловеческого благополучия?

Зачем они свели историческую роль подавляющего большинства великих ученых и артистов к незначительным прецедентам в истории, превращая их в заблуждавшихся и недалеких людей и канонизируя некоторых из них, сведенных до унижительного положения *предшественников*?

Как легко разоблачить их, но как тягостно оставаться потом, расстроенным и разбитым, наедине с черепками недавнего спора, и постоянно убеждаться в том, что, опровергая их, неизбежно приходишь до отрицания ставшей отвратительной и липкой от их проповеди и низведенной до роли плотного обеда в жизни удивительной фантазии поэтов об общечеловеческом счастье.

С ними нельзя спорить о методах. Они ссылаются на историю. И с этим необходимо согласиться. Все-таки они правы, когда, не считаясь ни с чем, приносят в жертву тысячи думавших иначе людей. Но как не правы они, и сколько рокового в этом заблуждении, полагая в человеке коллективное начало. Человек всегда только один. Его близкие — это только плохо осведомленные горячие советчики.

Убежденность в истинной правде нужна не как совесть, а как физиологическая необходимость, подобная дыханию.

Многие из нас тоже в основание своей программы положили

бы общечеловеческое счастье, но тогда нельзя думать вкривь и вкось и нельзя верить в заведомую неправду. А мы не можем иначе.

Природные законы — это неизбежности. Наука их только обходит и обманывает. Законы человеческих отношений невозможно обойти. По крайней мере, мы с Марианной не могли. Обманывать мы тоже не могли. Необходима была опытная проверка. Выжили бы мы друг без друга? Должен ли я был застрелиться? Поседела ли бы Марианна? Опыт должен был создать новые стимулы.

Я захватнически люблю Марианну. И чем сильнее, тем с большими разрушениями. Ее характер рассыпался, и на смену разрушенному приходили новые взгляды и, главное, — привычки. Раздражением была гордость, помноженная на упрямство. Оно медленно проходило, как усталость, вызванная непривычкой. Так устают губы от чужого языка.

И теперь самым важным было дознаться, что же произошло, наконец.

ПРОЕКТЫ СЕРЬЕЗНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

Начиналось с сентенций.

Вдруг выглянула — уже полужнакомая.

И только краешком сердца

слышал, о чем и о ком она.

Я срезал по короткой хорде

горб дуги, встававший на дороге.

О, едкость серы ссор!

Назревших, как на пальцах перстнями аккорды,

как четки, капли, как серсо.

Я понимал, что это не годится. Это неверно, потому что все слишком явно. Кроме того, я никогда не заканчиваю периода бессоюзным перечислением. Наконец, необходим пейзаж и интерьер; потому что в таком состоянии, в каком были мы, безусловно окружающее оказывает решительное влияние. Поэтому я отверг этот проект и написал новый:

К утру восход ввалился в окна

и простудил тепло подушек.

Быстро светало. Стало душно.

И лампа взбухла, точно кокон.

Разваливалась темнота.

У стульев еще ныли плечи.

И был уже слегка намечен

рисунок комнаты. Но там,

где окна стали прорастать

и стены вырубали угол,

вдруг абсолютно полым гулом
налились комнаты. И пустота.
попятилась назад, потом шагнула,
готовая привстать,
и, пошатываясь, замерла.

(После бесплодного и тяжелого разговора, очень многое сделавшего простым и ясным.)

Чужое обрубили стены.
Квадрат родился на свету.
Но категорическую пустоту
не провести согласия тенью.

Со мной не сможешь согласиться
и свой не изменить характер,
возможна только наша хартия,
как мною выправленная страница.

Ведь ты не сможешь взять и править
страницу по чужому знаку.
Так согласишься хоть с моим правом
любить в созвездье Зодиака!

В родной словарь — как иностранка.
И обводить по слову губы.
С Арбата — как на стров Кубу!
Непостижимо!.. Боже, странно как...

Это, конечно, было значительно вернее. Хотя выясненность положения чувствуется и здесь, что создает ложное впечатление некой априорной очевидности. Что, разумеется, неверно. Но эта очевидность здесь лишь предчувствуется. Это необходимо иметь в виду. (См. VI Анекдот.) Состояние делает совершенно ясным нижеследующие строфы:

Нужно ли столько резких и несправедливых слов.
Марианне очень тяжело. И все-таки она с раздражением
будет парировать.
Осторожное слово, засланное послом,
многое выясняет. Теперь необходимо вырвать
ее оружие и обезвредить его.
Но она с удовольствием,
аппетитно,

прожевала несколько хорошо
приготовленных горьких истин.
Я понял, что это, наконец, больше
невыносимо и немыслимо.
И ушел, что-то пробормотав самым
мелким петитом.

Все становилось ясным, как развернутый сюжет чужой книги. И с этого начинался самый ответственный этап нашей «Vita Nova».

Римляне никогда не выводили на рынок рабов большими партиями. Они понимали, что рабы, увидев, как их много, могут догадаться о возможности избавления от своих властителей.

Думать о всех своих терниях зараз не менее опасно, чем продавать в большом количестве рабов. Наши несчастья всегда видят, как их много, и видят, что они неизмеримо сильнее сутулого человеческого благополучия, против которого так легко ополчиться и уничтожить его.

Мне не следовало думать о ссоре с отцом. Но детали ее, перепутанные перипетии и пустая простота апелляций, были невыносимы. Когда возвратился отец, я ушел из дома. У меня была только маленькая книжка Бенедикта Лившица. И была хорошо написанная в манере «Голубых танцовщиц» ночь. Только она была больше и однообразней. Ночь была у всех нас. Общая ночь. У ночи нет отечества. Она всегда иностранка. Интурист она. Пограничные столбы она минует без визы и паспорта, и по ней никто не стреляет, как стреляют по нас.

Я поднялся по пожарной лестнице. Небо стояло прямо на крыше. Звезды, несмотря на то, что я был высоко, не становились ближе и больше. Кружилась голова, и длинные линии скрепления железных листов скашивались, как вытянутый за два противоположных угла четырехугольник, превращенный в параллелограмм.

Здесь было тихо и в достаточной мере эпично. На крыше я начал понимать причины, побудившие Золя именно ее превратить в трибуну для своего первого, в значительной степени декларативного, выступления. Если бы я не писал книг для людей, которые все вместе легко поместятся на Марианшиной тахте, то я читал бы эти книги с крыш. Здесь хорошо отражается звук. И надо писать неточными основными рифмами.

Марианши на крыше не было. Если бы она была здесь, я бы сказал ей:

— Испытание кончено. Мы не выдержали его. Оба не выдержали. Поэтому расходитесь нам незачем. Некуда нам расходиться.

На земле я, может быть, не сказал бы этого.

Я вспомнил рассказ Жени о том, как возник сюрреализм:

— Это случилось потому, что мы неосторожно полетали в открытом аэроплане над Парижем.

Она жалела Данте, который не летал в открытом аэроплане, но который вполне был сюрреалистом.

На крыше Марианны не было. Марианны вообще не было. Марианна спала. Был хорошо сервированный улицами и домами, широкий с неровными краями, стол: Тверской бульвар, Большая Никитская, мост, потом опять мост, потом — Большая Полянка.

Ночь медленно раздевалась. Без платья она становилась белой и плотной, потом на ее плечах показалось большое, хорошо отдохнувшее солнце.

По телефону я сказал Марианне, что теперь я — бездомный. И что вот теперь я, наверное, люмпен-пролетарий. О том, что я люблю ее еще больше, чем раньше, я не сказал. Она тоже не сказала. Она очень, очень горда, Марианна. Она сказала только, чтобы я пришел позавтракать. Марианна очень хорошо знала, что завтракать я не буду до тех пор, пока мы не договоримся о чем-нибудь. Но она не хотела разговаривать. Завтракать — пожалуйста, а разговаривать — она не будет. Я могу приходить каждое утро завтракать. Потом обед. Вечером ужин. Кроме того, дневной завтрак. И между обедом и ужином — кофе.

Однако моя решительность, слишком хорошо знакомая Марианне, с которой я отказался от завтрака до серьезного разговора, испугала Марианну, как угроза серьезной голодовки до начала следствия. В следствии Марианна не могла отказать мне, и между нами произошел разговор, далеко не во всех своих частях совпадающий с его предполагаемыми проектами.

Марианна подробно и очень точно описывала происшедшее. Она не рассказывала, она вспоминала написанное. Иногда она зачеркивала и пачкала сначала. Я удивился тому, каким перьяш-ливым языком это написано. Но Марианне хотелось убедить меня в том, что это импровизация. Я же прекрасно понимал, что это черновик письма.

Она говорила о чем-то в старом поношенном платье и об испуге, едва не разорвавшем сердце, и как этого довольно для простого разочарования. Я не узнавал Марианну. Я был поражен ее попой манерой говорить, столь непохожей на ее обычную, палитую золотистыми звуками речь. Я ничего не мог понять и чувствовал губами превращение удивления в улыбку.

Марианна была возмущена:

— Я дурно говорю, но, право, сейчас это не имеет ровно никакого значения. Когда останетесь один, можете переложить это на гладкие ритмы. А сейчас извольте выслушать меня. И имейте в виду, что я предлагаю вам не изящное буриме.

Я совсем смешался и очень неловко стал оправдываться, серьезно и старательно доказывая, что гладкими ритмами я никогда не

пишу. Господи, да что я объясняю ей! Да ведь она знает каждую строку, написанную мною, она даже знает, куда я ее бросил, и без Марианны я не нашел бы половины своей книги! Я перестал объяснять и просто не знал, что делать. Потом я сказал ей, что когда мы перестанем доказывать друг другу нашу правоту, то дневник мы непременно будем писать вместе. Это я ей обещаю. Но Марианна не захотела общего дневника, она только повторила о сердце и о том, что теперь у нас ничего уже общего не будет.

Понять тогда, что произошло нечто роковое и непоправимое, было еще очень трудно. Я не хотел никаких предчувствий. Да что вы, черт возьми! Я просто должен все знать. Ни о чем я не хочу догадываться! А меня уговаривают, точно собираются сообщить о смерти кого-то очень дорогого и близкого. Господи, что же произошло, наконец! В моем замысле испытания ссоры не было ничего рокового и непоправимого. О ее любви я знал из ее же собственных слов. Мать ее меня возненавидела. Я опрометчиво предложил отравить ее. Марианна махнула рукой.

— Воля божья. Мать я люблю больше вас. Может быть, если бы матери не было, вы были бы мне дороже всего на свете. Постарайтесь убедить ее в своей правоте. А меня не убеждайте. Если она вам поверит, я буду вашей.

Я чувствовал, как мои веки с трудом сглатывают слезы и как в них проплывают девяносто шесть Марианниных фотографий.

— Невеста. Милая моя и дорогая.

Было жарко. На улице продавали мороженое. Я никогда не ем мороженого на улице. Кроме того, я никогда не пью на улице воду. Воду тоже продают на улице, изредка некоторые мужчины плюют в воду и бегут за уходящим трамваем. На улице я только чищу по утрам обувь. Человек, который чистит мою обувь, огромен и темен.

Я долго убеждал Евгению Иоаникиевну в том, что я не так дурен, как она думает. Но она не хотела меня слушать. Я все более и более удивлялся тому, как изменилась эта очень тонкая, насмешливая, очень умная и красивая женщина, которую я так любил.

Евгения Иоаникиевна сказала:

— Вы не любите Марианну. Вы не жалуете ее. У вас нет положительных героев. Вы — заговорщик.

Это ей могла сказать только сама Марианна. Меня она не знала, впрочем, она знала, что у меня нет будущего и что я — эготист. Кроме того, она сказала, что до моих талантов ей с Марианной нет ровно никакого дела. Мандельштам был скотиной. Ясно, что замуж за него она не могла выйти. Свою дочь она выдаст замуж не за писателя, а за хорошего человека. Я для этого не гожусь. Это, впрочем, я и сам знал. Доказывать, собственно, было нечего. Доказывать, что Марианне не нужен удобный и уютный муж, я не мог. Мне не поверили бы как заинтересованному лицу. В первую очередь необходимо было доказать свою абсолютную лояльность. И — я не смог.

За это время Марианна многому научилась. Главным образом она училась думать двумя измерениями. Вокруг Марианны теперь неожиданно оказались только хорошие и дурные люди. И от Марианны зависела принадлежность к той или иной категории. Переход из категории первой во вторую легко допускался. Для этого нужно было только один раз обрести при своем действии отрицательный знак, механически зачеркивающий все положительные знаки, обладателем коих подчас и бывал упомянутый предмет. Мне было невыносимо тяжело все это слышать от людей, которых я бесконечно любил и которые никогда ранее так не думали и не говорили.

Во время одного из тяжелых и бесплодных разговоров, слишком похожих на переговоры о нашем положении, Марианна рассказала мне назидательный случай из жизни Евгении Иоаникиевны. Привожу целиком историю, которую рассказала мне Марианна, по мере сил стараясь сохранить манеру рассказчицы.

ЛЕГЕНДА О СТА СПАСЕННЫХ ДЕВСТВЕННОЦАХ

— До того счастливого времени, когда мама вышла замуж за папу, она очень любила одного человека, женой которого должна была в скором времени стать.

Но их обоюдному счастью помешало одно очень скорбное обстоятельство. Умирала подруга матери.

Примечание автора:

Легенда принимает вполне приличествующую моменту сакраментальную эпичность.

Подруга, впрочем, умирала от неумеренного обжорства — случилось так, что вместе с бриошами подруга съела кусок бутылки.

Жених Евгении Иоаникиевны был человеком ветреным и легкомысленным. Он закурил толстую сигару и философически заметил:

— Живые судят о мертвых, как сильные о слабых.

И меланхолично предложил:

— Пойдемте пиво пить.

Евгения Иоаникиевна, потрясенная драматической гибелью приятельницы и возмущенная редким цинизмом своего жениха, горько зарыдала, что языком аллегорий должно было огласить *urbī et orbī* о том, что здесь оплакивают человечество, возвращающееся к варварству и к звериным шкурам. Она была очень молода и очень неопытна. Ей было страшно и казалось, что вокруг нее сидят неандертальцы, только что превращенные в неандертальцев из горилл. У одного неандертальца еще был маленький атавистический хвост, который казался ей невыносимым. Ев-

гения Иоаникиевна брезгливо отодвинулась от своего древнего предшественника и зарыдала опять.

Плакала она в стихах, Сицилианами. Цезура аккуратно ложилась после второй стопы. Рифмы были ортодоксальными. Плакала она все-таки в манере идеальных ямбов Мандельштама.

Жених Мандельштама не любил. Возмущенный, он пошел пить пиво и прохладительные напитки.

Евгения Иоаникиевна едва сказала сквозь удушающие рыдания:

— Животное. Лучше неандертальцы!

И атавистический хвостик показался ей милым и трогательным.

Она тихо и кротко позвала:

— Мисюсь. Где ты?

Жениху было категорически отказано от дома. Ему дали на пиво и не велели являться. Жених пошел в кабак и в пьяном угаре, отмахиваясь от неотвратимого несчастья, пропил деньги, которые надо было сохранить, как реликвию. Все пропил. Как Мармеладов. Оставил только серебряный гривенник, похожий на ореол своего воспоминания о невесте. Потом перевязал его розовой ленточкой и понес к автомату звонить невесте и умолять о прощении. Но он раздумал. Он махнул рукой и пробормотал:

— А все-таки сыграю я вам b-mol'ную сонату. Ради *marcхе funebre* сыграю.

И бросил гривенник какому-то проходившему мимо respectableному буржуа, неосторожно снявшему шляпу перед какой-то не менее respectableной буржуазкой.

Примечание автора:

После траура Евгения Иоаникиевна утешилась, обрета свое истинное счастье в объятиях непьющего Цезаря Георгиевича.

Потом случилась Великая Революция.

Потом родилась Марианна.

Потом произошло много событий, с этой книжкой непосредственно не связанных и на которых мы не остановимся.

Спустя почти двадцать лет Марианна рассказала мне эту историю.

Moralite было таким:

— Жених дурень. Жениху не пристало смеяться над человеком, заканчивающим свое тернистое земное поприще.

Это была правда. Жених был убийцей. Это ясно. Он был разрушителем евгенийоаникиевского счастья. Моя уверенность была неколебима. Но вдруг мне пришла в голову сенсационная мысль, и я доверчиво поспешил поделиться с Марианной своими соображениями.

— Как вы думаете, друг мой, — спросил я Марианну, полагая, что мой вопрос вполне pendant только что услышанному, — чего заслуживает человек, мило улыбающийся при виде агонизирующей материнной подружки, но одновременно с этим бросающийся в лакированных башмаках и безупречных перчатках в реку, героически спасая другую материную подружку, неосторожно пившую оранжад на балконе своего будуара, расположенного на двадцать седьмом этаже вполне комфортабельного отеля?

Этико-морализующая концепция о двух вполне диалектических измерениях помогла Марианне с легкостью решить этот вопрос.

У меня упало сердце. Но еще теплилась надежда, и в волнении я предполагал самые феерические вещи. Я бросал несчастного, измученного жениха в пылающее здание; топил в океанических волнах; бросал в кратер извергающего лаву Попокатепетля и превращал в снаряд все разрушающей пушки. Каждое из этих мифологических действий должно было спасти значительное количество материнных подруг, при конвульсиях одной из которых злополучный жених неосмотрительно похвастался отменными качествами своих легкомысленных зубов.

Марианна была непоколебима.

Наконец, в отчаянии я прошептал:

— Двести... двести подруг... и он будет жить...

Марианна отрицательно покачала головой, и я в изнеможении упал на ковер, потеряв сознание.

Марианна раздраженно доказывала, что если нам уже недостаточно для музицирования окарины, а надобен целый симфонический оркестр, то это отнюдь не преимущество современного человека в сравнении с эллином, а просто неумение этого человека довольствоваться малым и тщеславная склонность приписывать себе всякие тонкие достоинства и переживания.

Как трудно стало спорить с Марианной.

Прежде всего и раз навсегда нужно было доказать, что я ничего не имею против нее самой. Но этого невозможно доказать.

Наконец-то Марианна стала поклонницей *plein air*. Это потому, что ей не хватает воздуха.

Она не хочет в библиотеке учиться писать книги. Я напоминаю ей слова Рснуара о том, что живописи надо учиться в музеях. Марианну это не озадачивает, она вполне может полюбить Давида, который, вероятно, не говорил этого. Точно так же Марианна не желает в библиотеках и музеях учиться жизни. Это меня очень радует. Слава богу, хоть с воспитательными функциями искусства покончено. Но учиться жизни Марианна все-таки хочет. Она боится импровизировать. Ей необходимо точное описание, и она не может жить по простенькому сценарию.

Она возражает против соображения о том, что знать, как жить,

это знать свою эпитафию и превращать свою жизнь в реминисценцию из чужих жизней.

Марианна потихоньку от меня стала почитать Фейхтвангера и Надсона.

Если бы Марианна захотела жить методами искусства!

Это великолепно, потому что художники задумывают и делают свои картины и книги. Мы с Марианной задумали удивительную жизнь, но Марианна не хочет осуществить ее методами литературы. Особенно не хочет она этого потому, что я уже могу предложить ей несколько новых жанров и вольную метрику. Она не хочет понять, что если бы люди стали жить методами искусства, то они были бы такими же неповторимыми, как книги и картины больших мастеров. Жить методами искусства — это значит, в первую очередь, не повторять чужих, хорошо выверенных приемов. У каждого своя жизнь. Писатель не обязан советоваться со своими читателями. Жизнь в пяти экземплярах может быть только для себя и четырех близких людей. Даже в наше время это можно сделать. Даже сейчас наша жизнь может входить лишь в компетенцию издательского работника, устанавливающего тираж, и в компетенцию двух-трех статей конституции. Заимствование может быть только цитатой. В каноническое *art poétique* оно не входит.

Примечание автора:

После тягостных и мучительных объяснений, бывших у Марианны и Аркадия, в которых он долго пытался доказать необходимость задуманного им испытания, подробно анализируя этот жестокий замысел, Марианна окончательно убедилась в том, что не в состоянии теперь вообразить себе возможность упорядочения столь осложнившихся отношений. Теперь она совершенно уверена (правда, не пытаясь быть убедительной) в том, что никакое упорядочение вообще невысказано. Чрезвычайную роль играет соображение касательно безусловной истинности *только* этического критерия качества и соображение о разочаровании, постигшем ее, когда поведение Аркадия стало измеряться именно этим критерием.

В тяжелое время всех этих разговоров, объяснений и доказательств Аркадий был в крайней тревоге и раздражении, порой доходящих до недопустимой резкости, и его недостойные пререкания с огорченной и обиженной Евгенией Иоаникиевной пугали и до слез расстраивали Марианну.

Эта неповторимого обаяния, вкуса и удивительной, далеко не всем раскрывающейся красоты девушка чувствовала, как обламываются ее ногти, царапающие так недавно тепло разглаживаемую мечту о счастье с любимым человеком.

Она не понимала, что может любить лишь *одно* обличие Аркадия, и что он — всякий, и что в первую очередь он человек, задумывающий свою жизнь и правящий ее, как страницу *собственной* рукописи, в которую вносятся изменения не по мере развития жизненного действия, т.е. извлекается опыт для будущего, а по характеру соединяющихся частей, когда пережитое воскресается, обуславливая дальнейшее не как практика, а как мотивировка этого действия.

То, что она называла *разочарованием*, было лишь открытием новых особенностей Аркадия, которое необходимо было принять как один из компонентов, образующих характер его.

Что было причиной страшного поступка Аркадия?

Менее всего попытка отомстить Марианне за тяжелые невзгоды, которые довелось пережить ему в последние дни.

Решительным обстоятельством, толкнувшим его на это, было непреодолимое желание (ставшее ясным только спустя некоторое время после всего случившегося) самым радикальным образом порвать с Марианной, забыть все, что связывало с нею, и, главное, уничтожить всякую возможность продолжить эти, ставшие невыносимыми, попытки опять сблизиться с Марианной. И труднее всего было сделать это, когда все, что окружало его и было связано с Марианной, убеждало Аркадия в том, как глубоко верна была догадка о скрытом, очень большом, глубоком и обаятельном таланте Марианны, и как верна была догадка о том, что нет на земле ему счастья без Марианниного счастья, без книг, которые они вместе прочтут, и книг, которых друг без друга они никогда не напишут.

Наиболее серьезным поводом к разрыву, в известной степени, может быть, и определившим его формы, было нежелание Марианны понять, а главное, согласиться с рядом очень важных для них обоих соображений Аркадия об искусстве и философии, а также горькое разочарование Марианны и Евгении Иоаникиевны в возможности ничем не омраченного согласия, на которое основательно можно было рассчитывать до событий последних нескольких дней.

Свет раздражал, как тщетная попытка разрезать ножом тарелку после того, как попытка разрезать мясо кончилась уничтожающей неудачей. Я набросил на него занавес.

Науку расставаний я еще только начал изучать.

Встреча должна была быть последней. Я подбирал звук, вер-

шающий каденцию. Его не было. В хороших стихах это нервное ожидание, предшествующее далеко ушедшей рифме.

Я ходил из угла в угол. К двери было шесть шагов. Обрато — четыре. Шаги шарахались в сторону, спохватывались и путались, потухая в углах.

Темноты Марианна испугалась. Я удивился, не понял и побледнел. Но было уже поздно, и я оставил все по-прежнему.

— Что нужно вам от меня? — спросила Марианна первой фигурой достаточно тщательно приготовленного монолога.

Ответить на это я не мог. Это была не та реплика, которую я должен был узнать как интродукцию к своему выходу. И я обрадовался возможности импровизировать.

Я повел плечом.

— Что мне нужно? Я полагал, что согласие в наших суждениях сейчас самое главное, что мы можем сделать друг для друга, поэтому мне одному это не нужно.

— За этим вы просили меня быть у вас?

— Я думал, что если это последняя встреча, то она необходима и неизбежна так же, как и первое объяснение.

— Нет, не так же. Объясняются для того, чтобы помнить. Мы встретились с тем, чтобы забыть друг о друге окончательно.

— Тогда прощаемся.

— Извольте. Остались ли у вас еще мои фотографии? Не лгите. Вот ваши письма.

Она бросила на стол перетянутую пачку, от удара которой вздрогнул кудрявый Шиллер со скульптурно отрезанными руками и звякнули тяжелые чернильницы. Фотографий ее у меня больше не было.

Она отошла от двери и прислонилась к косяку, как к рампе.

Прощание состоялось.

Но каденция парила над нами. Ее нужно было взять с клавишей и наполнить комнату новыми звуками.

Она продолжила прощание:

— Я требую, чтобы вы не пытались предпринять что-либо для встречи со мной.

Об этом сам я еще не думал. И мне показалось это глубоко оскорбительно. Я тихо сказал:

— Я не прошу даже ваших фотографий.

Но она уже не слушала и продолжала резко и раздраженно:

— Я категорически настаиваю на этом. Это мелко и унижительно. Я не думала, что вы окажетесь способным на некрасивый и низкий поступок.

Я побледнел. Потом начал перелистывать томик Блока. На каждой странице попадались страшные строки, которые могли стать эпиграфом. Это значило, что книжка наша почти дописана.

А она говорила, задыхаясь от возмущения, сердцебиения, обиды и гнева:

— Оставьте в покое мою мать. Как это низко! Оставьте ее в покое! Если бы не она, я была бы всю жизнь самым несчастным человеком. Вы самый низкий, самый ничтожный и отвратительный человек, которого я знала! Вы — позер и фат.

Эпиграфа не было. Это было слишком не похоже на изящную словесность. Я не знал, что делать. Я сидел и внимательно слушал. Иногда я даже повторял за ней. Потом я испугался и, пошатываясь, подошел к ней.

Наши дыхания сталкивались. Ноздри были сильными и острыми. Они могли каждое мгновение впиться в лицо.

— Вот вы как... — продышала она дымом в глаза мне. — Вы... Вы негодяй!

Я ворвался в ее плечо и, давя ее руку, задыхаясь и в дрожи дробя зубы, ударил ее, в последний раз ощутив захлебнувшимися ладонями удивительную теплоту и нежность ее лица...

Запахло гарью. Потом улица легла на бок. Автомобили стекали по отвесно повисшей стене, обрывая крылья и стекла об острую хвою звезд.

Ночь шагнула из мрака. Вечер привстал на носках, но уже ничего не мог разглядеть. Ночь была изрыта дождем, как оспой. Дождь стоял на тротуаре, и когда к нему подходили — отходил.

Дом был похож на аккуратно сложенную стопку книг. У подъезда стояли черные большие автомобили. Дождь осторожно отходил и любопытно заглядывал в фары. Фары были синие, и только в центре их были желтые пузырьки света. Как в аквариуме. Фары были похожи на подведенные глаза чаек.

Из подъезда выносили большие плоские ящики. Осторожно ставили их в автомобили. Что-то тихо говорили. И автомобили осторожно отходили на несколько метров в сторону.

Дождь бормотал что-то по брезенту. Фонари и автомобили устало мигали. Тучи были асфальтовыми. Дождь подошел вплотную к автомобилям. Он заглядывал в кабину шофера и с любопытством приподнимал край брезента.

Было тихо и значительно настороженно. Тучи терлись о воздух. И был ветер и дождь. И настезь распахнутые двери музея.

*Апрель — июль 1942, Ильинское,
октябрь — январь 1942—1943, Москва*

Следственное дело № 71/50. 1944 г.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА

Народный Комиссариат Государственной Безопасности СССР
Управление НКГБ по Московской области

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Допрос начат в 20 час. 30 минут 1944 г. января мес. 31 дня.
Окончен в 4 час. 00 минут 1/II 44 г. Я, зам. нач. 2-го отделения
Следотдела УНКГБ МО капитан Новиков* допросил в качестве
обвиняемого

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Фамилия | Белинков |
| 2. Имя и отчество | Аркадий Викторович |
| 3. Дата рождения | 1921 г. |
| 4. Место рождения | гор. Москва |
| 5. Местожительство | гор. Москва Тверской бульвар, д. 29, кв. 1 |
| 6. Нац. и гражд. | еврей, гр-н СССР член ВЛКСМ
с 1938 года |
| 7. Партийность | 7/XII исключен из ВЛКСМ первичной
комсомольской организацией |
| 8. Образование | Высшее |
| 9. Паспорт | Изъят при аресте |
| 10. Род занятий | Студент-дипломник
Литературного института
Союза Советских писателей СССР |
| 11. Социальное
происхождение | Из служащих. Отец — начальник
Центральной бухгалтерии Наркомлег-
прома РСФСР, мать — педагог |
| 12. Социальное
положение | Учащийся |
| 13. Состав семьи | Отец Белинков Виктор Лазаревич,
мать Белинкова Мира Наумовна —
проживают: Тверской бульвар, д.29, кв.1 |
| 14. Каким репрессиям
подвергался | Не подвергался |

* В дальнейшем имена официальных лиц, этих винтиков карательного механизма, опущены. — *Здесь и далее прим. составителя.*

15. Категория награды при сов. власти	Не имеет
16. Категория воинского запаса	Снят с учета по болезни (порок сердца)
17. Служба в Красной Армии	Не служил
18. Служба в белых и др. к.-р. армиях	
19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях	Не участвовал
20. Сведения об общественно-политической деятельности	Не имел

Вопрос. Ваше отношение к советскому строю?

Ответ. Положительное.

Вопрос. Так ли это?

Ответ. Безусловно так.

Вопрос. За что же вы исключены из ВЛКСМ?

Ответ. Формулировка решения комсомольской организации мне не объявлена. Но я полагаю, что из комсомола исключен за неправильные взгляды на литературу и искусство и их роль в социалистическом обществе.

Вопрос. К чему же сводились ваши взгляды?

Ответ. Я был убежден, что литература может и должна развиваться в независимости от исторической и современной действительности по своим внутренним законам, не считаясь ни с какой идеологией. В связи с этим я пришел к выводу, что литература не играет той роли, которая ей отводится в нашей стране и на нее не следовало бы обращать столь серьезного внимания. Я считал, что каждый писатель имеет свой круг читателей и для него только нужно работать, какой бы он не был по своим размерам. Иными словами — для себя лично я считал, что можно и нужно писать только для избранного круга читателей, хотя бы для пяти человек. После комсомольского собрания, на котором мои взгляды были подвергнуты резкой критике, я начал понимать, что они являются антимарксистскими и несовместимыми с той политикой советского правительства и коммунистической партии, которую они проводят в литературе и искусстве. Постепенно от этих взглядов я начал отходить.

Вопрос. Установлено, что вы враг советской власти и как таковой до дня ареста занимались антисоветской деятельностью. За нее вы и арестованы. Что желаете в связи с этим показать?

Ответ. Я не враг советской власти и антисоветской деятельностью не занимался.

Вопрос. Показываете неправду. Ваша антисоветская деятель-

ность нам известна. Приступайте к даче показаний по существу совершенных вами преступлений.

Ответ. Антисоветских преступлений я не совершал. Вина моя состоит только в том, что у меня были антимакистские взгляды на литературу.

2 февраля 1944 г.

Допрос начал в 21 час. 10 м.

окончен в 2 час. 20 м. 3 февраля.

Вопрос. Вы намерены давать показания о своей антисоветской деятельности?

Ответ. Антисоветской деятельностью я не занимался. Признаю свою вину только в том, что у меня были антисоветские взгляды на литературу.

Вопрос. Речь идет не только о ваших антисоветских взглядах на литературу, но и о вашей антисоветской работе.

Ответ. Антисоветской работы у меня не было. Что же касается моих антисоветских взглядов, то они изложены в моем неизданном романе «Черновик чувств» и в стихотворении «Русь 1942 года».

Я считал, что буржуазные государства в отношении демократизма и свободы слова имеют преимущества по сравнению с Советским Союзом. Это убеждение привело меня к тому, что я чувствовал себя в Советском Союзе чужим человеком, эмигрантом. Отсюда и строки в моем романе: «Эмигрант я. Мы тайно живем в России с какими-то заграничными паспортами, выданными Обществом друзей Советского Союза».

В связи с этим же я писал о «тягостной поре диктатуры пролетариата», которая мешала, как я полагал, свободному развитию индивидуальности художника. В ряде мест моего романа есть утверждения, опорочивающие советскую действительность. К ним относятся строки о том, что в Советском Союзе сажают в тюрьму людей за то, что они рискнули пройтись по улице «имени пролетарского писателя Горького в разноцветных штанах», а также о том, что «пролетариат не делает искусства по своему образу... а делает какие-то странные вещи, похожие на него подвыпившего и всегубоулыбающегося».

В стихотворении «Русь 1942 года» строками: «Трудно сказать, что сй (России) лучше — краткий курс или белых церквей малиновый звон» я ставил вопрос о том, что же лучше для России — идеология марксизма-ленинизма или религиозные убеждения.

Вопрос. Неужели вы намерены всерьез утверждать, что под «малиновым звоном белых церквей» имели в виду только религиозные убеждения?

Ответ. Да, я имел в виду именно религиозные убеждения.

Вопрос. А мы понимаем вас шире — в строках стихотворения речь идет не о религиозных убеждениях, а о строе типа буржуазно-демократических государств. Так это?

Ответ. Повторяю, что в стихотворении «Русь 1942 года» я ставил вопрос о том, что для России лучше — идеология марксизма-ленинизма или религиозные убеждения.

Вопрос. Россия сама, без вашей помощи, определила, что ей лучше. Скажите лучше, что для вас приемлемее — советская власть или буржуазно-демократический строй?

Ответ. Я над этим вопросом не задумывался. Но считаю, что для меня приемлемее советский строй, хотя я и считал, что буржуазные государства в отношении демократизма имеют преимущество в сравнении с Советским Союзом.

Вопрос. А по нашим данным для вас приемлемее буржуазно-демократический строй. По этой причине вы и распространяли идею «переустройства» советского строя на буржуазно-демократический лад.

Ответ. Я уже показал, что для меня приемлемее советский строй и идеи «переустройства» этого строя на буржуазно-демократический лад я не распространял.

Вопрос. Вы распространяли эту идею не только в своем пасквильно-клеветническом произведении, но и в беседах со своими знакомыми. Почему скрываете это?

Ответ. Как в своем романе «Черновик чувств», так и своим знакомым я говорил только о том, что буржуазные государства в сравнении с Советским Союзом имеют преимущество только в отношении демократических свобод. Далее, я считал и говорил, что после войны в Советском Союзе будет некоторое послабление в части цензуры. Других вопросов я не касался и о необходимости переустройства советского строя на буржуазно-демократический лад не говорил.

4 февраля 1944 г.

Допрос начал в 18 час. 20 м.
окончен в 23 час. 25 м.

Вопрос. Сегодня вы так же намерены утверждать о том, что к советской власти относились положительно?

Ответ. Да, я по-прежнему намерен утверждать, что к советской власти относился положительно.

Вопрос. Произведения пасквильно-клеветнического характера в отношении советской действительности писали?

Ответ. Нет.

Вопрос. Но ведь ваш «Черновик чувств» — это гнуснейший пасквиль на советскую действительность. Признаете это?

Ответ. В целом свой роман «Черновик чувств» пасквилем на

советскую действительность не признаю. Однако в романе содержится ряд антисоветских утверждений, касающихся советской литературы, и ряд мест, порочащих советскую действительность.

Вопрос. Своим знакомым читать «Черновик чувств» давали?

Ответ. И сам читал и читать давал.

Вопрос. В разговорах со знакомыми враждебные взгляды на советскую действительность высказывали?

Ответ. Высказывал только в части, касающейся литературы.

Вопрос. А по другим вопросам?

Ответ. Высказывал также по вопросу советской демократии.

Вопрос. Что конкретно?

Ответ. Своим знакомым я говорил о том, что в Советском Союзе отсутствуют сегодня свобода слова и свобода печати и что буржуазные государства в этом отношении имеют преимущества по сравнению с Советским Союзом. Когда я говорил с кем-то из своих знакомых о том, что повесть Зощенко «Перед восходом солнца» снята с печати в журнале «Октябрь», также о том, что газета «Известия» резко осудила Сельвинского за одно стихотворение, — я сказал: «Судите сами, о какой же свободе может идти речь».

О других вопросах советской действительности ничего антисоветского я не высказывал.

Вопрос. А по нашим данным это не так. По нашим данным вы не только высказывали свои антисоветские взгляды на литературу и советскую демократию, но и вели активную антисоветскую работу по сколачиванию антисоветских кадров из числа ваших знакомых.

Приступайте к даче показаний о своей преступной деятельности.

Ответ. Такой работы я не вел. В числе моих знакомых антисоветски настроенных лиц нет.

Вопрос. Ваши показания по этому вопросу не соответствуют действительности. В проведении этой работы вы будете изобличены. А теперь остановимся на ваших показаниях. Вы признали, что:

1. Писали произведения антисоветского содержания.
2. Эти произведения давали читать своим знакомым.
3. Высказывали антисоветские взгляды на советскую литературу и советскую демократию.

После этого неясно — почему же вы заявляете о своем положительном отношении к советской власти?

Ответ. В целом к советской власти я относился положительно. Но к политике советского правительства в области литерату-

ры я относился враждебно и считал, что в Советском Союзе отсутствуют свобода печати и свобода слова. Эти взгляды я не отождествляю с советской властью.

9 февраля 1944 г.

Допрос начат в 22 час. 40 м.

окончен в 23 час. 40 м.

Вопрос. Кому вы давали читать роман «Черновик чувств»?

Ответ. Мой роман «Черновик чувств» читали многие мои знакомые, в частности, читали его студенты литературного института Лацис, Эльштейн, Штейн, Рашеева, Ингал, а также студенты МГУ — Рысс Марианна, Грановская Фаина.

Лично я читал свой «Черновик чувств» в разное время следующим лицам: Саппак Владимиру, Шерговой Галине, Сельвинской Марине, Лозовецкой Жене, Усыскиной, Евдокимову Николаю, Воркуновой (все студенты Литературного института) Натан Лиде, Черняк Иссе, Бейлиной Елене, Лешковцеву Владимиру, Бубновой Елене, ее мужу Сулимову (студенту МГУ), а также студенту педагогического института Долгину Юлиану, студентке сельскохозяйственного института Мацкевич Елене, ее мужу Смирнову Евгению, студентке медицинского института Перчиковой Татьяне и ее мужу (фамилию не знаю), Толстой Лиде (б. студентке Литературного института), Соколовскому Александру (б. студенту Литературного института).

Кроме этих лиц я давал читать свой «Черновик чувств» писателям: Шкловскому, Шенгели, Аптокольскому и Зоценко, а также директору Литературного института Федосееву и профессору этого института Сидорину.

Вопрос. Кто вам печатал «Черновик чувств»?

Ответ. Когда я работал над этим романом, то я печатал его на собственной машинке. Затем в марте 1943 года я отдал роман в перепечатку в государственное машинописное бюро на 2-й или 3-й Тверской-Ямской улице. Под мою диктовку печатала роман машинистка этого бюро Адамская Надежда Семеновна, бывшая наша соседка по квартире.

Вопрос. Сколько экземпляров вам напечатала Адамская?

Ответ. Адамская напечатала два полных экземпляра. Третий экземпляр был напечатан неполностью, так как у меня не хватило бумаги.

Вопрос. Где же находятся эти экземпляры романа?

Ответ. Первый экземпляр в обложке, обтянутой зеленой шерстью и черным шелком с моим портретом, я подарил своей близкой знакомой Рысс Марианне, а второй был у меня. Впослед-

ствии свой роман я переделывал и оставшийся у меня экземпляр изрезал. Второй экземпляр романа я давал читать уже названным выше лицам.

Вопрос. У кого из ваших знакомых в настоящее время имеются рукописи ваших произведений?

Ответ. Роман «Черновик чувств» в зеленой обложке находится у Рысс Марианны, проживающей по улице Большая Полянка, д. 10, кв. 20 или дом 20, кв. 10.

Второй вариант этого романа я отдал Грановской Фаине Ефимовне, проживающей по ул. Малая Бронная, д. 15, кв. 41 или 42. У Грановской, по-видимому, есть также моя новелла «Другая женщина». У других лиц моих рукописей нет.

Вопрос. Где проживает Адамская Надежда Семеновна?

Ответ. Адамская была нашей соседкой по квартире. Проживает она в Москве, но адрес ее мне неизвестен. Изредка Адамская заходит к моим родителям, а также к другим жильцам квартиры.

10 февраля 1944 г.

Допрос начат в 15 час. 30 м.
окончен в 19 час. 50 м.

Вопрос. На предыдущем допросе вы назвали ряд лиц, которым давали читать свой роман «Черновик чувств». Расскажите, когда вы с ними познакомились, что вам о них известно — подробно о каждом.

Ответ. Моими знакомыми являются: [далее следует перечисление.]*

11 февраля 1944 г.

Допрос возобновлен в 0 час. 30 м.

Вопрос. Кто такая Бубнова Елена и когда вы с ней познакомились?

Ответ. Бубнова Елена (отчества не знаю) — дочь бывшего наркома просвещения РСФСР, врага народа Бубнова. Познакомился с ней летом 1943 года в Московском государственном университете. Она является студенткой искусствоведческого факультета этого университета. Кто познакомил меня с ней и при каких обстоятельствах, затрудняюсь вспомнить. Во время знакомства Бубнова пригласила меня к себе на квартиру. Вскоре после знакомства я зашел к ней на квартиру по адресу: Страстной бульвар, д. 12, кв. 8. На квартире у Бубновой познакомился с ее мужем Сулимовым Владимиром — студентом Государственного института театрального искусства.

* Здесь и далее в квадратных скобках даны примечания составителя.

В этот же вечер к Бубновой пришла Перчикова Татьяна со своим мужем. Фамилии и имени ее мужа не знаю. Всем им я прочел отрывки из своего романа «Черновик чувств».

После этой встречи ко мне на квартиру один раз заходил муж Бубновой — Сулимов с мужем Перчиковой. Больше с ним я не встречался. Бубнову же я видел несколько раз случайно в Московском государственном университете и один раз встретился с ней на улице Герцена у Консерватории. Последний раз виделся с Бубновой 29 января 1944 года в МГУ и пригласил ее с мужем к себе домой, но 30 января был арестован.

Вопрос. Почему вы не хотите сказать, при каких обстоятельствах и кто вас познакомил с Бубновой?

Ответ. Я затрудняюсь вспомнить обстоятельства моего знакомства с Бубновой. Предполагаю, что с ней меня познакомил кто-либо из моих знакомых студентов МГУ, когда я заходил в университет.

Вопрос. Кто из ваших знакомых знает Бубнову?

Ответ. Мне кажется, что Бубнову знают мои знакомые Эльштейн Генрих и Черняк Исса, возможно, кто-либо из них и познакомил меня с Бубновой.

Вопрос. Откуда вам известно о знакомстве Эльштейна и Черняка с Бубновой?

Ответ. Это мое предположение, так как эти лица учились в МГУ. Черняк учится в университете и сейчас.

Вопрос. Как реагировали Бубнова и Сулимов на ваш роман «Черновик чувств»?

Ответ. Свой роман «Черновик чувств» я читал им поздно вечером и по этой причине обменяться мнениями мы не смогли. Но мне кажется, что мой роман произвел на них неприятное впечатление, так как кто-то из них после чтения романа сказал, что мои литературные взгляды, высказанные в романе, их не устраивают.

Вопрос. Бубновой и Сулимову вы высказывали свои антисоветские убеждения?

Ответ. Своих антисоветских убеждений я им не высказывал, так как встреча с ними была поздно вечером и я торопился домой.

Вопрос. А во время последующих встреч?

Ответ. С Бубновой я встречался случайно, большей частью в МГУ.

Встречи были кратковременные и по этой причине своих антисоветских взглядов я не высказывал ей. С мужем Бубновой — Сулимовым у меня был разговор об итальянском и греческом искусстве. Современного искусства мы не касались, и поэтому мне не было необходимости высказывать Сулимову свои антисоветские взгляды.

Вопрос. Известно, что Бубновой и Сулимову вы не только

читали свой пасквиль «Черновик чувств», но и высказывали свои антисоветские взгляды. Почему умалчиваете об этом?

Ответ. Еще раз заявляю, что Бубновой и Сулимову своих антисоветских взглядов я не высказывал, за исключением прочтения им моего романа «Черновик чувств», где мои взгляды нашли частичное отражение.

12 февраля 1944 г.

Допрос начат в 18 час.

окончен в 21 час. 50 м.

Вопрос. Вам предъявлено обвинение в том, что вы, будучи враждебно настроены к советскому строю, в кругу знакомых лиц, высказывали свои антисоветские убеждения и клеветнические измышления о советской действительности и руководителях Советского государства.

Группировали вокруг себя политически неустойчивых студентов московских учебных заведений и пытались создать нелегальный литературный кружок, на сборищах которого имели намерение подвергать критике политику ВКП(б) и Советского правительства в области литературы и искусства и с антисоветских позиций истолковывать советскую действительность. Кроме того, написали ряд произведений антисоветского содержания.

Обвинение вам понятно?

Ответ. Понятно.

Вопрос. Виновным себя признаете?

Ответ. Признаю себя виновным частично.

Вопрос. В чем частично?

Ответ. Признаю себя виновным в том, что у меня были антисоветские взгляды по ряду вопросов, связанных с литературой. Я считал, что литература может и должна развиваться в независимости от исторической и современной действительности по своим внутренним законам, не считаясь ни с какой идеологией.

На основании этого я пришел к выводу, что литература не играет той роли, которая ей отводится в нашей стране, и на нее не следовало бы обращать серьезного внимания. Далее, я считал, что не вся литература должна быть массовой, а что можно писать и для определенного круга читателей, хотя бы для пяти человек.

Кроме того, я считал, что в Советском Союзе отсутствует свобода слова и печати и что буржуазные государства в этом отношении имеют преимущества по сравнению с Советским Союзом. Это убеждение привело меня к тому, что я чувствовал себя в Советском Союзе чужим человеком, эмигрантом и диктатура пролетариата для меня была тягостна, мешавшая, как мне каза-

лось, свободному развитию индивидуальности художника. Эти взгляды я высказывал своим товарищам, а также они нашли отражение в писанном моем романе «Черновик чувств» и в отдельных стихах.

В романе «Черновик чувств» есть ряд мест, опорочивающих советскую действительность.

В высказывании клеветнических измышлений на руководителей Советского правительства виновным себя не признаю. Однако с моей стороны были высказывания о том, что литературная значимость трудов руководителя Советского государства значительно меньше их социально-экономического смысла. Не признаю себя виновным также в попытке создать нелегальный литературный кружок. Но признаю, что я действительно делал попытку создать литературный кружок на легальных основаниях. В этот кружок должны были войти мои товарищи Борис Штейн, Надя Рашеева, Аня Михальчи, Лида Натан, Марианна Рысс. Цель кружка — научиться самостоятельно работать над вопросами теории и истории литературы. Навязывать свои антисоветские взгляды на литературу членам кружка я не собирался, но в процессе нашей работы я их высказывал бы.

Вопрос. О своей антисоветской работе и антисоветских замыслах вы дали скудные показания. Предлагаем вам этот пробел восполнить на следующих допросах.

15 февраля 1944 г.

Допрос начат в 10 час. 15 м.

окончен в 22 час. 30 м.

Вопрос. Когда вы познакомились со Шкловским?

Ответ. В июле-августе 1943 года.

Вопрос. При каких обстоятельствах?

Ответ. Всех студентов-дипломников Литературный институт прикреплял для консультации к писателям. По моей просьбе я был направлен с письмом от дирекции института к Шкловскому. У Шкловского я был на квартире в доме № 17/19 по Лаврушинскому переулку и рассказал ему о своем желании получить от него помощь. Шкловский согласился. Через несколько дней после знакомства я принес Шкловскому для ознакомления свой роман «Черновик чувств».

Вопрос. Почему именно у Шкловского вы изъявили желание получать консультации?

Ответ. Потому что Шкловский — мой любимый писатель.

Вопрос. Раньше с ним знакомы были?

Ответ. Нет.

Вопрос. Сколько раз вы были у Шкловского?

Ответ. Много раз.

Вопрос. Зачем к нему заходили?

Ответ. Первое время я получал у Шкловского консультации, а затем заходил к нему в гости.

Вопрос. Какую оценку дал Шкловский вашему роману «Черновик чувств»?

Ответ. Шкловский считал, что роман неудачный, но не говорил мне о том, что в ряде мест романа есть антисоветские утверждения.

Вопрос. Шкловскому высказывали свои антисоветские взгляды?

Ответ. Да, Шкловскому я высказывал свои антисоветские взгляды на литературу и говорил ему о своем отношении к политике советского правительства в области литературы и искусства.

Вопрос. Как реагировал на ваши высказывания Шкловский?

Ответ. Мои взгляды он осуждал.

Вопрос. Так ли это?

Ответ. Безусловно так.

Вопрос. Расскажите о своем знакомстве с Антокольским, Зоценко и Шенгели.

Ответ. С Антокольским я познакомился летом 1941 года в Литературном институте. Антокольский руководил в институте творческим семинаром. В январе 1944 года два раза у Антокольского я был на квартире, заходил к нему в гости. С Зоценко знаком с осени 1943 года. Тогда он жил в гостинице «Москва». К нему меня направил Шкловский. Мне хотелось узнать мнение Зоценко о моем романе «Черновик чувств».

Вопрос. Какого же мнения Зоценко о вашем романе?

Ответ. Зоценко сделал ряд замечаний чисто литературного характера. О моих антисоветских взглядах в романе Зоценко ничего не сказал.

Вопрос. Сколько раз вы были у Зоценко?

Ответ. Только один раз.

Вопрос. Когда познакомились с Шенгели?

Ответ. С Шенгели познакомился в 1940 году в Литературном институте, где он вел творческий семинар. До этого я заходил к нему с целью получить от него отзыв о моих литературных способностях. Этот отзыв мне был нужен для поступления в Литературный институт. По рекомендации Шенгели я был принят в институт.

В 1941 году Шенгели уезжал из Москвы и до лета 1943 года я с ним не виделся. Летом 1943 года Шенгели приезжал в командировку и заходил ко мне на квартиру. В это время он читал мой роман «Черновик чувств».

Вопрос. Какие замечания сделал Шенгели по части ваших антисоветских взглядов в этом романе?

Ответ. На эту тему я с Шенгели не разговаривал.

Вопрос. С кем из писателей вы знакомы еще?

Ответ. Я также знаком с Сельвинским и Асеевым. Кроме того, по институту был знаком с Фединым и Леоновым, бывал у них на творческих семинарах. Сельвинский в институте руководил творческой кафедрой и вел семинар. В отсутствие Сельвинского в Москве, Асеев был его заместителем по кафедре.

Вопрос. У кого из них бывали на квартире?

Ответ. Бывал на квартире у Сельвинского и Асеева. У Леонова и Федина на квартире не был.

Вопрос. Сельвинский и Асеев знакомы с вашим романом «Черновик чувств»?

Ответ. Мой роман «Черновик чувств» читал только Сельвинский. Причем он читал второй вариант романа, из которого выброшены строки о «тягостной поре диктатуры пролетариата».

16 февраля 1944 г.

Допрос начат в 10 час. 40 м.
окончен в 15 час.

Вопрос. Во время ареста у вас на квартире изъято стихотворение «Пролог». Предъявляем вам его. Это ваше произведение?

Ответ. Да, мое, записал я это стихотворение 5 ноября 1941 года в гор. Сызрань или в Куйбышеве, куда я был эвакуирован вместе с родителями.

Вопрос. Какую оценку дадите этому стихотворению в смысле его политической направленности?

Ответ. Свое стихотворение «Пролог» считаю антисоветским. В этом стихотворении я изложил клевету на отдельные периоды развития советской власти, в частности, на современный военный период.

23 февраля 1944 г.

Допрос начат в 15 час 35 м.
окончен в 0 час 15 м. 24/II.

Вопрос. Кто из ваших знакомых разделял ваши антисоветские взгляды?

Ответ. Я считаю, что мои антисоветские взгляды разделяла Рашеева Надежда Александровна. Что же касается остальных моих знакомых, то они не были согласны со мной.

Вопрос. Кто же не был согласен с вашими взглядами?

Ответ. Мои взгляды на литературу осуждали Лацис, Эльштейн, Евдокимов, Рысс, Штейн. Остальным знакомым мои антисоветские взгляды не были известны.

Вопрос. В числе лиц, читавших ваш роман «Черновик чувств»,

вы называли много лиц. Почему же вы заявляете, что многие ваши знакомые не знали о ваших антисоветских взглядах?

Ответ. Свои антисоветские взгляды я высказывал ограниченному кругу лиц. Остальные же названные мною лица только читали мой роман, но в их присутствии антисоветских убеждений я не высказывал.

1 марта 1944 г.

Допрос начат в 17 час.

окончен в 2 час 30 м. 2/III.

Вопрос. На одном из предыдущих допросов вы показали о своей попытке создать литературный кружок. Где вы мыслили создать этот кружок?

Ответ. У себя дома или же у своих товарищей.

Вопрос. С какой целью вы пытались создать литературный кружок в домашних условиях?

Ответ. Научиться самостоятельно работать над вопросами теории и истории литературы.

Вопрос. Творческие семинары в институте существовали?

Ответ. Да.

Вопрос. Почему же вы не использовали их для самостоятельной работы над собой?

Ответ. Семинар под руководством Сельвинского, в котором я был, с начала войны не работал. Семинар Асеева меня не удовлетворял. По этой причине я решил создать литературный кружок вне стен института.

Вопрос. На творческих семинарах вы боялись высказывать свои антисоветские убеждения. Более подходящим местом для этого вы считали литературный кружок в домашних условиях. Так обстояло дело?

Ответ. Создавая литературный кружок, антисоветских целей я не преследовал.

Вопрос. Что же вы практически предприняли для осуществления своего намерения?

Ответ. В апреле 1943 года я создал литературный кружок, который существовал не больше месяца. Из-за отсутствия активности у членов этого кружка он распался.

Вопрос. Кто принимал участие в работе кружка?

Ответ. В литературный кружок входили следующие лица:

1. Я — Беликов
2. Штейн Борис
3. Рысс Марианна
4. Рашсева Надя
5. Михальчи Аня
6. Натан Лида

Причем Михальчи была на занятиях кружка только один раз, а Натан вовсе не была. Кроме того, один или два раза на собраниях кружка был Ингал и два раза Шенгели — преподаватель нашего института.

Вопрос. По какому принципу вы подбирали участников кружка?

Ответ. Специального подбора состава кружка я не делал. В него вошли главным образом близкие мои товарищи Рашеева, Штейн и Рысс. Михальчи и Натан были приглашены мной по той причине, что они занимаются западно-европейской литературой.

Вопрос. С этими лицами вас объединяла общность антисоветских взглядов. Почему об этом умалчиваете?

Ответ. Антисоветски настроенными указанных лиц я не считал и не считаю.

Вопрос. На предыдущем допросе вы показали, что ваши антисоветские взгляды на литературу разделяла Рашеева. Почему же вы сегодня заявляете о том, что она не была антисоветски настроена?

Ответ. Рашееву я не считал и не считаю антисоветски настроенной, хотя она и разделяла некоторые мои взгляды на литературу. В частности, она согласна была со мной, что литература может развиваться по своим собственным законам вне зависимости от окружающих условий, что литература не вся может быть массовой.

Никаких высказываний в отношении советского строя и его порядков от Рашеевой я не слышал.

2 марта 1944 г.

Допрос возобновлен в 21 час.

Вопрос. Вчера на допросе вы назвали ряд лиц, которые принимали участие в работе созданного вами литературного кружка. Всех ли вы назвали участников этого кружка?

Ответ. Всех.

Вопрос. Лешковцев Владимир принимал участие в работе вашего кружка?

Ответ. В работе созданного мною кружка Лешковцев участия не принимал.

Вопрос. Почему же?

Ответ. Лешковцев является студентом физико-математического факультета МГУ и литературной деятельностью не занимается. По этой причине он и не был членом организованного мною кружка.

Вопрос. Вы знали о том, что Лешковцев сам является руководителем кружка?

Ответ. О том, что Лешковцев является руководителем круж-

ка, я слышу впервые. Но по приглашению Лешковцева в ноябредекабре 1943 года я зашел к нему на квартиру, где, кроме самого Лешковцева, были следующие лица: Смирнов Евгений, его жена Мацкевич Елена, молодой парень по имени Лев и еще один молодой парень, которого я совершенно не знаю. Всем нам собравшимся Лешковцев рассказывал о метагенетических лучах. После рассказа Лешковцева все мы разошлись. Лично я пошел в Консерваторию.

Был ли это кружок — сказать затрудняюсь.

Вопрос. Вам предлагал Лешковцев сделать доклад о литературе?

Ответ. Специального предложения со стороны Лешковцева я не получал. Но присутствующие у Лешковцева лица просили меня рассказать им о Восьмой симфонии Шостаковича, которую я успел прослушать в Консерватории. Так как я спешил в этот день, то исполнить их просьбу не смог, пообещав в следующий раз рассказать им что-либо из истории литературы.

Вопрос. Свое обещание исполнили?

Ответ. Нет.

Вопрос. Почему же?

Ответ. Во-первых, этой просьбе я не придавал значения, во-вторых, о ней забыл.

Вопрос. После этого вы бывали у Лешковцева?

Ответ. Нет.

Вопрос. А Лешковцев к вам заходил?

Ответ. Несколько раз был.

Вопрос. С какой целью?

Ответ. Заходил он ко мне как к товарищу.

Вопрос. Лешковцев вам рассказывал о предполагаемых докладах на собраниях созданного им кружка?

Ответ. Об этом Лешковцев меня не информировал. Но я знаю, что Смирнов Евгений должен был делать доклад о молодом человеке. Сделал ли он доклад на эту тему — не знаю.

Вопрос. С тезисами доклада Смирнова вы знакомились?

Ответ. Не помню.

Вопрос. Смирнов и Мацкевич присутствовали на собраниях созданного вами литературного кружка?

Ответ. Нет.

Вопрос. Сколько раз собирался созданный вами кружок?

Ответ. Три раза.

Вопрос. Когда это было?

Ответ. Первое собрание кружка состоялось в середине апреля 1943 г. На нем присутствовали: я — Белинков, Штейн Борис, Рысс Марианна, Рашеева Надя и Михальчи Анна. На этом собрании я сделал вступительное слово о характере работы кружка, о нашей тематике. Председателем кружка присутствующие избрали меня, а секретарем Марианну Рысс. Второе собрание кружка

состоялось в конце апреля 1943 г. Присутствовали: я — Белин-ков, Штейн Борис, Рысс, Рашесва и Ингал Георгий, который прочел свою пьесу «Алиса Ванье». Для обсуждения этой пьесы мы собрались через день после ее читки.

На следующих двух собраниях кружка выступал поэт Шенгели. Он читал стихи. Кроме меня — Белинкова, присутствовали: Штейн Борис, Рысс, Михальчи, Рашеева и Ингал. После этих собраний кружок распался.

Вопрос. Вы пытались возродить работу кружка?

Ответ. Нет.

Вопрос. Эльштейн читал свой роман у вас на квартире?

Ответ. Да, Эльштейн у меня на квартире читал свой роман «Одиннадцать сомнений». Это было в начале декабря 1943 года.

Вопрос. Кто во время этой читки присутствовал?

Ответ. Кроме меня присутствовали: Штейн, Лацис, Грановская Фаина, автор романа Эльштейн, член комитета ВЛКСМ института Каменкова-Павлова Ольга. После чтения состоялось небольшое обсуждение романа.

Вопрос. Еще подобные сборы были у вас на квартире?

Ответ. Были неоднократно. У меня почти ежедневно бывали как студенты Литературного института, так и отдельные студенты МГУ, в частности Грановская Фаина. Дело в том, что я, вследствие болезни, очень редко бывал в институте. Поэтому ко мне заходили мои товарищи и мы вели беседы на литературные темы.

Вопрос. Иными словами кружок существовал?

Ответ. Кружок больше не существовал, и я не пытался его возрождать. В этот период времени обсуждался вопрос о моем поведении в комсомольской организации института и мне было не до кружка. Что же касается посещений моей квартиры отдельными студентами института, то они были вызваны тем, что я был болен и находился дома. К тому же моя квартира находится через дом от института.

14 марта 1944 г.

Допрос начат в 21 час 15 м.

Допрос окончен в 2 ч. 25 м. 15/III.

Вопрос. В чем вы признаете себя виновным?

Ответ. На предыдущих допросах я признал и сейчас признаю себя виновным в том, что я, начиная с 1941 года и до дня своего ареста, написал ряд антисоветских произведений, а также высказывал свои антисоветские взгляды Рашеевой Надежде Александровне.

Вопрос. Кто она такая?

Ответ. Рашеева Н. А., 1923 года рождения, уроженка города Харбин; русская или еврейка, точно сказать не могу, гр-ка СССР,

член ВЛКСМ, студентка Литературного института Союза Советских писателей, проживает М. Бронная, дом № 44/15, кв. 4.

Вопрос. Как давно вы ее знаете?

Ответ. Познакомился я с Рашеевой в 1938 году через Николая Роликова, своего соученика по 125 средней школе Советского района, у нее на квартире. С весны 1943 года Рашееву я знал как студентку Литературного института, в котором учился и я.

Вопрос. Какие у вас с Рашеевой были взаимоотношения?

Ответ. Дружеские. Между нами ссор и неприязненных отношений не было.

Вопрос. Как часто вы встречались с Рашеевой?

Ответ. Начиная с 1938 года и вплоть до дня моего ареста за исключением периода ее пребывания с октября 1941 по зиму 1943 г. в эвакуации в гор. Свердловске, я с Рашеевой встречался у себя и у нее на квартире 2-3 раза в неделю. Реже видел я ее в институте.

Вопрос. Что вас с Рашеевой сближало?

Ответ. Дружба и с весны 1943 года общность антисоветских взглядов.

Вопрос. Вам приходилось слышать со стороны Рашеевой разговоры, направленные против Советской власти?

Ответ. На этот вопрос я затрудняюсь ответить.

Вопрос. Почему?

Ответ. Рашеева в антисоветских беседах со мной не высказывала своего мнения по тем или иным моим антисоветским суждениям, а всегда заявляла, что она со мной согласна.

Вопрос. Изложите свои антисоветские взгляды, которые вы высказывали Рашеевой.

Ответ. Весной 1943 года на квартире Рашеевой я последней прочел свой антисоветский роман «Черновик чувств». Этот роман ей очень понравился. Тогда же я Рашеевой говорил о том, что якобы в СССР нет настоящей литературы, отображающей действительное положение в стране, что советский режим не позволяет писателям публиковать такие произведения, которые бы шли вразрез с официальной точкой зрения Советского правительства в вопросах искусства. В искусстве, говорил я, главное — форма, а не содержание. При этом я клеветал на советскую демократию, утверждая, что у нас нет свободы слова и печати. Говоря об этом, я всячески восхвалял буржуазно-демократические государства, заявляя, что там якобы люди пользуются действительными свободами, могут высказываться о том, о чем они думают. Летом 1943 года у себя на дому Рашеевой я говорил о том, что после войны должна произойти перемена в советской литературе. На смену марксистским взглядам на литературу придет мною задуманная «теория» необарокко.

Вопрос. Что это за теория?

Ответ. Это новое направление в литературе — необарокко.

Сущность этой теории сводится к проповеди аполитичности в искусстве. Отрицание влияния на развитие искусства общественных событий. В искусстве, заявлял я, главное — форма, а не содержание. Марксизм, как я утверждал, устарел и стал пещужным. По моим глубоким убеждениям люди в СССР живут в страшное время. Нас окружает якобы тягостная социалистическая действительность.

Вопрос. Когда вы задумали эту теорию?

Ответ. Летом 1943 года.

Вопрос. Кто в этом вам помогал?

Ответ. Никто.

Вопрос. Так ли это?

Ответ. Да, так.

Вопрос. Рашеева разделяла вашу теорию необарокко?

Ответ. Да, разделяла, но своих мнений не высказывала.

Вопрос. Еще какие антисоветские разговоры вы вели с Рашеевой?

Ответ. Больше никаких.

15 марта 1944 г.

Допрос начат в 21 час.

Допрос окончен в 24 часа.

Вопрос. На допросе от 10 февраля 1944 года вы назвали ряд лиц, которым давали читать свой антисоветский роман «Черновик чувств» и, в частности, назвали некоего Долгина Юлиана. Кто такой Долгин и с какого времени вы с ним знакомы?

Ответ. Долгин Юлиан, отчества не знаю, студент Московского государственного педагогического института. Познакомила меня с ним Рашеева Н. А. в октябре 1943 года у меня на квартире.

Вопрос. Как часто вы встречались с Долгиным с октября месяца 1943 года по день вашего ареста?

Ответ. Долгин раз пять был у меня на квартире. Один раз в декабре 1943 года видел я его на ул. Воровского около Клуба писателей. В середине декабря 1943 года мы с Долгиным виделись на похоронах Тынянова Ю. Н. И незадолго до самого ареста в январе 1944 года я два раза встречал Долгина на квартире Рашеевой.

Вопрос. Долгин являлся вашим единомышленником по антисоветской работе?

Ответ. Нет.

Вопрос. Антисоветские разговоры с Долгиным вы вели?

Ответ. Да, вел.

Вопрос. Какие, когда и где?

Ответ. В начале зимы 1943 года у себя на квартире Долгину сообщил, что я создал «теорию необарокко».

Вопрос. Конкретно что именно вы ему сообщили об этой своей «теории»?

Ответ. Долгину я рассказал, что я создал «теорию необарокко», отрицающую современную советскую художественную литературу и доказывающую, что литература находится якобы независимо от социально-экономической действительности. По этой моей «теории» литература должна быть аполитична. В литературе, говорил я, главное форма, а не содержание.

Вопрос. Как на это реагировал Долгин?

Ответ. Отрицательно. С моей теорией «необарокко»* Долгин согласен не был.

Вопрос. Какие еще антисоветские разговоры вы вели в присутствии Долгина?

Ответ. В декабре 1943 года также у себя на дому Долгину в присутствии наших общих знакомых Эльштейна и Рашеевой я говорил, что книга Зощенко «Перед восходом солнца» подверглась жесткой и, как мне казалось, несправедливой критике. Говоря об этом, я ядовито заметил — судите сами, о какой же свободе печати может идти речь в советских условиях.

Вопрос. Как отнеслись к этому Долгин, Эльштейн и Рашеева?

Ответ. Как мне тогда казалось, они на это мое антисоветское высказывание не обратили внимания. Во всяком случае мне с их стороны ничего сказано не было.

28 марта 1944 г.

Допрос начат в 10 час. 50 м.

Допрос окончен 15 час. 45 м.

Вопрос. Вы знакомы с Фохтом?

Ответ. Да, Фохта Бориса Александровича я знаю.

Вопрос. Кто он такой?

Ответ. Немец, профессор философии.

Вопрос. Как давно вы его знаете?

Ответ. С Фохтом я познакомился осенью 1943 года.

Вопрос. Где?

Ответ. В Литературном институте меня с ним познакомила Рашеева Надежда Александровна.

Вопрос. Кто она такая?

Ответ. Студентка Литературного института Союза Советских писателей. На допросе от 14 марта 1944 года я дал подроб-

* Кавычки в протоколе стоят по-разному: «теория необарокко», «теория необарокко, теория «необарокко».

ные показания и рассказал о своих взаимоотношениях с Рашеевой и о тех антисоветских разговорах, которые я вел с ней.

Вопрос. Расскажите об обстоятельствах вашего знакомства с Фохтом.

Ответ. Осенью 1943 года я зашел в Литературный институт, с тем, чтобы встретиться там с Рашеевой Н.А.

Вопрос. Какая была цель этой вашей встречи с Рашеевой?

Ответ. Особой цели у меня не было. С Рашеевой я встречался как с хорошим своим товарищем, занимавшимся в Литературном институте, в котором в 1943 году я сдавал государственные экзамены.

Вопрос. Продолжайте свои показания.

Ответ. Через несколько минут после моего прихода в Литературный институт начался перерыв занятий, и я увидел, как из аудитории вышел лектор, следом за ним вышли студенты, в том числе и Рашеева.

Я спросил у Рашеевой, кто этот человек, вышедший из аудитории, и она мне сказала, что это их новый профессор логики — Фохт Борис Александрович.

Вопрос. Что Рашеева в этот раз рассказала вам о Фохте?

Ответ. Ничего особенного. На мой вопрос, хорошо ли читает Фохт лекции, Рашеева мне ответила, что он очень хороший ученый и очень интересный человек и что, кроме того, у него дома имеется превосходная библиотека. Желая ознакомиться с библиотекой Фохта, я тут же попросил Рашееву познакомить меня с ним, что она и сделала.

Вопрос. Как это произошло?

Ответ. Когда прозвенел звонок на лекцию и Фохт направился к аудитории, Рашеева представила меня последнему и заявила, что я являюсь ее хорошим знакомым, дипломником Литературного института, желаю с ним познакомиться, и тут же я с Фохтом поздоровался за руку.

Вопрос. О чем вы с ним разговаривали?

Ответ. Я поинтересовался у Фохта его библиотекой, на что он мне ответил, что если меня его библиотека интересует, я могу договориться с Рашеевой и прийти к нему на дом посмотреть его библиотеку. На этом разговор с Фохтом был у меня закончен. Он пошел в аудиторию читать лекцию, я вернулся домой.

Вопрос. Вы были на квартире у Фохта?

Ответ. Да, был вместе с Рашеевой.

Вопрос. Расскажите об этом более подробно.

Ответ. Через несколько дней после состоявшегося знакомства я вновь встретился с Рашеевой.

Вопрос. Где?

Ответ. У себя на дому или в Литературном институте, точно не помню. При этой встрече мы договорились о совместной поездке на квартиру к Фохту.

Вопрос. А в этот раз Рашесва что-либо рассказала вам о Фохте?

Ответ. Рашеева сообщила мне, что Фохт часто устраивает у себя на квартире сборища — преимущественно из студентов, каких учебных заведений — она не сказала, и что на этих сборищах, или, как она сказала, «семинарах» под руководством Фохта читается книга Канта в подлиннике.

Вопрос. Откуда об этом Рашеевой известно?

Ответ. Рашеева мне сказала, что она сама является участницей сборищ.

Вопрос. Рашеева называла вам фамилии лиц, принимавших участие в сборищах на квартире Фохта?

Ответ. Нет, не называла, и я ее об этом не спрашивал.

Вопрос. О содержании разговоров, происходивших на этих сборищах, Рашеева вам рассказывала?

Ответ. Нет, не рассказывала.

Вопрос. Какова была цель этих сборищ?

Ответ. Изучать в подлиннике Канта.

Вопрос. Кто был инициатором этого?

Ответ. По словам Рашеевой, — профессор Фохт.

Вопрос. Какую при этом преследовал Фохт цель?

Ответ. Этого я не знаю.

Вопрос. Кто Рашееву втянул в эти сборища?

Ответ. Не знаю.

Вопрос. А разве Рашеева вам об этом не говорила?

Ответ. Нет, не говорила.

Вопрос. С какого времени Рашеева стала посещать эти сборища?

Ответ. Этого она мне не сказала.

Вопрос. А вы у нее спрашивали?

Ответ. Нет, не спрашивал.

Вопрос. С какой целью Рашесва сообщила вам об этих сборищах?

Ответ. Говоря об этих сборищах, Рашесва предложила мне стать постоянным посетителем их.

Вопрос. Вы дали на это свое согласие?

Ответ. Нет, я заявил Рашесвой, что специально Кантом не интересуюсь, но что к Фохту на дом поеду с тем, чтобы познакомиться с его библиотекой.

Вопрос. Когда вы были на квартире у Фохта?

Ответ. Вскоре после вышеизложенного моего разговора с Рашеевой.

Вопрос. Точнее, когда это было?

Ответ. Осенью 1943 года.

Вопрос. Назовите домашний адрес профессора Фохта.

Ответ. Забыл. Ехал я на дом к Фохту вечером вместе с Рашеевой и сейчас затрудняюсь вспомнить его домашний адрес.

Вопрос. Чем вы с Рашсевой занимались на квартире у Фохта?

Ответ. По приезду к Фохту мы застали на квартире последнего двух юношей и двух девушек, мне неизвестных, читающих под руководством Фохта книгу Канта «Критика чистого разума» в немецком подлиннике.

Спустя некоторое время после нашего приезда в комнату вошли еще двое молодых людей, также мне неизвестных, которые приняли участие в чтении Канта. В этом чтении активное участие принимала и Рашеева.

Вопрос. А вы?

Ответ. Я слушал.

Вопрос. Как долго продолжалось чтение?

Ответ. Не больше одного часа.

Вопрос. А потом?

Ответ. Я с Рашеевой и еще кто-то вышли от Фохта.

Вопрос. А остальные?

Ответ. Остальные остались.

Вопрос. Назовите фамилии лиц, принимавших в этот раз участие в чтении книги Канта на квартире Фохта.

Ответ. Не знаю. С ними меня никто не знакомил и после этого я с ними никогда не встречался.

Вопрос. Вы лично с Фохтом у него на квартире разговаривали?

Ответ. Нет, не разговаривал.

Вопрос. Почему?

Ответ. Он был занят чтением Канта, и я считал для себя неудобным с ним разговаривать о каких-либо посторонних вещах.

Вопрос. С библиотекой Фохта вы ознакомились?

Ответ. Нет.

Вопрос. Выше вы показали, что к Фохту вы ехали специально для ознакомления с его библиотекой, что вам мешало ознакомиться с последней?

Ответ. У Фохта, как я уже сказал, были неизвестные для меня лица, с которыми он был занят, и я считал для себя неудобным просить его ознакомить меня с его библиотекой.

Вопрос. Когда еще вы были на квартире у Фохта?

Ответ. Больше на квартире у Фохта я никогда не был.

Вопрос. А Рашеева?

Ответ. Не знаю.

Вопрос. Разве она вас в другой раз не приглашала на квартиру к Фохту?

Ответ. Нет, не приглашала.

Вопрос. А с Фохтом вы после этого встречались где-либо?

Ответ. Да, один раз зимой 1943 года я встретил Фохта около Литературного института Союза Совет. писателей, поздоровался, но ни в какой разговор в этот раз я с ним не вступал.

После этого я с Фохтом нигде и никогда не встречался.

Вопрос. Вы явно скрываете свою антисоветскую связь с Фохтом и участниками сборищ, устраиваемых на квартире последнего. Следствие еще вернется к этому вопросу и потребует от вас более подробных показаний.

8 апреля 1944 г.

Начало допроса в 10 час. 30 м.

Допрос окончен в 21 час. 50 м.

Вопрос. Как давно вам известен студент Литературного института Эльштейн?

Ответ. Эльштейна Генриха Натановича — студента-выпускника Литературного института ССП СССР я знаю с января 1943 года. Наше знакомство состоялось на квартире моей приятельницы Черняк Иссy — студентки 3-го курса филологического факультета МГУ. Придя однажды в январе 1943 года к ней в гости, я застал Эльштейна, с которым там и познакомился. У Черняк с Эльштейном в течение зимы 1943 года я встречался несколько раз. Позже, весной 1943 года, встретив Эльштейна в Литературном институте ССП, я узнал, что он из МГУ перешел на критическое отделение этого института. Затем с Эльштейном я стал встречаться значительно чаще. Это было или в Литературном институте, или у моих знакомых Черняк и Михальчи.

Летом 1943 года Эльштейн впервые был у меня на квартире. И с этого времени стал посещать меня довольно часто.

Вопрос. Что служило поводом для его посещений?

Ответ. Главным образом наши литературные беседы, а также привлекала его моя библиотека, которая не только для него имела притягательную силу. А так как книг на дом я никому не давал, то мои приятели, пользуясь библиотекой, очень часто проводили время у меня на квартире. В том числе был и Эльштейн.

Вопрос. Охарактеризуйте Эльштейна подробнее.

Ответ. Несмотря на то, что Эльштейн очень часто бывал у меня, я никогда у него на квартире не был. С его слов мне известно, что у него большая мать, что он с ней в неважных отношениях. В то же время о его прошлом я ничего не знаю.

Из моих наблюдений я убедился, что Эльштейн весьма способный человек, очень любит литературу, но учился в то же время неважно — видимо, потому, что не умеет организовать дисциплину своего труда.

Вопрос. Эльштейн часто присутствовал на ваших антисоветских сборищах?

Ответ. В то время, когда мною был организован литературный кружок и его сборища происходили в моей квартире, Эльштейн находился вне Москвы. Он был или в деревне, или на лесо-

заготовках и потому на этих сборищах не присутствовал. Однако, бывая у меня осенью 1943 года и зимой 1944 года довольно часто, он встречался с моими знакомыми и принимал участие вместе с ними в чтении и обсуждении разных наших литературных произведений.

Раза три-четыре Эльштейн в 1943 году присутствовал и принимал участие в обсуждении моего романа «Черновик чувств» антисоветского содержания.

Приблизительно в октябре 1943 года Эльштейн два раза читал у меня начало своего романа под названием «Одиннадцать сомнений».

Вопрос. Содержание этого романа антисоветское?

Ответ. Я считаю, что содержание романа «Одиннадцать сомнений», — в той части, насколько я с ним знаком, — не является антисоветским. Однако, должен отметить, что некоторые высказывания автора (Эльштейна), выдаваемые за марксистские, — таковыми на самом деле не являются и противоречат марксизму.

Вопрос. Эльштейн свои антисоветские взгляды вам высказывал?

Ответ. Нет, не высказывал.

Вопрос. А вы с ним своими антисоветскими взглядами делились?

Ответ. Да, и неоднократно.

Вопрос. В какой обстановке?

Ответ. Это было главным образом в присутствии Рашеевой, Лациса, Штейна, Ингала, Саппак и других моих знакомых — в моей квартире.

Вопрос. Воспроизведите конкретные факты ваших антисоветских высказываний в присутствии Эльштейна.

Ответ. Высказывая свои антисоветские взгляды по целому ряду вопросов в присутствии Эльштейна, я неоднократно говорил, что литература должна быть оторванной от действительности и не зависеть от нее, что действительность, мол, не влияет на литературу и литература в свою очередь не влияет на действительность.

Литература, как я утверждал, должна развиваться по своим собственным, свойственным ей законам, не зависимым от действительности и социальной среды.

В его же присутствии я неоднократно говорил, что все то, что сейчас происходит в советской литературе, противоречит чисто литературной необходимости и многое, что делают писатели К. Симонов, Алигер, Жаров, Уткин, Корнейчук, Ванда Василевская, Горбатов и другие, будто бы делают ненужное и вредное для литературы дело, исходя в своих произведениях не из «литературной необходимости», а из необходимости служения существующей действительности. В присутствии Г. Н. Эльштейна я

говорил также, что являюсь противником марксизма и придерживаюсь главным образом взглядов «Марбургской школы» Канта и Бергсона.

Вопрос. Как реагировал Эльштейн на эти и подобные им ваши антисоветские высказывания?

Ответ. Эльштейн во многом со мной не соглашался и любил подчеркивать, что является сторонником марксистских мировоззрений. В то же время, в процессе наших таких разговоров, Эльштейн в разное время высказывал свои взгляды, явно расходящиеся с его утверждениями.

Вопрос. В чем они выражались?

Ответ. Эльштейн в октябре-ноябре 1943 года говорил мне о том, что советская литература переживает очень тяжелый период и находится в состоянии художественного упадка. Что творчество многих советских писателей будто бы зависит скорее от меркантильных причин, чем от художественных замыслов. Что многие писатели пишут стихи и прозу не потому, что так диктовала им их художественная необходимость, а потому, что это оказалось во всех отношениях более выгодным.

Такие его взгляды особенно ярко выделились в то время, когда Эльштейн начал писать книгу под названием «Одиннадцать сомнений». Содержание этой книги таково, которое не только не служит на пользу существующей действительности, но наоборот, противоречит его взглядам и воззрениям, которые Эльштейн любил выдавать за чисто марксистские.

Вопрос. Он вам объяснял, почему именно назвал свое произведение «Одиннадцатью сомнениями»?

Ответ. Я этим вопросом интересовался и спрашивал Эльштейна. Прямого ответа он не дал, но заявил, что все будет понятно из последующего текста.

Вопрос. Что же вы поняли?

Ответ. Эльштейн прежде всего под «сомнениями», видимо, подразумевал отдельно взятую главу своего романа, так как он говорил, что роман будет состоять из одиннадцати таких глав, или, как он их называл, «сомнений». Всего он нам прочитал приблизительно три с половиной «сомнения». Во-первых, я обратил внимание на страшную композиционную сумбуриность, на сплошной поток всевозможных наблюдений, высказываний, миссий, — что это скорее всего можно отнести к жанру дневника, чем романа. Одновременно с этим я обратил внимание на то, что Эльштейн, несмотря на неоднократные заявления о своем полном согласии с существующей действительностью и марксистскими взглядами, допустил в этом романе ряд явных расхождений с марксистским учением.

Прежде всего, содержание романа «Одиннадцать сомнений» безусловно оторвано от существующей действительности. Эльштейн изображает в этом романе молодого человека-интели-

генга, страшного скептика и индивидуалиста, оторванного от современной действительности, недовольного окружающей действительностью, но в то же время будто бы являющегося сторонником этой действительности. По замыслу Эльштейна, герой его романа «Одиннадцать сомнений», желая написать книгу о современном молодом человеке, вдруг обнаруживает, что между его намерением и окружающей действительностью лежит для него непроходимая пропасть.

Герой романа, по замыслу Эльштейна, будто бы должен иметь хорошие намерения, а в реальности это получается не так. Получилось то, что его герой недоволен и тяготится существующей действительностью. Всех людей, например, окружающих его, он считает не чем иным, как подлецами.

Писателей и литературу он считает никуда негодными; что литература заставляет мыслить людей одинаково, а он хочет, чтобы они мыслили по-разному. Дальше он делает вывод, что будто бы весь мир плохо устроен, что человек в нем не может делать то, что ему хочется, и не может свободно проявлять свою волю.

Вопрос. Это также взгляды и самого Эльштейна?

Ответ. Поскольку во время наших разговоров Эльштейн высказывал свою точку зрения о том, что необходимо одновременное существование целого ряда самых разнообразных эстетических концепций, в том числе и явно враждебных марксизму, — следовательно, несмотря на подчеркивание того, что он стоит на марксистских позициях, Эльштейн, излагая антисоветские взгляды устами героя «Одиннадцати сомнений», тем самым, я считаю, — излагает и свои взгляды.

Вопрос. Эльштейн вам об этом так и говорил?

Ответ. Этот вывод я делаю на основании содержания его романа «Одиннадцать сомнений», а также на основании отдельных его антисоветских высказываний.

Вопрос. Только ли перечисленными фактами ограничивается антисоветская работа Эльштейна?

Ответ. Этого я не утверждаю. Я показал только то, что мне известно и что в состоянии был припомнить.

Вопрос. Связи Эльштейна вам известны?

Ответ. Эльштейн знает всех моих знакомых по Литературному институту.

Вопрос. Кто присутствовал при его антисоветских высказываниях?

Ответ. В разное время при этом присутствовали Рашеева Надежда Александровна, Лацис Александр, Черняк Исса, Штейн Борис, Михальчи Анна, Грановская Фаина.

Вопрос. Кому из писателей Эльштейн показывал свои «Одиннадцать сомнений»?

Ответ. Эльштейн говорил, что показывал свой роман дирек-

тору Литературного института — Фдосесву Гавриилу Сергесвичу, которому будто бы он понравился.

Показывал ли Эльштейн кому-либо из писателей, я не знаю.

Допрос прерван.

12 апреля 1944 г.

Начало допроса в 10 час. 30 м.

Допрос окончен в 17 час.

Вопрос. На какой почве произошло ваше сближение с писателем Шкловским В.Б.?

Ответ. В конце мая или в начале июня 1943 года я, как оканчивающий Литературный институт ССП СССР и готовящийся к защите дипломной работы, должен был получать литературную консультацию по своему дипломному роману «Черновик чувств» у одного из крупных писателей. Выбор в данном случае зависел целиком от меня, и я решил с этой целью обратиться к писателю Шкловскому Виктору Борисовичу. В этом выборе мною руководили два мотива. Первый — это то, что я собирался заниматься не только в области художественной литературы, но и в области теории литературы. И второе то, что мои воззрения в этот период более соответствовали воззрениям на литературу Шкловского, Тынянова и Эйхенбаума, нежели других писателей.

Вопрос. Все трое, как известно, были вожаками формализма в литературе. Вас эти их воззрения сближали?

Ответ. Шкловский, Тынянов и Эйхенбаум меня привлекали главным образом как наиболее ярко выраженные представители формализма в прошлом.

Из этих вожаков формализма я симпатизировал больше всего Шкловскому.

Вопрос. Но формализм уже давно был осужден марксистской критикой как враждебное существующей действительности и социалистическому реализму течение в литературе. Вас и это сближало?

Ответ. Да, формализм я считал наиболее приемлемым для себя течением в литературе и из этого исходил в своих взглядах и литературном творчестве.

Вопрос. В чем выражались эти взгляды?

Ответ. Во-первых, я исходил из формулы Канта о том, что будто бы прекрасное есть то, что правится и не зависит от смысла. И далее, придерживался взгляда на форму, как единственную реальность художественного произведения. Эти два обстоятельства были в моих убеждениях главенствующими. Я, вопреки социалистическому реализму, стал утверждать, что в художественном произведении форма должна преобладать над содержанием,

что художественное произведение строится не на единстве формы и содержания, а на включении содержания в ряд остальных компонентов, образующих художественное произведение (тема, идея, рифма, эпитет, метафора и т.д.). Считал, что искусство и общество развиваются независимо одно от другого, и подобно тому, как художественное произведение не зависит от внешних условий, точно так же, мол, и художественное произведение не влияет на окружающую среду. В связи с этим — также в противоположность социалистическому реализму — историю искусств я рассматривал как историю стилей, утверждая, что стиль есть категория только литературная, независимая от окружающей среды и действительности, и, что он периодически повторяется не в качестве отражения реальной действительности, а по закону реакции. Я утверждал далее, что будто бы искусство развивается вне зависимости от окружающей действительности и подразумевает абсолютное совершенство формы.

В связи с этим целый ряд советских писателей мною резко осуждались за подчинение ими своего творчества и службу окружающей действительности. При этом я говорил, что окружающая действительность не должна вмешиваться в творчество и они, мол, должны работать, исключительно подчиняясь законам, свойственным только литературе, независимым от окружающей среды и действительности. Комплекс подобных установок, глубоко уходящих своими корнями в формалистические взгляды на искусство, и порождали у меня те антисоветские взгляды на советскую литературу и действительность, которые я в кругу своих единомышленников пропагандировал и которые по коренным вопросам сближали меня с взглядами формалистов.

Эти мои взгляды прежде всего и послужили причиной тому, что консультантом для своей дипломной работы я избрал писателя Шкловского. Его произведения я читал почти все без исключения, и Шкловский был моим любимым писателем, хотя лично я с ним знаком не был.

Вопрос. Как состоялось ваше с ним знакомство?

Ответ. После предложения мне избрать для себя руководителей над дипломной работой по своему усмотрению, твердо решив остановить свой выбор на Шкловском, я обратился с этим вопросом к директору Литературного института проф. Федосееву и попросил прикрепить меня к Шкловскому. Через несколько дней, дав мне положительный ответ, он вручил одновременно с этим письмо, с которым велел обратиться непосредственно к Шкловскому. Поскольку перед тем, как запечатать конверт с письмом, Федосеев ознакомил меня с содержанием этого письма, я знал, что дирекция института обращалась к Шкловскому с просьбой взять на себя руководство и консультацию над моей дипломной работой — романом «Черновик чувств». В письме также указывалось, что эта консультация соответствующим образом будет оплачиваться.

Зайдя два раза с этим письмом на квартиру к Шкловскому и не застав оба раза его дома, я понял, что таким путем маловероятно, чтобы я его скоро встретил, решил просто написать ему записку и просить, чтобы он принял меня по личному делу. Эту записку я оставил у вахтера при входе в Клуб писателей, надеясь, что это как-то ускорит встречу. Через несколько дней, находясь в Клубе писателей, я совершенно случайно встретился с Шкловским, который в это время как раз читал мою записку, вероятно, переданную ему незадолго перед этим. Я спросил у Шкловского разрешения встретиться с ним. Он предложил мне зайти к нему через несколько дней на квартиру.

Вопрос. Вы это сделали?

Ответ. Да, я вскоре посетил его на квартире по Лаврушинскому пер., д. 17/19, кв.47.

Вопрос. Покажите об этом подробнее.

Ответ. Первое мое посещение Шкловского оказалось весьма кратким, так как у него вернулся с фронта сын и он просил меня зайти на следующий день. Правда, в этот раз я передал ему письмо от дирекции Литературного института относительно меня, и он, выразил согласие со мной работать в том случае, если его заинтересует мой роман «Черновик чувств». Он предложил мне принести его. Что я на следующий день и сделал. Шкловский обещал прочесть его, дать свой отзыв, внести соответствующие коррективы, а также указать дальнейший план работы над романом.

В этот раз Шкловский просил меня позвонить ему через несколько дней, что я и сделал. Но роман им прочитан еще не был и опять он просил позвонить через несколько дней. Я позвонил, но в этот раз «Черновик чувств» по-прежнему им прочитан еще не был. Наконец, в третий раз, когда я ему позвонил, оказалось, что роман он прочитал и в разговоре по телефону Шкловский сообщил мне ряд своих соображений касательно романа. Однако ввиду того, что по телефону всего сообщить было нельзя, он назначил мне свидание на другой день у себя дома.

На другой день, явившись к Шкловскому, я захватил с собой второй экземпляр романа «Черновик чувств», аналогичный тому, какой был в это время у него. Перед тем, как начать работу над романом, мы договорились относительно технического оформления нашей работы. Была заведена ведомость, где Шкловский расписывался после каждой консультации. Затем мы перешли к работе над текстом романа.

Вопрос. Как долго она продолжалась?

Ответ. В течение полутора месяцев Шкловский дал мне, примерно, десять консультаций.

Вопрос. Как протекали эти консультации?

Ответ. Во время этих консультаций работа над «Черновиком чувств» как над дипломным романом, т.е. исправление текста — отодвинулась на второй план. И главной темой наших бесед, ко-

торые затем превратились в споры, стали вопросы теории литературы. Эти споры оказались для меня неожиданными. Во-первых, потому, что отличие формализма от «необарокко» оказалось более значительным, чем я мог предположить; а во-вторых, потому, что я не предполагал, что Шкловский, в прошлом идеолог формализма, сам мне будет доказывать неправильность многих своих прежних взглядов. Хотя отдельные воззрения из области формализма у него и оставались.

Когда Шкловскому стала ясна моя концепция о «необарокко», он мне сказал, что «все это очень печально и главным образом потому, что вы переплюнули самых оголтелых формалистов. И что я (Шкловский) никогда не позволял себе таких дикостей, какие позволили вы».

Вопрос. Известно, что Шкловский враждебно настроен к существующей действительности и длительное время проводил антисоветскую работу. Известно также, что с определенного периода ваши отношения с ним имели такой же характер.

На очередном допросе предлагаем приступить к откровенным и правдивым показаниям об этом.

Допрос прерван.

17 апреля 1944 г.

Начало допроса в 12 час. 30 м.

Допрос окончен в 17 час. 10 м.

Вопрос. Назовите близкие связи вашего отца.

Ответ. Из числа близких знакомых моего отца — Белинкова Виктора Лазаревича — я могу назвать только Жагерновского и Матлина. Этих лиц я видел приходившими к моему отцу и находившимися с ним в приятельских отношениях.

Вопрос. Кто такой Жагерновский?

Ответ. Жагерновский Семен Борисович работает в качестве начальника одного из отделов Наркомата легкой промышленности РСФСР.

Вопрос. Как часто Жагерновский посещал вашего отца на дому?

Ответ. За период Отчественной войны Жагерновский был у моего отца не более трех раз.

Вопрос. На какой почве они знакомы?

Ответ. Исключительно на служебной почве.

Вопрос. Что вам известно о Жагерновском?

Ответ. Никаких подробностей о нем мне не известно. Раза два мне с ним приходилось встречаться в гор. Сызрани, в период эвакуации.

Вопрос. Покажите о Матлине.

Ответ. Матлин Иосиф Зиновьевич, также сотрудник Нарком-

леглома РСФСР. Он у нас бывал несколько чаще Жагерновского. Познакомился я с ним в поезде, по дороге в Сызрань.

Вопрос. Как часто Матлин бывал у вашего отца?

Ответ. Матлин был у моего отца приблизительно раз пять. Все эти посещения носили буквально минутный характер, за исключением одного раза, когда мой отец был болен и Матлин приходил с какими-то наркоматскими делами.

Вопрос. Из ваших показаний можно понять, что отец у вас совершенно ни с кем не общался. Так ли это?

Ответ. Кроме названных Матлина и Жагерновского никого из знакомых отца я не знаю.

Вопрос. Неправда. Известно, что связи вашего отца далеко не ограничиваются только названными двумя человеками. Вы и в этом вопросе совершенно не откровенны и не желаете показывать всей правды.

Допрос прерван.

5 мая 1944 г.

Начало допроса в 22 час.

Допрос окончен в 2 час. 30 м.

Вопрос. Вы все еще не приступили к откровенным и правдивым показаниям и до сих пор скрываете от следствия основные факты своей злобной антисоветской агитации. Равным образом, в течение длительного времени, вы всячески пытаетесь скрыть вашу организованную вражескую работу. Намерены ли вы прекратить дальнейшее бесполезное заперательство и показывать правду?

Ответ. Я до сих пор показывал правду и намерения что-либо скрывать не имею. Однако показать о своей организованной антисоветской работе я не могу, так как таковую не проводил.

Вопрос. Вы по-прежнему не откровенны и пытаетесь скрывать факты своей антисоветской работы. Учтите, что из этого у вас ничего не выйдет и вы придете к выводу о необходимости показывать все начистоту.

Допрос прерван.

13 мая 1944 г.

Начало допроса в 12 час.

Допрос окончен в 17 час. 10 м.

Вопрос. Являясь резко враждебно настроенным к коммунистической партии и советской власти, среди своего окружения вы в течение длительного времени проводили антисоветскую работу. Между тем, на следствии, в своих показаниях вы до сих пор еще пытаетесь отделаться буквально пустяками. Предлагаем пре-

кратить бесполезное запирательство и показывать о конкретных фактах вашей вражеской работы.

Ответ. Враждебно настроенным к коммунистической партии и советской власти я никогда не был и показывать об этом ничего не могу. На предыдущих допросах о фактах своей антисоветской работы я уже показывал. В частности, я показал, что моя антисоветская работа выражалась в том, что я написал ряд произведений антисоветского содержания, которые распространял в кругу своих знакомых. Одновременно с этим, в кругу тех же своих знакомых я вел антисоветские разговоры. В своих антисоветских высказываниях я утверждал, что в Советском Союзе, в противоположность буржуазно-демократическим странам, якобы отсутствует свобода слова, печати. Касаясь советской литературы, я доказывал, что она идет по неправильному пути, называемому социалистическим реализмом, что такового, дескать, не существует как учения, а он, мол, является «нелепой выдумкой Горького».

Считая себя противником философии марксизма-ленинизма, я утверждал, что она для меня неприемлема, что марксистская формула «бытие определяет сознание» совершенно не правильна, так же как я не считал для себя приемлемой и формулу философов-идеалистов, где сознание является приоритетом над бытием. Я считал, что нужно к философии марксизма внести коренные поправки, в виде принципов учения об условных рефlekсах.

Здесь я доказывал, что решение целого ряда философских вопросов должно протекать не только с помощью исторических и социально-экономических факторов, но и с помощью физиологических категорий, что, например, на формирование взглядов и убеждений человека влияет не только и не столько окружающая среда, а в большей мере на это влияет наличие врожденных задатков у индивидуума.

Вопрос. Вы по-прежнему пытаетесь отделаться частичными показаниями о своей вражеской работе и упорно скрываете факты своей антисоветской работы, направленной к подрыву и ослаблению Советской власти. Известно, повторяем, что вы были явным противником существующей в СССР политической системы. Однако об этом здесь до сих пор ничего еще не показываете. Предлагаем показывать правду.

Ответ. Враждебно настроенным к Советской власти я не был и об этом никогда таких взглядов не высказывал. Я клеветнически заявлял, что в Советском Союзе не выполняются принципы демократизма, изложенные в Конституции, что у нас отсутствует свобода слова, печати. Но никогда не говорил, что являюсь противником существующего в СССР строя.

Вопрос. Неправда. Следствию известно, что о своей враждебности к Советской власти вы говорили систематически и разным лицам. Предлагаем показывать об этом.

Ответ. Об этом я никому подобных взглядов не высказывал,

и таких людей, которым бы я говорил о своей враждебности к Советской власти, быть не может.

Вопрос. Вам предъявляется выдержка из показаний арестованного Эльштейна Генриха Натановича, где сказано следующее: «Белинков Аркадий резко антисоветски настроенный человек. Он неоднократно подчеркивал, что является противником Советской власти и вообще всего, связанного с принципами социализма и коммунизма. Белинков не признавал философию марксизма-ленинизма...» Как видите, вы достаточно изобличаетесь в том, что показываете здесь явную неправду. Намерены ли вы приступить к откровенным и правдивым показаниям?

Ответ. Я не отрицаю, что неоднократно и не одному Эльштейну говорил о том, что при Советской власти меня не удовлетворяет вопрос о демократизме, был решительным противником философии марксизма-ленинизма, отрицал коллективизм и стоял на позициях индивидуализма. Однако я никогда не говорил, что являюсь противником Советской власти, и в этой части Эльштейн показывает неправильно.

Вопрос. Какой смысл Эльштейну показывать о вас неправильно?

Ответ. Этого я не знаю. Но причин к этому у Эльштейна, на мой взгляд, быть не могло. Взаимоотношения у меня с ним были совершенно нормальные. Я говорил Эльштейну, что являюсь противником диктатуры пролетариата, что Советская власть породила отсутствие демократических свобод. Больше я ему ничего не говорил, если не считать моих высказываний и взглядов на философию марксизма-ленинизма.

Вопрос. Вы опять пытаетесь изворачиваться и не показываете правду до конца. Учтите, что из этого у вас ничего не выйдет.

Допрос прерван.

30 мая 1944 г.

Начало допроса в 13 час. 10 м.

Вопрос. В какой мере ваш отец был в курсе вашей вражеской работы?

Ответ. Моему отцу — Белинкову Виктору Лазаревичу — известно содержание моего антисоветского стихотворения «Русь 1941 года». Ему также было известно содержание новеллы под названием «Другая женщина» — ее я сам читал ему. Он знал также, что я написал роман «Черновик чувств», но его он не читал. Таким образом мой отец с моих слов знаком с отрывком из стихотворения «Комментарий к заграничной визе», где сказано: «Мы тайно живем в России, с какими-то заграничными паспортами, выданными Обществом друзей Советского Союза»... Больше о фактах моей антисоветской работы отцу ничего не известно.

Вопрос. Так ли это?

Ответ. Повторяю, что, кроме перечисленных фактов моей антисоветской работы, отцу больше ничего не известно.

Вопрос. Как реагировал ваш отец на наличие у вас резких антисоветских взглядов?

Ответ. Он решительно возражал против таких моих взглядов.

Вопрос. В чем выражалась его «решительность» в данном случае?

Ответ. Он мне говорил, что я не прав в своих антисоветских взглядах.

Вопрос. Вы говорите неправду. Следствию известно, что дело обстояло несколько иначе, чем вы об этом показываете. Но к этому мы еще вернемся, а сейчас скажите: отец ваш знал, что вы организовали антисоветский кружок?

Ответ. Он об этом ничего не знал.

Вопрос. Вы и здесь пытаетесь уклониться от правдивого ответа. Предлагаем показывать правду.

Ответ. Я показываю правду и повторяю, что отец о содержании кружка, созданного мною летом 1943 года, ничего не знал. Должен также сказать, что кружок антисоветского направления не имел.

Вопрос. Вы по-прежнему показываете явную неправду и скрываете неоспоримые факты вашей враждебной работы.

Допрос прерван в 16 час. 30 м.

7 июня 1944 г.

Начало допроса в 12 час. 50 м.

Допрос окончен в 16 час.

Вопрос. Перечислите написанные вами в разное время литературные произведения, носившие антисоветский характер.

Ответ. За период с лета 1942 года по декабрь 1943 года мною были написаны литературные произведения антисоветского содержания следующие: роман «Черновик чувств», новелла «Другая женщина», стихотворения: «Комментарий к заграничной визе», «Русь, октябрь 1941 года».

Вопрос. Ограничивается ли перечень ваших антисоветских произведений только теми, которые вы назвали выше?

Ответ. К числу моих произведений антисоветского содержания надо отнести стихотворение «Пролог».

Вопрос. Когда вами было написано стихотворение «Пролог»?

Ответ. Это стихотворение мною было написано приблизительно в ноябре-декабре 1941 года. Написано оно было мною по всей вероятности во время пребывания в гор. Сызрани или в Куйбышевс. Но скорее всего это было в Сызрани, так как в Куйбышев я прибыл во второй половине декабря 1941 года.

Вопрос. Значит, ваше утверждение о том, что антисоветские произведения были вами написаны будто бы за период с лета 1942 года по декабрь 1943 года, не соответствует действительности?

Ответ. Да, надо признать, что здесь я показал неправильно. Правда, я имел в виду то обстоятельство, что с лета 1942 года антисоветские стихи и прозу я стал писать систематически, а стихотворение «Пролог», хотя оно и антисоветского содержания, но написано было значительно раньше остальных моих подобных вещей, и я о нем просто забыл.

Вопрос. Каким образом вы распространяли содержание ваших антисоветских произведений?

Ответ. Зимой 1942 года «Черновик чувств» я читал на квартире у Рашеевой Надежды Александровны. Присутствовала она одна. Новеллу «Другая женщина» я читал Марианне Рысс у нее на квартире. Что же касается чтения всех вместе взятых моих произведений антисоветского содержания, то это происходило главным образом у меня на квартире. В разное время у себя на дому я читал многим своим знакомым эти произведения. Кроме того, давал часть антисоветских своих произведений читать своим знакомым к ним на дом. «Черновик чувств» по крайней мере читали или слушали мое чтение несколько десятков моих знакомых.

Вопрос. Известно, что свои антисоветские произведения вы пытались протаскивать и в большую аудиторию, в частности на литературных вечерах. Почему вы об этом умалчиваете?

Ответ. Нигде, кроме указанных выше мест, я своих антисоветских произведений не читал. Тем более этого не было на каких бы то ни было литературных вечерах.

На литературных вечерах я со своими произведениями выступал только один раз.

Вопрос. Когда это было?

Ответ. Я выступал со своими стихами на литературном вечере в Литературном институте ССП СССР. Было это приблизительно в августе 1942 года. Тогда я был в числе организаторов этого литературного вечера.

Вопрос. Кто выступал на этом вечере со своими произведениями?

Ответ. Со своими литературными произведениями выступали студенты нашего института. В числе выступавших со своими стихами или прозой были: Воркунова, Куняев, Ингал, Рувунов, Чернецкий и другие, которых я сейчас не помню.

Вопрос. Что вы читали из своих произведений тогда?

Ответ. Я читал стихи: «Русь, октябрь 1941 года», «Рим и варвары».

Вопрос. Вы опять противоречите сами себе. До этого вы показали, что на литературных вечерах своих антисоветских произведений не читали. Сейчас показываете, что читали стихотворение «Русь, октябрь 1941 года», являющееся резко антисоветским по своему содержанию. Намерены ли вы наконец показывать правду?

Ответ. Читая на литературном вечере свое стихотворение «Русь, октябрь 1941 года», я концовку в этом стихотворении вы-

бросил и заменил каким-то другим содержанием. Стихотворение получилось совершенно иное, и поэтому о нем я не указал, как об антисоветском.

Вопрос. Известно, что ваши стихи были подвергнуты на этом вечере резкой критике со стороны ряда выступавших слушателей. Почему вы об этом ничего не говорите?

Ответ. Я не помню, чтобы кто-либо выступал тогда с критикой моих стихов.

Вопрос. Скажите, разбору каких произведений было посвящено, например, выступление Беркина Семена?

Ответ. Фамилию Беркина я слышал. Насколько мне известно, это литературный критик. Но выступал ли Беркин тогда на литературном вечере, я просто не помню.

Вопрос. Вы по-прежнему, когда дело касается конкретных фактов вашей вражеской работы, пытаетесь уклониться от правдивых ответов.

Допрос прерван.

14 июня 1944 г.

Начало допроса в 10 час. 30 м.

Допрос окончен в 16 час. 30 м.

Вопрос. Покажите об известных вам фактах антисоветских высказываний Рашеевой Надежды Александровны?

Ответ. Антисоветских высказываний от Рашеевой Надежды Александровны мне слышать не приходилось. Ее в данном случае роль заключалась в том, что Рашеева знает о целом ряде моих антисоветских высказываний, с содержанием которых она в ряде случаев соглашалась.

Вопрос. Воспроизведите содержание ваших антисоветских высказываний, проводившихся в присутствии Рашеевой.

Ответ. Зимой 1942—43 года, после возвращения Рашеевой из эвакуации, была она в Свердловске, я ей говорил о том, что в Советском Союзе якобы отсутствует свобода печати, свобода высказываний, что европейские государства будто бы в этом отношении имеют преимущество с нашим, что взгляды мои ничего общего с марксизмом не имеют, что марксизм устарел и нуждается в целом ряде коррективов [так в тексте. — *Сост.*], что роль, которую сыграл в истории человечества марксизм, никак не выше роли, которую сыграли капитализм, гегельянство, Марбургская школа и другие философские учения.

Далее я говорил, что эстетики, как и самого социалистического реализма, не существует и что это, дескать, «пелесая выдумка» Горького, что люди, исповедывающие эту систему, в большинстве случаев бездарности и преследующие в данном случае исключительно меркантильные цели. Говорил также, что эти бездарности оказались полезными Советскому государству в силу

того, что у нас искусству приписывается не свойственное ему качество влияния на общество, и благодаря этому обстоятельству, — продолжал я, — ряд истинно талантливых писателей отодвигается на вторые места.

Больше своих высказываний антисоветского порядка я не помню.

Вопрос. Известно, что ваши антисоветские высказывания в присутствии Рашеевой далеко не ограничиваются теми фактами, которые вы воспроизвели выше. Предлагаем показывать откровенно.

Ответ. В присутствии Рашеевой никаких иных антисоветских высказываний, кроме тех, которые я уже назвал, я не допускал.

Вопрос. Неправда. Следствие располагает неоспоримыми данными о том, что антисоветские высказывания ваши в присутствии и в разговорах с Рашеевой производились систематически. Эти ваши антисоветские высказывания далеко не ограничиваются только теми фактами, которые вы назвали здесь. Еще раз предлагаем называть все, что было.

Ответ. Кроме названных мною фактов, я больше других своих высказываний антисоветского характера в присутствии Рашеевой не помню.

Вопрос. Напомним вам отдельные факты. В своих показаниях от 10 июня 1944 года Рашеева относительно ваших антисоветских взглядов говорит следующее: «Белинков был резко враждебно настроен к существующей действительности. В своих антисоветских высказываниях он возводил клевету по любым фактам современности... Прежде всего чувствовалось во всем его какое-то крайнее недовольство и раздражение. Это касалось в большинстве случаев вопросов, связанных с литературой или вокруг литературы...» Правильно ли показывает Рашеева?

Ответ. Мои антисоветские взгляды выражались в том, что я был противником существующего строя в той части, что считал буржуазно-демократический строй с его свободами слова, печати более приемлемым для себя, чем то же самое при Советской власти. Ибо в последнем случае я считал и говорил об этом Рашеевой, что в нашем государстве сейчас отсутствует свобода слова и печати. Резко враждебно относился также к мероприятиям партии и правительства в вопросах литературы. Что же касается, как показывает Рашеева, относительно моей клеветы по любым фактам современности, я должен сказать, что в разговорах я никогда не касался и не возводил клеветы на вопросы, связанные с другими областями народного хозяйства страны. Я никогда не касался в разговорах вопросов или фактов из области промышленности, сельского хозяйства и др.

Вопрос. Рашеева показала далее: «Весной 1941 года мы с Белинковым как-то разговорились о перспективах нашей литературы. Он заявил тогда, что в условиях сегодняшней действительности перспектив на то, что литература будет развиваться и про-

грессировать, нет. Объяснял он это тем, что в нашей стране будто бы нет свободы слова, печати, что писать то, что ты намерен и желаешь писать — нельзя. Я ему напомнила содержание классической работы Ленина «О партийности в литературе»... Белинков клеветнически заявил, что взгляды, изложенные Лениным, будто бы стесняют свободу слова, печати и усиливают утилитаризацию литературы...» А эти разговоры у вас с Рашеевой были?

Ответ. Да, здесь Рашеева показывает правильно. Разговор такой с ней у меня был и такие высказывания с моей стороны также были. Только относительно статьи Ленина у меня серьезные сомнения в том, что говорила ли мне о ней Рашеева. Другое дело, в присутствии Рашеевой на заседании комитета ВЛКСМ в Литературном институте в сентябре 1943 года разбирался вопрос о моих взглядах и поведении и тогда зам. директора Литинститута Ширина заявила, что я не знаком с работой Ленина «О партийности в литературе». Тогда я в своем выступлении заявил, что высказывания Ленина в этой его работе для меня неприемлемы. Мое такое выступление было после того, как на заседании комитета ВЛКСМ мне зачитали отдельные выдержки из высказываний Ленина в этой его работе и совершенно определенно спросили, как я смотрю на это. Вот тогда я и высказал свой взгляд в такой форме.

Вопрос. Зачитываем вам выдержку из показаний свидетеля Рашеевой следующего содержания: «Касаясь вопроса о жизненном уровне населения в нашей стране, Белинков мне говорил, что у нас будто бы хорошо живут и вполне удовлетворены своим положением только одни верхи.

Другой раз он высказал свою мысль в том направлении, что в Советском Союзе диктатура, которая не дает свободы в литературе писателям такого типа, как он, и у него, дескать, такова уж судьба, что его произведения никогда не напечатают. Чувствовалось, что советская действительность его не устраивает, и говоря о том, что ему со своими взглядами не удастся пробить себе дорогу в литературе, он не скрывал при этом свое резкое раздражение и озлобление».

Когда вы об этом разговаривали с Рашеевой?

Ответ. Разговор относительно того, что будто бы в Советском Союзе диктатура не дает свободы писателям подобно мне, я вел с Рашеевой зимой 1943 года или у меня или у нее на квартире. В этой части она показывает совершенно правильно. Что же касается вопроса о жизненном уровне населения в нашей стране и о том, что своим положением будто бы удовлетворены только верхи, я ей не говорил. Возможно, я говорил ей относительно условий жизни крупных писателей или артистов. Но об этом я сейчас ничего не помню.

Вопрос. Но ваши клеветнические высказывания о советской литературе вовсе не ограничивались только этими фактами. Рашеевой Н. А., как она показала далее, — вы говорили: «...раньше

у нас была литература довоенная, сейчас военная, а впредь будет послевоенная, и, следовательно, никаких изменений в литературной политике при существующей действительности не будет. "Это заводит, — говорил Белинков, — нас, литераторов, в тупик, на будущее надежд никаких нет. Мы никогда не напишем тех книг, какие бы нам хотелось".

Однажды, касаясь такой же темы, Белинков заявил: "Если бы я родился во Франции, я был бы счастлив..."

В творчестве Белинкова чувствовалось явное тяготение к «формализму». Он, чуть ли не захлебываясь, рассказывал мне о том, что его роман «Черновик чувств» понравился писателю Шкловскому, которому он и намерен посвятить этот роман...» Правильно показывает Рашеева?

Ответ. В данном случае Рашеева показывает все правильно. Такие клеветнические высказывания мною действительно в ее присутствии были. Относительно того, что «Черновик чувств» я намеревался посвятить Шкловскому, она показывает несколько неточно, так как я не только намеревался это сделать, но и фактически «Черновик чувств» был посвящен Шкловскому. Что же касается моего желания родиться во Франции, то этого я никогда не говорил и Рашеева здесь показывает неправильно.

Вопрос. Какой смысл показывать, как вы говорите, неправду Рашеевой?

Ответ. Этого я не знаю.

Вопрос. Вы просто по-прежнему все еще не откровенны и пытаетесь скрыть факты вашей гнусной антисоветской агитации. Из этого у вас ничего не выйдет. Известно, что ваши антисоветские высказывания в период Отечественной войны имели еще более резко выраженный клеветнический характер. Предлагаем показывать об этом.

Ответ. О фактах своей антисоветской работы я ничего не скрываю и показываю правильно. Но я не могу показывать больше того, что за мной числится.

Вопрос. Подавляющее большинство фактов ваших антисоветских высказываний, воспроизведенных свидетелем Рашеевой, вами до сих пор скрывалось.

Между тем, свидетель Рашеева на допросе 10 июня 1944 года о других фактах ваших антисоветских высказываний показала: «Во время Отечественной войны Белинков говорил мне, что, дескать, "нет страны в мире, где правительство было бы так слепо к тому, что у нас происходит..." В 1941 году, например, в момент передвижений немецких войск к Смоленску, Белинков говорил мне: "Этого надо было ожидать, слишком много было всяких лозунгов..." Если ему бывало сделаешь замечание, что он напрасно огульно все ругает, он резко обрывал и говорил, что я ничего не понимаю, что я еще молода... и что у меня затуманены мозги. "Как вы можете чему-то радоваться, когда мы живем в такое трагичес-

кое время...” — говорил Белинков. “Мы дикари и не знаем ничего хорошего, что есть в Западной Европе...” “Я просто дальше вас вижу. Вы не задумываетесь о том, что творится в стране, о перспективах...” “Ни в одной стране литература так не утилизирована, как у нас...” “Взяточничества и казнокрадства больше, чем в нашей стране, нет нигде...” Иногда я говорила Белинкову: “Аркадий, вы не современный человек, ваши взгляды резко расходятся с современностью... Как же вы будете жить, что вы будете кушать?” Белинков отвечал: “От своих взглядов я никогда не откажусь...”» Как видите, свидетель Рашеева приводит совершенно конкретные факты ваших антисоветских высказываний. Намерены ли вы после этого приступить к откровенным показаниям?

Ответ. За исключением факта о том, что я говорил ей относительно будто бы трагического времени, в котором нам приходится жить — ничего из показаний в данном случае Рашеевой я не подтверждаю. Рашеевой подобного я никогда не говорил.

Вопрос. Вы лишний раз подчеркиваете свою неоткровенность и нежелание показывать правду. Следствие предупреждает, что из этого у вас ничего не выйдет, вы будете изобличены во лжи.

Допрос прерван.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

[выдержки, касающиеся преимущественно А. В. Белинкова]

По следственному делу № 7150 по обвинению **Белинкова** Аркадия Викторовича в преступлениях, предусмотренных ст. 58 п. 10 ч. 2. **Эльштейна** Генриха Натановича* в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58 п. 10 ч. 2 и 58 п. 11 УК РСФСР.

Проведенным по делу следствием установлено, что в 1942 году, сойдясь на основе общности антисоветских убеждений и разделяя давно отвергнутые антимарксистские взгляды формализма в области литературы, **Белинков** и **Эльштейн** по день ареста в кругу студентов Литературного института и МГУ стали пропагандировать антисоветские взгляды, возводить клевету на советскую действительность, на мероприятия ВКП(б) и советского правительства, протаскивать крайний индивидуализм и солипсизм, враждебные диктатуре пролетариата и социализму, отрыв литературы от социально-политической жизни общества, излагая это как в устной форме, так и в ряде своих литературных произведений.

Белинков, находясь под влиянием реакционных произведений русских и западно-европейских «формалистов», с 1940 года по день ареста в кругу своих знакомых стал пропагандировать враждебные марксизму-ленинизму концепции. За период Отечественной войны написал и у себя дома на пишущей машинке

* Генрих Эльштейн — впоследствии переименовавший фамилию на Горчаков — выпустил книгу, названную его лагерным номером «А-1-105». Иерусалим, 1995.

размпожал ряд стихотворений («Пролог», «Русь 1942 года», «Комментарии к заграничной визе» и др.), роман «Черновик чувств» и новеллу «Другая женщина», содержащие в себе гнусную клевету на советскую действительность.

В «Черновике чувств», а также в разговорах со своими единомышленниками, **Белинков** неоднократно заявлял, что он является сторонником буржуазно-демократического строя.

Следствием установлено также, что **Белинков** в 1942—43 году у себя на квартире систематически устраивал сборища, где студентам Литературного института и МГУ читал свои антисоветские произведения, распространял содержание придуманной им т. н. литературной «теории» под названием «необарокко», резко враждебной социалистическому реализму и марксистскому методу в литературе.

Допрошенные по существу предъявленного обвинения:

Белинков А. В. виновным себя признал полностью. Изобличается показаниями арестованного **Эльштейна Г.Н.**, очной ставкой с ним, показаниями свидетелей [перечислены имена], материалами литературно-критической экспертизы и вещественными доказательствами.*

На основании изложенного — обвиняются:

1. **Белинков** Аркадий Викторович, 1921 года рождения, уроженец гор. Москвы, еврей, гр-н СССР, в 1943 году исключен из ВЛКСМ, из семьи служащих, до ареста студент-дипломник Литературного института Союза советских писателей СССР,

в том, что:

С 1940 года по день ареста занимался антисоветской агитацией: писал и распространял литературные произведения антисоветского содержания, т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п. 10 ч. 2 УК РСФСР.**

...руководствуясь ст.208 УПК РСФСР и приказом НКВД СССР за № 001613 от 21 ноября 1941 года, дело № 7150 по обвинению **Белинкова** Аркадия Викторовича и **Эльштейна** Генриха Натановича направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР, предложив в отношении

Белинкова Аркадия Викторовича — меру уголовного наказания — восемь лет ИТЛ с конфискацией вещественных доказательств, изъятых при обыске.***

«Согласен»

Ст. следователь 3 Отд.. XI Отд. Упр. НКГБ СССР — Капитан Госбезопасности. (Подпись) Нач. 3 Отд. XI Отд. 2 Упр. НКГБ СССР — Майор Госбезопасности. (Подпись) Нач. XI Отдела 2 Упр. НКГБ СССР — Комиссар Госбезопасности. (Подпись)

* Далее об Эльштейне.

** То же.

*** То же

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34

Особого Совещания при Народном Комиссаре
Внутренних дел СССР

От 5 августа 1944

С л у ш а л и:

Дело № 7150/2-с управлен. НКГБ СССР по обвин. **Белинкова** Аркадия Викторовича, 1921 г.р. урож. гор. Москвы, еврей, гр. СССР, обвин. по ст. 58-10, ч. 2 УК РСФСР.

П о с т а н о в и л и:

Белинкова Аркадия Викторовича, за антисоветскую агитацию — заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на ВОСЕМЬ лет, считая срок с 30 января 1944 года.

Круглая печать Особого Совещания.

Нач. Секретариата Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних дел СССР.

(Подпись)

МИНИСТЕРСТВО
ЮСТИЦИИ РСФСР
Московский городской суд
№ 5 ПС — 197/63

5 июля 1963 г.*

СПРАВКА

Дело по обвинению **Белинкова** Аркадия Викторовича, до ареста студент-дипломник Литературного института Союза писателей СССР, пересмотрено Президиумом Московского городского суда 24 июня 1963 года.

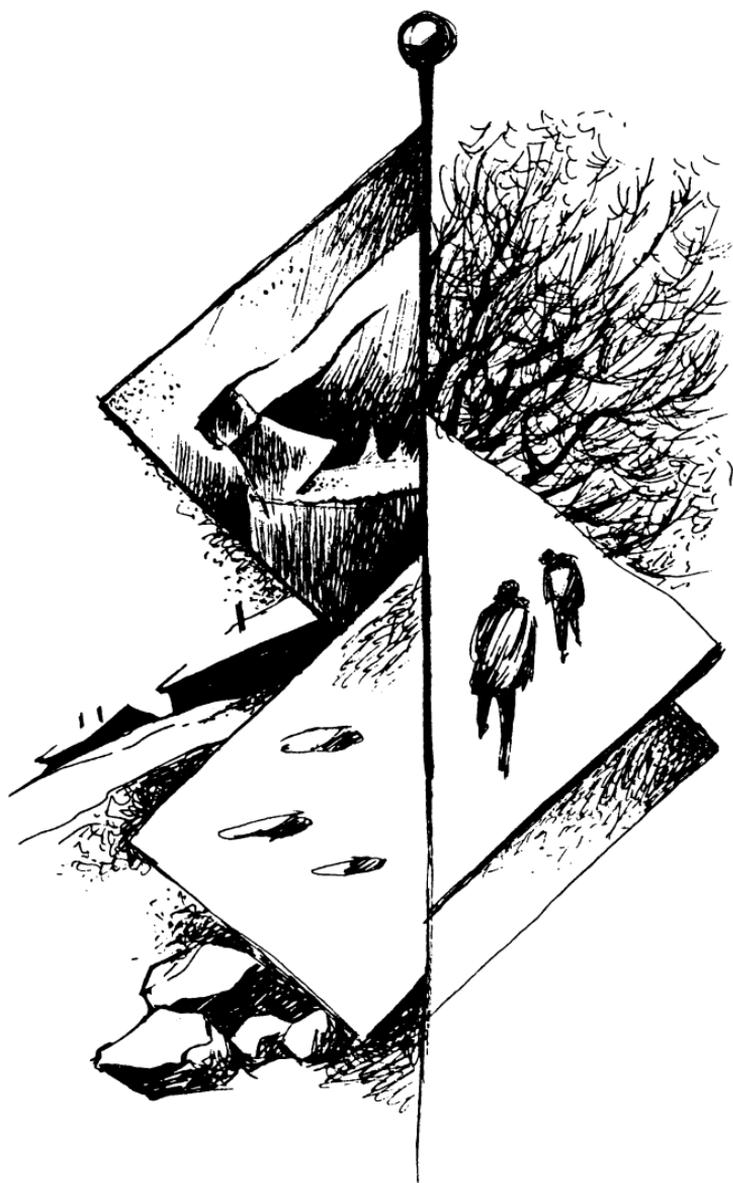
Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 5 августа 1944 года отменено, а дело в отношении **Белинкова** Аркадия Викторовича, 1921 года рождения прекращено за отсутствием состава преступления.

Зам. председателя
Московского городского суда

Подпись.

* Эту справку А. Белинков совершенно неожиданно получил по почте через 7 лет после освобождения. Вскоре выяснилось, что его одноделец Г. Эльштейн обращался в органы государственной безопасности, очевидно, в связи с пересмотром своего дела. Так как следственное дело 1944 года № 71/50 было заведено на обоих, то пересмотр дела коснулся и А. Белинкова.

Исправительно- Трудовой



Лагерные произведения

«Россия и Черт», «Роль труда», «Человечье мясо» — наброски будущих работ, черновики в подлинном смысле слова. Они представляют собой дважды пронумерованные (автором и следователем) листы бумаги, пожелтевшие и хрупкие от времени, исписанные лиловыми чернилами. Убористый почерк плотно заполняет всю площадь страницы.

Белинков тайно работал над названными вещами за год-полтора до истечения первого срока, который он заканчивал с трудом, страдая пороком сердца. Когда состояние его здоровья катастрофически ухудшилось, он, из опасения, что рукописи пропадут, доверился другому заключенному. Немедленно последовал донос, потом обыск... И начались допросы по следственному делу №57/52.

Произведения «Россия и Черт», «Роль труда» и «Человечье мясо» публикуются по лагерной рукописи. «Россия и Черт» впервые опубликовано (с сокращениями) в журнале «Время и мы», Нью-Йорк — М. — Иерусалим, 1997, №138. «Роль труда» публикуется впервые. «Человечье мясо» впервые опубликовано в журнале «Время и мы», 1996, №132.

Показания Белинкова и приговор по следственному делу № 57/52 печатаются по ксерокопиям из архива ФСБ. Первые опубликованы Г. Файманом: газета «Русская мысль», Париж, 1996, № 4123—4127.

После смерти Белинкова в 1989 году в порядке надзора состоялся пересмотр дела № 57/52. Теперь в рукописях антисоветского содержания не находили, а, по новой формулировке, в них содержалась «критика имевших место в период культа личности извращений демократических принципов социализма, необоснованных репрессий, идеологических извращений, обязательного изучения всеми генерального труда Сталина “История ВКП(б). Краткий курс”». И это тоже было далеко от правды.

Н. Б.

КНИГА ПЕРВАЯ

Россия и Черт

Глава 1

СКЕПСИС С СЕРЬЕЗНОЙ МОТИВИРОВКОЙ

1

Темная, с красными пятнами держава лежала в яме Земного шара. Дымные облака с багровыми брюхами клубились над громадным ее телом. По дну ямы, заросшему древними папоротниками и хвойными породами, топали коваными сапогами, и медный гул брел по чугушному чреву Земли.

По краям ямы густо стояли стражи, и зарево пожарищ кровавило железо, зажатое в их когтистых руках.

Облака дымного пара над державой пылали жадным пожаром. Это жгли в усобицах друг друга подданные державы, а в перерывы между усобицами горячим огнем жгли охотников глазеть завидующими глазами за края ямы и соблазняться чужим поганым грехом.

Из ямы плыл запах. Сытый и преисполненный тайны. От него щемило сердца державных монархов и подданных их, плодящихся обильно и шумно. Запах из ямы кружил голову идеей о незаслуженности владения исконными жителями ямы и соблазнял возможностью овладеть ими со всеми вытекающими из этого преимуществами. И с этой поры соблазн, плывший из ямы, мутил греховным помыслом голубую мечту о человеческом счастье и ковал черные и кривые, как зависть, мечи.

С Восхода обваливались в яму татары, топтали копытами диких кобыл хлеб и мутили воды медленных рек. С Заката обрушивались звенящие кольчугами и гремушками поляки, разбрызгивались по могучим просторам, жгли и рубили местных подданных, смеясь и ругаясь, учили изящным танцам и ошеломляющему вину Заката, и мерзли в ночи, в снегу, на ветру и морозе. Пылью клубились, вертясь и кривляясь, на желчных конях желтые печенег. Когтем и клювом выковыривали из ямы окровавленные куски мяса. Ухали пушками с севера норманны, трубили в трубы

и посыпали древней барабанной дробью хлипкие поля побоищ. И, наученные пожару и драке, подданные державы в яме снаряжали своих государей, благословляя их на великий пожар и драку. Шел по кровавой дороге на Восход царь державы, давя и удушая крамолу, и взял город на великой реке. По кровавой дороге на Закат шел другой царь, топча и травя измену, и поставил город на топком берегу, на склизкой земле в мутном тумане.

Густо стоявшие по краям ямы стражи изредка расступались, и в щель выползали [страница оборвана] подверженные соблазну чужого греха, и стражи смыкались за ними, звякнув железом. А иногда со свистом и гиканьем выскакивали государевы верноподданные, хлестая соседские спины нагайками, умыкая соседских самок и выковыривая когтями ухмыляющиеся хитрые камни из зраков вражьих икон.

Окрест ямы торговали, строили и воевали, изящными танцами испещряли стены дворцов, сочиняли краски для красоты храмов, и корабельщики привозили из неслыханных царств невиданные дива.

В яме было лучше. Это было ясно каждому верноподданному, и он учил этому своих детенышей. А который из плохих и неверных подданных не знал, что в яме лучше, того по указу соседа учили, начиная с мягких мест спины, приговаривая под свист ученья: «Люби нашу самую лучшую яму да знай: все прочее — ересь и грех». А после ученья пихали в сырую и теплую землю и, плюнув, втыкали в свежий бугор осиновый крест. А указавшему соседу, улыбаясь, выписывали пряники, злое вино и алтын денег. И тогда, веселый и сытый, он нестройно мотался по яме и славил хозяина и его ученье.

Ну, а который случаем выскакивал из ямы с ободранной стражами кожей или отбивался от царского посольства, подверженный поганым заморским соблазнам, тот врал охальную книгу, кричал лютые речи и звал, звал, звал с Заката, Восхода, юга и ссевера всяких народов Земли топтать копытами, лупить плстью и рвать ядром окаянную зверь-державу.

И только, когда с Запада попрыгали в яму солдаты многих и разных вер и паречий и когда они полегли на полях и дорогах державы от голода, неверья и ветра и разверстые тела их присыпало снегом, тогда в яме стали громко требовать воли, чистого воздуху и изящного танца. И один человек, всю жизнь вырывавшийся из ямы, сложил лучшую песнь [страница оборвана] во все века ее дремучей истории, и его убили и впредь стали убивать всякого, кто пел песню воле, а не яме-державе. И над ямой, булькая и клубясь, задымились самые густые облака, красным цветом, горящие огнем, полные горечи и соли.

А кругом ямы торговали, строили и воевали. И танцы становились темными и тайными, как склеванные воронами трупы. Это были лучшие танцы истории, потому что впервые их творцы

не стали повторять то, что уже сделано в Мироздании, но стали, как рожающие матери, населять вселенную своими созданиями.

Народы многих стран и разных вер и наречий, плодясь, обступали со всех сторон громадную яму Земли и под напором вечно немолчного Заката подступали к самому краю, громко требуя у самодержца и его верноподданных жизненного пространства, рынков сбыта и крупных концессий.

В яме было лучше. Главным недостатком ямы была нехватка цивилизации на душу населения. Так что потребления электричества, авиационных моторов и клозетов-автоматов почти вовсе не было, а все больше преобладало кресало, да топор, да сортир со сквозняками, дующими из дыр. Что же касается горького вина и всякого рода темных вещаний о счастливом будущем, то сего было за милую душу более чем достаточно. [Страница оборвана.]

Вокруг ямы на землях с воткнутыми в них трубами, крестами, соборами, университетами и противоречивыми концепциями заплясало, заколыхалось, заорало побоище. Под напором вечно немолчного Заката обступившие края ямы народы повалились в яму и стали топтать ее державную власть и подданных и опдавлять мозоли даже ее интеллигенции, самой самоотверженной и с самым плохим запахом во всем Мироздании. И когда стало ясно со всех концов Земли всякому, имевшему глаза, всякому, имевшему уши, всякому, имевшему мозг и сердце, всем, всем, всем стало ясно, что пришел яме благословенный, веками жданный конец, капут, финиш, каюк, хана, крышка, что яма сыграла в ящик, врезала дубаря, пошла ко дну и приказала долго жить, и тогда пришла шайка беглых каторжников и атаман шайки заграбастал всю яму с ее живностью, детенышами живности, рыбой, хлебом, зверем в лесах, изящными танцами в музеях, солдатами в окопах, проститутками и интеллигентами в борделях и университетах. Именно с этой точки как раз идет начало гибели мира и последних вздрагиваний околевающего человечества.

В яму, спотыкаясь, спускались солдаты 14 держав, обладавших самыми учеными тезисами, и больше не возвращались на поверхность к уровню моря, убитые каторжниками. А кто возвращался, требовал, наученный каторжниками, у себя дома, чтоб тоже делали такую яму.

Теперь в яме стало еще лучше. Единственным недостатком ямы было то, что убивали всех, кто думал не так, как все, то есть как вождь и хозяин державы, олицетворивший лучшие стороны народной души, и еще потому, что разница в жизненном уровне убиваемых и убивавших была столь кричащей, что этого противоречия не могли замазать даже самые лихие ораторы, и поэтому, соблазненные богатой наживой, бывшие подданные самодержавия толпами лезли в убийцы, и особенно те, кому в прошлые страшные времена не давали разгуляться. Убитых за

непомерным множеством перестали предавать земле, и оттого по всей державе шел нестерпимый смрад и, смешиваясь с речами лихих ораторов, отравлял окрестность за краями державы и вызывал у припоживающихся многие соблазны, лучшим из которых было делать у себя дома такую же яму.

Перепуганные соседи начали заигрывать и торговать с ямой. А из ямы стали привередничая покрикивать: «Поддай то, поддай это, а не то напущу такого смраду, что произойдет внутренний взрыв и тогда вам капут!» И перепуганные соседи просили не беспокоиться и все делали в самом лучшем виде-с.

А в яме беглые каторжники, проститутки из бардаков и интеллигенция из университетов дружно встали у кормила власти и под ветром, дующим из глубин народных хайл и душ, повели свой корабль в бесклассовое общество, и пел им песню великий певец, плохо знающий, что поет он, но певший следом за своим учителем лучше всех соотечественников, а когда он замешкался, став думать над тем, кому и что он поет, его убили и впредь еще жесточе стали убивать всякого, кто пел песню воле, а не яме-державе и ее каторжникам.

Дошли с голодухи, от вши, от пожара, недорода и труса, дувших в ветрило нового корабля. Издыхая, хрипели: «За свое лучшее будущее подышаем. Будет и на нашей улице праздник! Отказываем его свободным потомкам! Да здравствует бесклассовое общество!»

С большим опозданием поняв, что с ними не шутки шутят, авторы изящных танцев и противоречивых концепций придумали ясную и мудрую идею: завалить яму, ибо каждый из них, стоя на родной земле, сам каждую минуту мог завалиться в яму, вырытую у него под ногами своими же подданными, охотниками заглядывать в чужую яму и соблазняться чужим поганым грехом.

Тучи людей, верящих авторам мудрой идеи, таща за собой железо, попрыгали в яму, крича и стреляя. Они пухли с голода, кровью своей поили вошь, костенели на блестящем от крепости льду. Умирая, переставали верить в мудрую идею, приведшую их в яму, забывали о ненавистной идее врага и ничего не хотели, кроме хлеба, сна и тепла. И тогда древней дорогой, по их присыпанным снегом трупам, топали на Закат защитники ямы и, добежав до края родимой ямы, понатужившись, перемахнули через край и покатались, поползли, полились по теплой и влажной чужой земле, окаянные, черные и кривые.

А за океаном в тугом тумане вставало теплое полушарие Новой Земли.

Шло время. Шли люди. Шли ветры. Теплые пространства Планеты тяжело дышали. Вспыхивали в разных концах Мироздания сполохи, выстрелы и салюты. Дымились пожарища тайных войн в империях, стоящих на краю гибели, у края ямы. И все,

кто верил в то, что судьбы народов мира исправимы, в то, что судьбы народов счастливы и светлы, смотрели с надеждой на теплое полушарие Новой Земли, паплывающее из тумана.

Но в яме сосредоточенно и сердито строили могучие черные заводы, целили жерла во все пространства Земли. В каменной, тяжелой ее столице завывали могучую славу поэты. Ученые учили ее истории — лучшей во всем Мироздании. А вождь державы со своими историками, поэтами, физиками, разъявленными атом, бактериологами, собравшими в пузырьки чуму, со своими министрами, проститутками и идеологами, доказавшими всем! всем! всем! что лучшего ученья сроду не было во всем мире, ковал лопаты для рытья ям по всем континентам вселенной.

Черная глыба столицы, упершись чугунными сваями в чрево Земли, молчала, готовая к убийству и казни. Ветер рванул сизый апрельский рассвет и понес по корявым кровлям, цепляя за карнизы, крючья и фонари, крики улиц, свист и скрежет железа. Бесстыжий флаг бормотал на ветру. В дырах тумана вспыхивал штык. И над камнем и чугуном российской столицы, как пузырь, лопнул выстрел, и в то же мгновение в глубокой луже на заваленном тюками тумана Тверском бульваре что-то забулькало, закашляло, закружилось и вдруг из непомерно раздувшегося пузыря в центре лужи выскочил испуганный скверно складывающейся историей Мироздания среднего роста Черт. Он неподвижно постоял несколько секунд посреди лужи, потом удивленно тряхнул головой, сокрушенно хрюкнул, выскочил из лужи и затрусил по тротуару, придерживаясь густой предрассветной тени домов.

2

Он поспешно шел, опасливо прислушиваясь к прерывистому дыханию предрассветного города. Свистящую апрельскую воду гнал ветер. Черные и блестящие, как кольца, машины бесшумно скользили в тумане. Он остановился перед телефоном-автоматом, оглянулся по сторонам и вошел в будку. Звякнули стекла. Он испуганно вздрогнул. Порывшись в кармане широкого черного пальто, он вытащил тонкую стальную проволоку, просунул ее в отверстие для монеты и подергал. Набирая номер, он поспатривал на улицу и нагнулся так низко к аппарату, что [нрзб. — *Состр.*] закрыло диск.

— Я, да, да, я, — кашлянув, тихо сказал он. — Все благополучно. Да. Сверим часы. 4.42. Приземлился в 4.28. Не знаю. Такого задания я не получал. Вот именно. Не знаю. Нет, это не входит в 3 % авторских. Пожалуйста. Можете спросить. Сегодня в 5.10. Да. Не знаю. Да. Кто принял телефонограмму? Хорошо. Все.

Он вышел из будки и внимательно осмотрел улицу. Пройдя

несколько шагов, он вдруг остановился, пощупал карман, что-то проворчал, потом торопливо вернулся, выдернул из автомата завязшую проволоку и быстро зашагал дальше. На Арбате он свернул направо, пересек перекресток, шарахнулся от вырвавшейся из-за угла машины и засеменял по Поварской.

Подойдя к зданию афганского посольства, он внимательно огляделся по сторонам, посмотрел на часы, постоял с минуту, нетерпеливо и часто затягиваясь, потом бросил окурок и, встав под четвертое справа окно бельэтажа, два раза негромко хрюкнул. Он подождал несколько секунд, сосредоточенно прислушиваясь, хрюкнул третий раз и, не дожидаясь ответа, сейчас же тронулся дальше.

На углу Ножевого переулка он потоптался перед громадной черной лужей, дернулся в одну сторону, потом в другую, потом выругался, разбежался, прыгнул и очутился в самом центре лужи.

— Бррр, — бормотал он, топая ногами уже на другом берегу, — погодка! Эдак через пять минут схватишь какую-нибудь сволочь вроде геморроя. Ух, до чего холодно, прямо щиплет. Бррр...

Он почавкал мокрыми туфлями по асфальту, потом прижался плечом к углу дома, стащил туфлю, выплеснул из нее воду, погрел в ладонях ступню и снова обулся. То же самое он проделал с другой ногой.

— Да, — вздохнул он, — эдак и околеть можно. Факт. Паршивый городишко. И жрать до чего хочется. В животе свист со вчерашнего вечера. — Он пошарил в карманах, вывернул один наизнанку и ссыпал в горсть хлебные крошки. Поднес горсть к носу, поковырял длинным ногтем мизинца, сдул пыль и шумно вместе с дождем и соплями втянул в рот. Пожевал. Потом, достав из верхнего кармана пиджака зубочистку, поковырял в зубах, почмокал, сосредоточенно пососал дуло в корешном зубе, слизнул с зубочистки розовый, разбухший клочок позавчерашней котлеты, обер зубочистку о борт пальто и сунул ее назад в карман.

— Да, да, да, — бубнил он, медленно бредя по предрассветной улице, — да, да, да. А главное, совершенно бесперспективно... Все, так сказать, в прошлом. У других хоть дети, так сказать, украшают их старость. Все в прошлом... Будущее не таит в себе ни надежд, ни иллюзий... Бррр!.. — Он надрывно закашлялся, схватившись руками за грудь, сплюнул и с недобрим предчувствием покачал головой.

Он понуро брел по хмурой предрассветной улице, чавкая мокрыми башмаками и кашляя пронзительно и уныло. Пролетающие вдоль панели ослепительные машины обдавали его ледяными брызгами. Он отряхивался и сморкался.

Безусловно, каждый Homo Sapiens, открывающий какую-либо загадку Мироздания, по величине не превышающую воробья,

уверяет всех, что его открытие может объяснить не только воровья, но и трагическую историю Мироздания. Не вызывает никаких сомнений, что если человечество внимательно изучит «Самоучитель шахматной игры» д-ра Эмм. Ласкера и послушается настоятельного совета автора об открытии Академии правильного мышления, в основу программы которой ляжет упомянутый самоучитель, то мир тотчас же избавится от векового хаоса, маразма и социальной несправедливости. Безусловно. В этом нет никакого сомнения. Самоучитель шахматной игры д-ра Ласкера — вещь безусловно добротная. Что же касается простокваши, которую по методу д-ра Мечникова должен поедать натоцкал всякий житель Земного шара, то упомянутая простокваша обладает, как известно из концепции, прямо-таки умопомрачительным свойством делать ее потребителей бессмертными, божественными и заслуживающими парадиза прямо на этом свете.

Черт вне всякого сомнения преувеличивал роль своих тезисов в судьбах истории народов, придавая им значение не меньше, чем д-р Ласкер своему самоучителю и д-р Мечников своей простокваше. Поэтому его размышления о том, что эта тупая боль под правой лопаткой и покашливание с обильным выделением мокроты в конце концов сделают свое дело еще раньше, чем он сделает свое дело, и, главное, каким роковым образом это отразится на грядущих поколениях Земли, были некоторым тщеславным преувеличением своего значения.

Его обеспокоенность вселенной проистекала (и об этом нужно сказать прямо и с самого начала) не из любви к людям и желания им добра, но из эгоизма выскочки, хорошо понимающего (и мы не собираемся этого замазывать), что в наш век демагогического заигрывания с народом на так называемой заботе о «простом человеке» можно нажить себе хороший политический капитал. И только очутившись ночью где-то в самом центре чужого враждебного города, он раскрывался самому себе и думал о том, что на такой напряженной, полной ежеминутных опасностей работе, при таких харчах, да с такой обувкой долго не протянешь. Да еще при таком хамском отношении, когда ему даже не захотели выписать командировочных или дать под отчет денег до выполнения первой части задания. И все это весной, в такую сволочную погоду, без калош.

— Прямо, как в Европе, — бормотал он, — изящно гуляем без калош. Лондон, можно сказать. Конечно, в Лондоне можно шляться без калош, — криво усмехнувшись, процедил он, — особенно у кого есть свой «паккард». А без «паккарда» тоже не очень-то разгуляешься, а еще при нынешней безработице. — Мысль о безработице пронзила его сердце острой жалостью к несчастным в трущобах Ист-Энда, неграм, заживо похороненным в своем Гарлеме, к их голодающим семьям, полным рахитичных детей и умирающих от недоедания жен, и вообще ко

всем неимущим и нещадно эксплуатируемым классам. — Небось, без калош или там сапог хорошо шляться тому, за кем сзади свой «паккард» бегают: «Не устали, мол? Ножки не промочили? Может, подвезти? *S'il vous plait!* У-у-у сволочи», — с классовой ненавистью прорычал Черт и погрозил кулаком куда-то в пространство к Балчугу в сторону Британского посольства и к Охотному ряду, в сторону посольства Соединенных Штатов.

Он едва не проскочил мимо нужного дома. Остановившись уже за подъездом, он плюнул и возвратился назад. Он остановился перед здоровенной дверью мрачного здания, осторожно оглянулся по сторонам, взглянул на часы, прислушался, натянул на нос шляпу, спрятал подбородок в воротник, толкнул дверь и скрылся в подъезде. Дверь всхлипнула, чавкнула и снова захлопнулась. Послышалось: «У-у, сволочи. Милитаристы проклятые». И все смолкло. На гранитной ступени подъезда медленно растеклись следы острых подошв.

Было бы непростительной ошибкой полагать, что причины острых социальных филиппик Черта лежали в его демократических убеждениях. К сожалению, это было далеко не так. Более того, было бы столь же непростительной, легкомысленной ошибкой верить в шумную декларацию Черта, направленную против империализма, и на этом шатком основании делать скороспелые выводы о его социальном и политическом облике. По всей своей природе он был типичным люмпеном на интеллигентской подкладке, бездеятельным, безвольным, нахватавшимся с десяток сомнительных парадоксов из переводных романов, не приспособленным к систематическому труду и склонным к половым извращениям. Получив воспитание в семье (он был единственным ребенком) с типичным во вкусе II Интернационала либерально-интеллигентским запашком, который его папа с мамой едва донесли до второй недели Первой мировой войны, после чего плюнули на «либеральныи» мечты своей молодости и великолепно присодинили свой голос к хору тысяч других пап и мам, требовавших увеличения военных кредитов, он, еще будучи в школе, списал себе сомнительную репутацию штрейкбрехера и ренегата. Однако эти высокие достоинства его не спасли, и после грязной истории (он учился тогда в 8 классе) с изнасилованием учительницы пения он был с треском вышиблен из школы и едва не попал за решетку. Его выручило только то, что, вступив в одну из оппозиционных профсоюзных организаций, он напечатал серию статей, разоблачающих грязные методы воспитания в государственных гимназиях. Но через некоторое время, подкупленный одним из лидеров профсоюзов, поддерживающих правительство, напечатал другую серию статей, разоблачающих оппозиционные профсоюзы, за что был изгнан из оппозиционной редакции со скандалом, который едва удалось замазать, и то с помощью дяди, владеющего контрольным пакетом

акций крупной фирмы, поставляющей свечи для небесного престола. В течение нескольких месяцев о нем никто ничего не слышал. Говорили, что он бродит по отдаленным деревням, покупая избирателей перед предстоящими выборами в совет архангелов. Но определенно утверждать, что это именно так, никто не мог. И только когда неожиданно разразился чудовищный скандал в связи с фиктивными поставками шпал для строительства железной дороги Сион — Гроб Господень, он всплыл на поверхность в здании Верховного суда в качестве одного из мелких участников аферы. На процессе в довершение всего выяснилось, что он отнюдь не занимался предвыборной агитацией в деревнях, а именно в этот важнейший политический момент потихоньку, с целью перепродажи, таскал свечи с небесного престола. Все это вместе взятое лишило его надежды на милость Господню, и, действительно, он в числе других восьми осужденных, как социально опасный элемент, был изгнан из небесных сфер без права покаяния с последующим возвращением в лоно.

Он так озлился, что сам, не дожидаясь, пока приговор будет приведен в исполнение судебными чиновниками, плюнул на божественный престол и пошел в преисподнюю.

Здесь уже знали о скандале, разразившемся у беловонючек (так здесь называли сонм ангелов и их божественного учителя), и со злорадством ждали пополнения своих кадров. Передавали остроту Люцифера о том, что скоро они перекачают к себе всю компанию. (Имелось в виду то обстоятельство, что в последние десятилетия резко пошла вверх кривая падения нравственности на небе, в то время как в преисподней не было *ни одного* случая отложения от ада с последующим возвращением на небо.)

При разборе личных дел, поступивших на пересыльный пункт преисподней, на героя кражи свечей с небесного престола было обращено внимание. Он был вызван к начальнику пересылки. Ему предложили место секретного сотрудника в Русском отделе Генерального штаба. Он подумал, спросил об условиях и согласился. Ему присвоили кличку, номер, взяли подписку о неразглашении, заполнили анкету, послали на врачебную комиссию (пустая формальность — мало-мальски объективная комиссия никогда бы не пропустила его по легким и зрению), взяли на пищевое и вещевое довольствие и велели отдыхать до особого распоряжения, предупредив, чтоб он особенно не шляется по веселым местам, потому что окрест бродит триппер, и за это дело выгоняют с работы и судят так, что на всю жизнь остается глубокая метка.

На второй же день он настолько раскаялся, что пошел в Русский отдел. Утром старшина треснул его по уху за то, что он засиделся на оправке, заорав: «В каком отделе служишь, жопа!» В обед его треснул по другому уху повар за то, что он дважды пытался получить кашу, и тоже напомнил про Русский отдел. Кроме того, новые товарищи так напугали его рассказами об

опасностях, дисциплине, требовательности начальства, что он не мог заснуть всю ночь, вертел побитыми ушами, а утром пошел в канцелярию спросить, нельзя ли перейти в какой-нибудь Аргентинский отдел или в крайнем случае в Японский. Секретарь, засунув оттопыренный большой палец за португезу, с презрением посмотрел на него и, раскачиваясь на носках, процедил сквозь зубы: «Как стоишь, жопа? Уже скис? Быстро. Ну, брат, из тебя выйдет толк, если только еще раньше не выйдет окрошки. Можем перевести в Югославский».

Он посоветовался с одним пареньком, соседом по койке, но тот сказал: «Что Русский, что Югославский, что Польский или там Румынский — все одно. Хрен редьки не слаще. Надо было идти в Голландский или какой-нибудь другой нейтральный. Да туда без знакомств не попадешь Сиди уж, коль попался. Авось не застучают сразу».

Он так заскучал, что даже не съедал свою пайку. Только через несколько дней он начал приходить в себя и, увлекаемый товарищами, оказавшимися простыми и веселыми, несмотря на свою обреченность, ребятами, пошел в бардак, где сразу же схватил триппер от одной жирной бабы. Товарищи помогли ему сулемой, марганцовкой, раскаленным добела гвоздем (для будирования) и ценными советами. Таким образом, удовольствие он получил, триппер залечил и под суд не попал. С этого времени он повеселел, старался поменьше думать о предстоящей работе и о переживаниях, сопровождающих естественную потребность помочиться.

Вскоре начались занятия в Академии Генерального штаба, отнимавшие много сил и совершенно не оставлявшие времени для каких-либо посторонних дел и размышлений.

Работа в Русском отделе отложила свой роковой отпечаток на всем его облик. Надо сказать, что у него было то, что у медиков называется диатезом или предрасположением к работе именно в этом отделе. Попав туда в качестве секретного сотрудника, да еще получив серьезную теоретическую подготовку в Академии Генерального штаба под руководством опытейших преподавателей, при жизни занимавших видные командные посты в армии и органах государственной безопасности Союза ССР, он приобрел страшные сочетания свойств древнерусского характера с абсолютно невыносимыми ни для кого из окружающих свойствами характера советского, в результате чего получилось затейливое сочетание самоковыряния со злобностью, рефлексорности с садизмом, склонности к самоказнению со склонностью к предательству, легкомыслия со лживостью, самобичевания с воровством, склонности к социализму с людоедскими методами осуществления своих извращенных склонностей, многоженства с онанизмом, праздности с невероятной энергией при писании злобных доносов, славянофильства с патриотиз-

мом. Все эти и им подобные затейливые сочетания подробно разобраны и детально описаны в русской классической (более художественно) и советской (более просто и четко) литературах. Из специальных трудов по этим вопросам можем указать на «Историю русской интеллигенции» проф. Иванова-Разумника. Изд. Современные проблемы. 1912 г. М. — П. и сборник «Постановления партии и правительства по вопросам идеологии». М., 1948 г. Партиздат.

Может быть, если бы наш герой родился и воспитывался в других условиях, его не вызвал бы начальник пересылки, или даже, если бы и вызвал, то не предложил бы ему работу в Русском отделе, а предложил бы в каком-нибудь южно-африканском. Но... обстоятельства сложились именно так, а не иначе, и мы не собираемся их фальсифицировать.

Итак, наш герой родился в семье, сочувствующей (скажем мягко) проблемам социализма, воспитанный соответственно воззрениям родителей, изнасиловал учительницу пения, за что был вышвырнут из среднего учебного заведения в левые профсоюзные организации и со святых небес в преисподнюю за кражу свечек со святого престола, затем, попав в Русский отдел и кое-как кончив Академию Генерального штаба, получил важное задание от начальника отдела (контрразведка) и был спущен в Москву в туманный предрассветный час мокрой апрельской ночи.

В свете всех этих данных, заимствованных из характеристик, официальных документов, дневниковых записей, а также агентурных сведений, имеющихся в распоряжении архива отдела кадров Генерального штаба, где, между прочим, в одной из характеристик была следующая фраза: «Трудно сказать, не то Черт, не то жупел», трескучие фразы об империализме, лондонских безработных и их семьях не следует рассматривать как проявление классовой ненависти или природного демократизма или чего-нибудь еще в этом роде.

Здоровенная дверь мрачного здания с шумом распахнулась, и Черт, забыв о курсе конспирации, сданном на «3 с плюсом», выскочил на улицу, громко ругаясь:

— Сволочи, — прорычал он, — шляешься под дождем, голодаешь, как сукин сын, а она: «Без справки не могу выдать ни копейки, знаете, какая сейчас финансовая дисциплина...» Плевал я на вашу финансовую дисциплину, — рычал он и действительно плюнул. — Дурак партийный! Надо было лезть без командировочных. Пока получишь несчастные 3 % авторских, сдохнешь с голоду. — Он скверно выругался. Несколько успокоившись, он подошел к фонарю и в тусклом его мерцании прочел адрес, написанный мелким почерком на обрывке газеты. — Хрен его знает, где это, — проворчал он, — Покровское-Стрешнево, трамвай 12-й номер. Тыфу!

Мутный, как моча почечного больного, сочился на город рас-

свет. Где-то вдали забрякали трамваи, кто-то заорал: «Каррраул!» Откуда-то свистнули.

Черт взглянул на часы и заспешил к Кудринке. Проходя мимо особняка Союза советских писателей, он ехидно улыбнулся, просунул голову между прутьев ограды и заглянул во двор. Длинный дворник ковырял лопатой мокрую землю у длинной скульптуры.

— Эй, Никита, — тонким голосом окликнул его Черт и отскочил от ограды, зацепив ухом за прут.

Черт хотел есть. Он опять стал шарить в карманах, но все крошки были съедены.

— Нечего сказать, хорошая работенка, — скривившись, процедил он, — почти сутки не жравши. Прошли, кажись, наши времена. Еще в 37-м году кончились. После ежовщины много не зарабатываешь. Небось, дураков мало осталось идти к нам. — Он тяжело вздохнул и, спохватившись, бросился за трамваем.

Сонная кондукторша стала привязываться насчет билета.

— Служебный, — нахально отрезал Черт и сел сразу на два места, испокон веку во всех московских трамваях на вечное пользование отданные государством женщинам с детьми. Кондукторша начала было привязываться и на этот счет, несмотря на то, что все места в вагоне были пустыми, но, не дотянув до конца нудной фразы, захрапела перед самым словом «штраф», кляня носом пятаки и гривенники в своей сумке. Вожатый завывал широкую русскую песню об одном каторжнике, зарезавшем 6 фраеров и 12 ментов, и что из этого вышло. В наиболее патетические и опасные моменты песни он наваливался всем телом на свою рукоятку, и трамвай, вздрогнув от припущенного в него до самого верха току, срывался, как окаянный, и с визгом, шатаясь во все стороны, несся к чертовой матери. Черт испуганно высовывался в окно и ежился от страха.

Постепенно вагон стал наполняться рабочими, колхозниками и прочими строителями коммунизма. Кондукторша считала пятаки и озверело ругалась с бабой, павлючешной бидонами, требуя с каждого бидона по гривеннику.

— Следующая Покровское-Стрешнево, — сипло заорала она, — слазь кому охота.

Черт вскочил, рванул дверь и вылетел на площадку, угодив острым носом прямо в шею вожатому.

— Куда прешь, — заревел вожатый, бросив песню о каторжнике, зарубившем 6 фраеров и 12 ментов, — лезь в кузов до полной остановки!

Черт нахмурился и огрызнулся. Трамвай засипел и резко сдал ход. Черт не удержался и влип пятерней в харю вожатому. Вожатый помотал мордой и зарычал душераздирающую матню.

— Посоли, — презрительно огрызнулся Черт и выскочил из трамвая, не доехав до остановки.

— Сейчас штрафану! — орал вожатый.

Черт пробежал несколько шагов рядом с трамваем, остановился, показал хаму водителю одно из неприличнейших мест своего организма и свернул в переулок.

Он шагал по переулку и, размахивая руками, говорил хаму водителю все то, что он должен был, но не успел ему сказать. Одно мгновение он готов был броситься догонять трамвай, но мысль о том большом и опасном деле, которое ему предстояло, остановила его.

Несмотря на все это, нужно сказать прямо: его почти не интересовало общественное служение. И долг, возложенный на него, был интересен только в связи с абсолютно спешной необходимостью поскорее развязаться с этим делом и получить положенные 3 % авторских, существование без которых было совершенно невыносимым. Это и только это погнало его ни свет ни заря в холодный и мокрый апрельский рассвет, в чужой, враждебный город, где смертельная опасность стерегла его на каждом шагу, и привело к двери с табличкой, на которой было написано: «Квартира № 6. Профессор В. А. С. Х. Н. И. Л. А. В. Чижов».

3

Еще вчера в это время она была спокойна и счастлива. Она проснулась и, увидев в зеркале улыбавшееся личико, не сразу сообразила, чья это улыбка и к кому она относится. Со страшной быстротой, меньше чем за час двадцать минут она проделала трудоемкую и отнимающую массу времени работу по раскрашиванию этого самого улыбающегося личика и, оставив неотделанными только губы, наспех проглотила чашку какао и кусочек французской булочки с маслом. Не теряя ни минуты времени, она возобновила прерванную работу над проработкой губ и меньше чем за 15 минут эта ответственной деталь была готова. Она всего четыре раза переменила пальто и, решительно остановив свой выбор на белом драповом с серым воротником из шелковистой каракульчи, выскочила на улицу.

Она захлопнула дверь и в мгновение, когда язычок английского замка, щелкнув, ушел в скобку, вспомнила, что ключи остались в зеленой крокодиловой сумке, которую она вчера вечером брала с собой. Она нерешительно дернула дверь и, убедившись в бесполезности попытки, застучала каблучками вниз по лестнице.

Через 2 часа 40 минут, в 11 часов 8 минут по московскому времени она возвратилась домой и, только машинально открыв белую лосевую сумку, вспомнила, что забыла ключ в зеленой крокодиловой. Мгновение она постояла, беспомощно глядя на дверь, потом достала копейку и попробовала с ее помощью проникнуть в квартиру. Но из этого решительно ничего не вышло.

Она уныло смотрела на блестящую клеенку, на кнопку звонка, на табличку с именем владельца квартиры, на холодно поблескивающий диск замка.

Свист и скрежет вывели ее из задумчивости. Она испуганно подняла вверх голову и увидела летящего по перилам с громким криком сына знаменитого академика с крупными ошибками.

— Вовка, — позвала она, — иди сюда.

Вовка затормозил свое стремительное движение вниз и, выставив под прямым углом к туловищу ногу в рваном башмаке прямо к ее носу, спросил:

— Чего тебе? Ты останавливаешь мое стремительное движение вперед к коммунизму.

— Ты умеешь открывать замки без ключа? — спросила Симочка Сексуалова. — Я забыла свой ключ в другой сумке.

— А-а, — понимающе, но без тени сочувствия протянул Вовка, — забыла. Гм. Ну и что же?

— Ну, открой, Вовка!

— А чего дашь?

— А чего ты хочешь? — осторожно спросила Симочка.

Вовка задумался. Потом с ног до головы циничным взглядом осмотрел ее и, сплюнув, произнес такие замечательные слова:

— Чего я хочу, ты уже все равно отдала в давние времена. А чего осталось, того я сам не возьму. Ладно, давай пососу титю и на этом покончим, чтобы долго не торговаться.

— Как тебе не стыдно, Вовка? — нахмурившись, заявила Симочка, — ты еще не перешел в 6-й класс и уже говоришь такие гадости. Стыдно.

Вовка расхохотался.

— А ты и вовсе с 4-го класса начала шляться по бардакам. Чья бы уж корова мычала, а твоя бы молчала. Понятно?

— Не твое дело, где я шлялась, — отрезала Симочка.

Вовка презрительно сплюнул и, сказав: «Не хочешь, дело твое», покотил вниз по перилам.

— Постой, Вовка, — закричала Симочка, — ладно, открывай. Я согласна. Только недолго.

— Чего недолго, — осведомился Вовка, — открывать?

— Да нет же, сосать, — вздернув губку, пояснила Симочка.

— А-а, — важно заметил Вовка, — ладно уж, пусть будет потвоему.

Он подошел к двери, скептически осмотрел замок, ковырнул ногтем, дунул, и дверь распахнулась.

— Молодец, — искренне восхитилась Симочка.

— Пригодится на черный день, — деловито сказал Вовка, — ну давай.

— Да ты зайди хоть в переднюю, — с укором сказала Симочка, — нельзя же прямо на лестнице.

— Зайдем, — равнодушно согласился Вовка.

Симочка закрыла за собой дверь, растегнула пальто, подняла кофточку и, достав грудь, сунула ее в губы Вовкс. Вовка скептически осмотрел сосок, промычал:

— Почему не красный, — и зачмокал.

— Будет, — сказала через минуту Симочка, — уже хватит.

Вовка нахмурился, посмотрел на нее исподлобья и отрицательно помотал головой.

Через минуту она толкнула его ладонью в нос и спрятала грудь под кофточку.

— Теперь убирайся, — делая вид, что сердится, сказала она, — и помалкивай.

Вовка облизался, промолвил:

— Эх, хороша титька, только, пожалуй, маловата, — и пошел в школу, в 5-й класс, на урок русской истории.

Симочка, сокрушаясь о том, что пропало даром столько времени, не снимая пальто, взволнованными пальцами открыла сумку, достала черный футляр и, зажмурив глаза, застыла.

Через несколько секунд, она очнулась и, поднеся футляр близко, близко к глазам, открыла его и восхищенно замерла.

На черном бархате в глубокой лунке мирно покоилась облитая мягким светом здоровенная брошка, изображающая громадную муху.

Симочка, оттопырив мизинец, осторожно взяла муху большим и средним пальцами и поставила на подушку.

— Миленькая мушка, — шептала она и опустила на колени, — какая хорошенькая. И всего 240 рублей. А завтра я тебя надену на танцы. Ах, ты мушка!.. Муха-муха-цокотуха, позолоченное брюхо...

Она вскочила на ноги, захлопала в ладоши и, схватив мухин футляр, написала на донышке, посплюнув химический карандаш, порядковый номер приобретения.

— Сто двадцать четыре, — с удовлетворением сказала она, — муха номер сто двадцать четыре. Теперь поставим номер этого года. — И она написала в скобках — 11.

Она закружилась по комнате, громко распевая:

— Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила... — Симочка не допела строчку и, всплеснув руками, бросилась к телефону.

— Чижик, — защебетала она в трубку, — Что? Это не чижик? А кто это? А? Товарищ пожарный, сейчас же позвоните профессора Чигова. На лекции? Неважно, вызовите с лекции. По срочному делу. Да, да. Из министерства.

Через минуту она, не дождавшись, бросила трубку и полетела к своей мухе. Она схватила ее вместе с подушкой, поцеловала крылышки и, осторожно положив подушку на стол, снова побежала к телефону. Она набрала номер, торопя пальцем диск, слишком медленно возвращающийся назад.

— Почему так долго? — пискнула она. — Что? Пожарный?

Позовите сейчас же профессора Чижова. На лекции? Скажите, что из министерства. Что? Ах, это ты, Чижик! Чижик, сейчас же поцелуй меня в ушко? У меня чего есть! Что? Что кончено? Что все?! Подожди, а как же вечер у Кики? То есть как это не будет?! Осудили?! Я говорила, что ты доиграешься со своей философией! Зачем ты всюду лезешь, болван несчастный?! Кто тебя тянул за язык? Почему ты не мог вчера вечером отказаться от всех своих глупостей? Что? Дело твоей жизни?! Ну так будешь ходить в рваных штанах с делом твоей жизни, идиот несчастный! Господи! Зачем я только связалась с таким идиотом?! Что? Можешь не приходиться обедать, дурак! — И она бросила трубку.

Остолбенело стояла она над своей мухой, медленно вникая в сущность разыгравшейся драмы. Очнувшись, она медленно обвела глазами комнату и вдруг в гневс рванула хищными зубами кружево платка, затопала ногами и, обессиленная секундной вспышкой, повалилась в кресло. Горячая, горькая тяжелая слеза упала на серебристое крылышко мухи. Она нагнулась над мухой и горячими, сухими губами впитала горько-соленую влагу.

Она плакала долго и безнадежно. Стемнело. Симочка подошла к окну и посмотрела на улицу. Грязный туман клубился над городом. Дождь трясся над асфальтом. Мокрая сука, опустив хвост, уныло брела по тротуару. Длинный милиционер долго и безрадостно свистел вслед убегающему от штрафа преступнику. Скользкие скамейки голыми худыми ногами стояли в холодных лужах. Симочка зябко поежилась при мысли о том, что теперь ее счастье в уютной теплой квартире с брошками, серьгами, кольцами, кулонами, бусами, браслетами в виде птиц, змей, мух, слонов, черепах и прочего окончено, погублено и в такую мерзкую погоду ей предстоит идти на Тверской бульвар продавать свое милое, теплое, молодое тело...

Кто бы мог подумать, что даже для такого, абсолютно интимного дела, как выбор мужчины, способного прилично оплачивать свое счастье, необходимо кончать философский, или в данном случае лучше биологический факультет Московского государственного университета?! Удар, постигший ее, заставил задуматься над этим, но, не получив систематического образования в силу того, что жизнь в семье отличалась крайней безалаберностью и неопределенностью (до 1937 года ее мать была проституткой, а отец председателем Совнаркома Белорусской ССР, потом, после 1937 года, наоборот, мать стала председателем Совнаркома, а отец проституткой), она, разумеется, не смогла точно ориентироваться в данной обстановке и прийти к наиболее удовлетворительному решению. И поэтому ее сила была, конечно, не в мастерстве строить стройные конструкции абстракций, но в слепом и верном инстинкте, толкавшем ее всегда именно к такому мужчине, который мог прилично оплачивать

свое счастье. Принадлежа к той категории Homo Sapiens, которая объясняет ошибки человеческой истории умозаключениями величиной с воробья, она была убеждена в том, что ее трагедия не является следствием ошибки, сделанной при выборе мужчины, который должен был бы думать не только о своем, но также и об ее счастье, а не о безалаберном и неопределенном устройстве Мироздания. Именно поэтому напряженную идеологическую борьбу на биологическом фронте, завершившуюся сегодня утром в заключительном слове по докладу академика Т. Д. Лысенко, одобренному ЦК ВКП(б), в результате которой мужчина, до сих пор прилично оплачивающий свое счастье, оказался в паршивом положении разоблаченного генетика, она переживала не как огромную победу прогрессивного, мичуринского мировоззрения, но как незаслуженную обиду, нанесенную лично ей. Что же касается выводов, которые она сделала в связи с историческими разоблачениями вейсманистов-менделистов, то они носили слабо выраженный общественный характер и сводились главным образом к трем следующим пунктам: 1. Ей всегда не везет в жизни, потому что она слепо доверяет людям и, несмотря на огромное количество обид и разочарований, пережитых из-за этой глупой доверчивости, она до сих пор не научилась рвать зубами от краюхи счастья. 2. Ей всегда не везет в жизни, потому что она вместо того, чтобы заботиться о самой себе, уступила Шуре за какую-то грошовую цепочку одного, до сих пор нигде не разоблаченного художественного руководителя эстрадного оркестра (бывший джаз) и Шура до сих пор блестяще преуспевает, несмотря на то, что она не обладает никакими преимуществами по сравнению с ней, и даже, наоборот, имеет на самом носу сивую родинку. 3. Муха, приобретенная с таким вдохновением, не сможет быть надета на танцы у Кики и будет мучить ее, как неудовлетворенная жажда материнства.

Три стройных вывода, сделанных ею на основании поражения реакционного мировоззрения вейсманистов-менделистов, дают все основания объяснить страсть к брошкам, серьгам, кольцам, кулонам, бусам и браслетам в виде птиц, змей, мух, слонов, черспах и прочих родов биологического царства, не только унаследованную генетическим способом от предков-дикарей приверженностью к тотему, но глубокой обеспокоенностью судьбами Мироздания.

Она не хотела идти в такую мерзкую погоду на Тверской бульвар продавать свое милое, теплое, молодое тело. Обуреваемая ненавистью ко всем реакционным идеологиям, она подскочила к книжному шкафу и цапнула зубами корешок объемистого тома профессора Чижова, где убедительно доказывались преимущества его мировоззрения в сравнении с другими мировоззрениями. Мотая головой с зажатым в зубах томом профессора Чижова, Симочка металась по кабинету, давя каблуками

бабочек, птиц, сусликов и клопов, живущих на казенных харчах в кабинете, а из тома профессора Чижова летели, обреченно покачиваясь, страницы преступных заблуждений, а может быть, и сознательных научных диверсий.

Грязный вечер залез в окно. Симочка устало повалилась на диван и горько заплакала. Вдруг за дверью послышалось нерешительное топтанье, потом пыхтенье, потом тяжелый вздох. Коротко брызнул звонок. Она вскочила с дивана и замерла. Несколько минут длилось тоскливое молчанье. Тогда она на цыпочках подошла к двери, вложила крючок цепочки в петлю и осторожно повернула головку замка. Услышав возню, обрадованный Чижик толкнул дверь и увидел сквозь щель, как мелькнули и скрылись каблукы, стройные и высокие, как церковные колоколенки. Чижик обрадованно заулыбался и, согнувшись, глядел в щель в надежде на появление обладательницы каблук.

— Самочка, — тихонько позвал он, — здесь цепочка...

У Симочки, стоявшей вне поля Чижикова зрения, бешено забилося сердце. Она глотнула слюну, сделала шаг к двери, попав в обозреваемый Чижиком узкий треугольник, и ледяным голосом отрезала:

— Во-первых, я вам не Самочка, и прошу вас оставить меня в покое.

Поганный генетик, выведенный научной общественностью на свежую воду, придержал у скулы большим и указательным пальцем сползающую улыбку и тяжело вздохнул.

Симочка с достоинством повернулась и отошла. Сделавшись невидимой, она тотчас же полезла за вешалку и, встав на корточки, одним глазом стала внимательно наблюдать за пустыми и малоопасными попытками мерзавца. Профессор Чижев потоптался перед дверью, потом просунул палец в щель (Симочка обомлела, испугавшись, что Чижик ее перехитрит и снимет цепочку), зацепил какой-то листок и потащил к себе. Симочка едва сдержала острое желание выскочить из-за вешалки и наступить ногой на похищаемый листок. Чижик поднял листок, уселся на ступеньку и принялся читать. Это был листок из его труда, являющегося красугольным камнем концепции. Он читал сосредоточенно и долго, но плохо понимая, про что именно написано в краеугольном камне, бросил и снова подошел к щели. Симочка, заскучавшая за вешалкой, тоже было подошла к двери, но, столкнувшись с Чижиком, ловко и незаметно скрылась.

— Самочка, — начал Чижик, но осекся, покашлял и начал снова: — Симочка, ты знаешь, я бы не прочь пообедать. Правда.

Симочка, не выходя из своего угла, разразилась сардоническим смехом.

— Ну, хорошо, — сказал, вздохнув, Чижик, — я пойду что-нибудь куплю.

Симочка подскочила к двери и увидела спускающуюся по лестнице фигуру профессора с понуро опущенной головой.

Пока голодный Чижик бродил под дождем в поисках продовольствия, она, презрительно улыбаясь, поужинала и даже успела завести патефон и послушать вчера приобретенный быстрый танец (бывший фокстрот).

При исполнении последних тактов вновь появился унылый Чижик и что-то простонал в щель. Симочка испуганно отпрянула, задев мембрану. Патефон забормотал нечто невнятное, булькнул и смолк. Наступила торжественная тишина. Вдруг Чижик сел прямо на площадку перед дверью, достал из кармана крут краковской колбасы, отколупал ногтем пленку и стал жрать, громко и с удовольствием чавкая. Симочку передернуло от ненависти.

Поев, Чижик вытер шляпой губы, отряхнул крошки с пальто и, не вставая, спросил:

— Симочка,пусти меня. Ну, пожалуйста...

— Во-первых,я тебе не ты, — вспыхнула Симочка, — можешь тыкать свою жену, а мне не о чем с тобой разговаривать.

Чижик шмыгнул мясистым носом, колупнул клеенку, которой была обита дверь, тяжело вздохнул, встал на ноги, обтер о пальто ладони и отошел от двери.

Симочка, услышавшая его удаляющиеся шаги, испугалась, что на этом может закончиться такая замечательно-увлекательная сцена, сорвалась со своего места и подлетела к щели.

— Во-первых, — завизжала она, — не надейся, пожалуйста, что я, как какая-нибудь дура, прошу тебе все, что ты сделал со мной. Можешь уходить! Я не желаю с тобой разговаривать!

Бедный Чижик помотал головой, засунул оттопыренный большой палец за воротничок и жалобно простонал:

— Самочка, честное слово, я не виноват. Уверяю тебя. Я хотел, чтобы все было хорошо. Ты посмотри на мои последние опыты. Честное слово...

— Ах так! — взвилась Симочка. — Выходит, что это я во всем виновата! Очень хорошо. Можете идти. Пожалуйста.

— Да нет же, не ты, — Чижик уныло почесал за ухом и переступил с ноги на ногу, — вовсе не ты, а этот выскочка Лысенко. Ей-богу, Симочка, он такой же ученый, как бык, который удобряет почву.

— Можешь быть поделикатнее, — с презрением сказала Симочка, — и не употреблять при мне таких выражений. Впрочем, что можно еще ждать от тебя.

— Виноват, — смущенно сказал Чижик и поковырял в носу. — Видишь ли, я думал, что проблема внутривидовой борьбы имеет значение не только как биологическое понятие... — начал было бедный генетик, но Симочка, остервенясь, не дала ему договорить.

— Что ты кричишь на меня?! Очень мне нужна твоя борьба! Можешь оставить ее себе! Ты бы лучше подумал хоть раз в жизни, что я буду делать, когда у нас не будет денег! Об этом ты подумал?! Ах, нет?! Ну тогда можешь убираться к черту вместе со своей борьбой!

— Самочка, — взмолился несчастный генетик, — ради Бога, не мучай меня. Если бы ты знала, как мне тяжело. Ты знаешь, мои опыты с мухой-дрозофилой...

— Ах, я тебя мучаю! — она истерически расхохоталась, — я его мучаю... Нет, вы только посмотрите на эту жирную морду и сразу увидите, как я его мучаю! Сколько ты сегодня съел колбасы? А, бедный, несчастный Чижик! Его совсем замучили!.. Ха-ха-ха!.. — Она бросилась с хохотом на диван.

Замученный и заплеванная генетик зашевелил толстыми обиженными губами, поднял, потом быстро опустил очки и тихо сказал:

— Бедная моя девочка...

— Я его мучаю! — взвизгнула Симочка. — Я ненавижу вас! Больше мы не можем жить вместе! Кто-нибудь из нас должен уйти. Сейчас же уходите отсюда!

Бедный, затюканный генетик грустно посмотрел на нее и вздохнул. Потом полез за бумажником, вытащил пачку денег, отложил себе три рубля и, просунув в щель руку, положил деньги на пол.

— Хорошо, Симочка, — прошептал он и медленно побрел вниз по лестнице.

Симочка подобрала деньги, дважды пересчитала их и спрятала. Она порыдала с четверть часа, потом вытерла носик о подушку, проглотила наспех чашку какао и кусочек французской булки с маслом, слегка накрутилась и легла спать.

Ей снились страшные сны: хищные птицы, ползучие гады, слоны и носороги, волока за собой иголки и защипы, которыми они крепились к кофточкам, шляпам и платьям, обступили ее со всех сторон, норовя укусить, ужалить, ляпнуть, боднуть, погубить ее милос, теплое, молодое тело. А накануне приобретенная с таким вдохновением за 240 рублей здоровенная муха все время лезла ей в глаза и топала ногами, и голова ее была похожа на голову Чижика.

Утром она встала с тяжелой головной болью. Из зеркала на нее глядела ощеренная зубастая харя. Она не сразу догадалась, кому принадлежит и кому адресован этот звериный оскал. Она терла по харе всякими щетками и вмазывала вонючие ваксы. Потом она нажралась квасу и хлеба с салом. Зашпиливая кофту своей новой мухой, она уронила ее на крылья, сонно выругалась и облизала мухины крылья языком. Выходя из клозета, она заметила сквозь щель до сих пор незакрытой двери что-то черное и блестящее. Подойдя поближе, она увидела одинокую калошу

Чижика. (Бедный Чижик ушел, с горя надев одну калошу, да и ту на другую ногу.) Она подобрала калошу. Потом помыкалась по комнатам и остановилась у окна. По небу волочились толстые, полные дождя тучи. Дождь не шел, а прямо-таки топал по мостовой. Ветер сморкался, плевал и кашлял. Полными слез глазами смотрела она на полную воды улицу, и ей вдруг стала ослепительно ясна страшная драма, обрушившаяся на милое, теплое, молодое тело.

— За что?.. — прошептала она, — за что?.. — И, не найдя ответа, упала грудью на подоконник и зарыдала беспомощно и громко.

Но в это мгновение раздался звонок, длинный, настойчивый и тревожный.

4

Она испуганно подняла голову, поспешно отерла заплаканные глазки и заспешила в переднюю.

Симочка отворила дверь и, посматривая то на посетителя, то на свою милую мушку, прелестно улыбаясь, попросила незнакомца войти.

— Очень рад, — сказал, ухмыляясь и покачивая бедрами, Черт, — очень рад. Тронут. Такая очаровательная мадемуазель. — Он шаркнул ножкой по коврику прихожей, наклонился вперед, отставив тощий зад, и протянул Симочке согнутую в локте руку со сложенными дощечкой четырьмя пальцами и оттопыренным вверх большим пальцем.

— Сэм Чайковский, специальный корреспондент журнала «Огонек», — отрекомендовался Черт и даже сам удивился, как это здорово выходит.

— Проходите, пожалуйста, — обворожительно пролепетала Симочка, — пожалуйста. Просто чудно!

Черт зачарованно поглядел на муху, потом на обладательницу, закатил глаза и — ничего не сказал.

— Пожалуйста, — пискнула Симочка, — просто чудно!

— Благодарю, — томно промолвил Черт, повесил пальто и шляпу и следом за хозяйкой прошел в бывший кабинет Чижика.

Симочка придвинула кресло, и Черт развалился в нем, закинув голову с острым носом на спинку. Он не спускал косых глаз с Симочки.

— Мне кажется, — после минутного молчания сказала Симочка, — что мы с вами уже где-то встречались.

— Встреча с вами — незабываемое событие, — произнес Черт, — я не забыл бы его всю жизнь, — и добавил с некоторым беспокойством: — А где?

— На вечере, посвященном Международному женскому дню 8-е марта, в «Метрополе», — неуверенно сказала Симочка.

— Международный женский день 8-е марта? — Черт поерзал в кресле. — Нет, этот замечательный праздник я встречал не здесь. Я, видите ли, только сегодня спустился, то есть я хотел сказать — прибыл. Только сегодня. Ночью.

— А-а-а! — удовлетворенно кивнула головой Симочка и, промолчав, спросила: — А откуда вы прибыли?

Черт поерзал в кресле и, хотя он вполне мог ожидать подобных вопросов или даже еще худшего: «Зачем пришел?», например, все же сейчас этот вопрос показался ему абсолютно неуместным.

— Откуда? — нахмурившись, спросил он и брякнул: — Из высших сфер, — но тут же, спохватившись, поправился: — то есть, собственно, как раз наоборот, из низших сфер, — и, обомлев, понял, что сказал нечто поистине душераздирающее. Он пробормотал, густо покраснев: — То есть прибыл из своего родного дома, — и, часто заморгав, тяжело вздохнул.

— Ах, как интересно? А где ваш дом? — не унималась Симочка, — наверное, очень далеко, да?

Черт про себя площадно обругал ее, а вслух произнес:

— Нет, что вы, [пропуск в тексте] редакция журнала «Огонек», такой большой серый дом, знаете?

Симочка, внимательно наблюдавшая за темными эволюциями гостя, совершенно бесповоротно и совершенно правильно решила, что незнакомец, заинтересовывающий женщин с первого взгляда, прибыл или из Америки, или из тюрьмы. Несмотря на то, что она прекрасно понимала, что между этими двумя предметами нет абсолютно никакой разницы, первый предмет (с которым она тайком познакомилась на страницах некоего оскорбительного для хорошего вкуса и еще более для прогрессивного мировоззрения журнала) жег ее сладострастными искушениями, главным образом насчет цветных резиновых плащей, пейлоповых чулок и опять же — брошек и бус. Именно в связи с этим и для того, чтобы окончательно убедиться в правильности своего заключения, она, ничего кроме индифферентности не подчеркивая в своем вопросе, спросила:

— Вы знаете, я в последнее время очень интересуюсь неграми и как их мучают в Соединенных Штатах, а также брошками и бусами.

— Да? — с неискренней заинтересованностью заметил Черт, — это, наверное, очень увлекательно. И вы преуспеваете на этом поприще?

— Как вам сказать... — лукавила очаровательная молодая женщина, приобретая за время, посвященное отысканию лучших путей составить наиболее полное счастье Чижика, 96 (см. порядковый номер по номенклатурному списку — из них 8 отчетного года) прозрачных резиновых плащей и 124 (11) брошек,

бус и прочего инвентаря. — Как вам сказать, — лукавила она, — и да и нет. Все это довольно сложно. Хотя это такая ужасная дрянь, эти плащи, как все в Америке, так что, конечно, в этом нет, нет никакого космополитизма, — поспешно добавила Симочка, делая акцент на оценке качества американской продукции.

— Да, представьте себе, — почти не скрывая равнодушия к народжению ядовитого цветка неофашизма в Америке, неграм, цветным плащам, а также брошкам и бусам, — сказал Черт, успевший снова обрести едва не утраченное от тупейших вопросов самообладание.

Видя, что с Америкой дело идет туго, Симочка решила проверить, не выйдет ли чего насчет тюрьмы.

— Вы знаете, — заметила Симочка тоном, преисполненным такого равнодушия, такой индифферентности, что можно было подумать: сейчас она спросит, любит ли гость щелкать семечки, — вы знаете, — слегка зевнув, заметила она, — говорят, что в тюрьме очень избивают железными палками. Вы не знаете?

— Нет, не знаю, — промямлил несколько помрачневший Черт, с детства приученный трепетать перед такими заведениями и особенно набравшийся страху с начала работы в Русском отделе Генерального штаба. — Да, конечно. Вы обратили внимание, какая в этом году скверная весна? Правда?

У Симочки екнуло сердце. Такой ответ сразу рассеял сомнения, волновавшие ее. Не рассчитывая на наживу или на возможность приобрести по дешевке какой-нибудь браслет или заколки, а просто повинувшись чистому инстинкту глубокой заинтересованности к побывавшему в тюрьме, и что всего удивительнее, выскочившему оттуда с руками и ногами, инстинкту, свойственному каждому русскому человеку, она собиралась забросать своего нового знакомого целой анкетой вопросов, но Черт, предпочитающий не касаться этой щепетильной темы, перевел разговор на другой предмет.

— Ваш муж... — начал Черт, — после вчерашнего совещания...

— Ничего подобного, — категорически отрезала Симочка, у которой неисповедимым путем ассоциаций соображение о тюрьме тотчас же соприкоснулось с мыслью о разоблаченном Чижике.

— Ах, так!.. — с ехидцей промолвил Черт, — да, да, конечно. — И его тон, осложнившись новым намерением, стал более решительным и верным. — Хорошо — сказал он и встал.

Симочка с тайной тревогой посматривала на него. Черт медленно прошелся по кабинету, поглаживая костистый подбородок и устремив взгляд себе под ноги.

«Зачем он пришел? — подумала со страхом Симочка, — луч-

ше бы он не приходил». И она решила хоть немного смягчить страшного посетителя.

— Вы, наверное, очень устали с дороги, — с легкой дрожью в голосе сказала она, — выпейте чашку кофе, — и не дожидаясь ответа, быстро выскочила в столовую и медленно возвратилась с подносом, заставленным многими соблазнами.

— Не откажусь, не откажусь, — ухмыляясь, промолвил Черт и, потирая руки, сел за стол. — Ах, какой паштет! Прямо глотать жалко!

Симочка захихикала от удовольствия.

Завтрак был так хорош, а главное, так необходим, что Черт готов был пренебречь не только служебными обязанностями и долгом, но даже своими кровными 3 % авторских, на которые он, конечно, никогда не мог бы позволить себе таких роскошных завтраков. «Богато живут сволочи», с завистью подумал он и, заподозрив нечистое, решил обязательно проверить. Но работа есть работа и шикарные завтраки не должны ей мешать! Особенно такой работе. И он, прошедший хорошую школу у профессора академии Генерального штаба тов. Щ. Ч. Сыкова (бывшего заместителя тов. Н. И. Ежова), несмотря на тройку, полученную при сдаче курса самоотверженности (самый трудный во всей программе), дожевав последний бисквит, возвратился к главному предмету своего посещения.

— Видите ли, — начал он, — вы даже не в состоянии себе представить, какое горячее сочувствие вызывает во мне ваше (не стану скрывать) бедственное положение. — Черт замирающе посмотрел на Симочку и пустил несколько колечек дыма. «Интересно, — соображала Симочка, — конечно, если у него есть квартира и машина, безусловно, имеет смысл». — Такая очаровательная молодая особа, — продолжал Черт. «Конечно, корреспондент — это не так выгодно, — прикидывала Симочка, — как, например, генерал-майор интендантской службы, но что делать!» — с таким чудным вкусом, понимающая, что такое настоящая жизнь, избалованная заслуженным вниманием, привыкшая кружить головы, — Черт лукаво посмотрел на порозовевшую от удовольствия Симочку, подсчитывающую, сколько неприятностей и какие убытки безусловно принесла ей злополучная история с этим паршивым Чижиком, — и такая женщина... — Черт наклонился вперед, сделал страстную паузу и воскликнул: — вдруг оказывается в стесненном материальном положении, должна отказывать себе в самом необходимом, не может проявлять своего лучшего призвания — покупать и носить самые изящные брошки («Конечно, это лучший, если не единственный выход, — решила Симочка, — только не нужно соглашаться слишком быстро») и буквально стоит перед неизбежной необходимостью идти сегодня же вечером, в такую отвратительную погоду на Тверской бульвар продавать свое пух-

ленькое, тепленькое, розовенькое тело!.. Ужасно... Вы даже не можете себе представить, какая жалость горит в моем сердце! — Черт волновался и брызгал слюной. — Я спустился, то есть я пришел специально для того, чтобы спасти вас. Можете быть уверены, что во мне вы найдете самого надежного и бескорыстного друга.

Симочка горько заплакала. Перспектива шляться по Тверскому бульвару в такую поганую погоду, не говоря уже о том, как вообще противно, хотя, конечно, более надежно, за наличный расчет торговать своим пухленьким, тепленьким, розовеньким телом, показалась ей омерзительной.

— Помогите мне, — прошептала она, — я отблагодарю вас... — и она взглянула на Черта такими глазами, что даже Черту из Русского отдела стало не по себе.

— Да, да, конечно, — подхватил Черт, — какой может быть разговор!

— И главное, что это так незаслуженно, — всхлипывала Симочка, — вы же понимаете, какое я имею отношение к генетике. Это совершенно не моя специальность.

— Ну, конечно? А какая у вас специальность? — поинтересовался Черт.

— Специальность? — Симочка заморгала и посмотрела на Черта заплаканными глазами, заляпанными сине-фиолетовыми кляксами от размокших ресниц. — У меня совершенно другая специальность, — прошептала она, — я умею покупать самые лучшие в мире брошки, завиваться, ходить по ресторанам и обниматься. И вообще — аналогичные специальности. Но теперь... — она всхлинула и захлопала веками по грязи, получившейся от размытой слезами краски.

— Да, конечно, теперь... — тяжело вздохнул Черт, — да... Ничего, мужайтесь. Я помогу вам!

Он решительно встал, подошел к двери, выглянул в переднюю и плотно затворил дверь. Потом подошел к широкому венцианскому окну, внимательно осмотрел улицу и быстрым шагом возвратился к Симочке.

— Слушайте, что я скажу вам, — зашептал он с замораживающей сердце таинственностью, — слушайте.

Симочка испуганно вскинула на него заляканные глаза и инстинктивно отодвинулась в угол дивана.

— Итак, — начал Черт, — вы стоите на краю гибели. И ничто не может спасти вас и никто не может спасти вас. Только я могу спасти вас. Я могу вернуть вам спокойствие, радость и уверенность в завтрашнем дне. Я могу, не шевельнув пальцем, бросить к вашим ногам невиданные в мире брошки, неслыханные заколки, немыслимые серьги и невообразимые бусы! — Красные пятна пылали на Симочкиных щеках. Черт искушал: — Я могу, не выходя из этой комнаты, бросить к вашим ногам власть

и аплодисменты, победы, триумф и венец. Я могу в мгновение ока обеспечить вашу будущность и избавить вас от тяжелой необходимости идти сегодня вечером в такую отвратительную погоду на Тверской бульвар продавать свое пухленькое, тепленькое, розовое тело!

— Но.., — дрожащими губами прошептала Симочка и почувствовала, как чья-то могучая рука толкает ее в мягкое место. Она вскочила и, упираясь коленками в подушку, подалась всем телом вперед, к Черту, к новой жизни.

— Что вы хотите, что я должна сделать?! — вскричала она.

— Ничего! — громко сказал Черт.

Ледяная тишина разлилась в воздухе. И вдруг над городом, полным ненависти, борьбы, злобного тщеславия, обиды и мук, над городом, который, кривляясь, показывал всему миру только подведенные глаза и подкрашенные губы, пронесся тяжелый вздох.

Черт сорвался со своего места, подбежал к Симочке и, касаясь ее горящего лица своим дыханием, прошептал:

— Почти ничего. Слушайте и не пугайтесь. После своей смерти, сразу же, пока еще не остыло тело, вы позвоните мне по телефону — вот номер, — Черт сунул ей в ладонь бумажку, — я приду и возьму вашу душу. И — все. Не бойтесь. Вы останетесь в том же положении, в каком были. Я только возьму вашу душу.

— Ду-душу?.. — обомлело прошептала Симочка.

— Ну да, душу, — сказал Черт, — именно душу, а не, так сказать, метафору. Абсолютно так, как это делалось раньше, например, в эпоху 3-го крестового похода. И таким же самым методом, можно сказать, почти без всякой модернизации или рационализаторских предложений. Разве что только телефон. Но сущность совершенно не в нем. Просто ваша душа перейдет в мое владение, так же, как это было раньше, в эпоху борьбы гвельфов и гибеллинов. Уверяю вас, что с тех пор ничего существенного не изменилось. Особенно в нашем ремесле, да и в вашем, знаете, тоже. Вообще, на свете, уважаемая, ничего не меняется. Можете в свободное время просмотреть лозунги Катона перед 3-й Пунической войной и сравнить их с рядом других лозунгов, которые произносили во время Второй мировой войны, и вы убедитесь, что ничего не изменилось. Если не посмотреть на год издания, то вообще можно спутать. Нет, милочка, на свете ничего не меняется. Особенно категории. Например, человеческая пошлость. Вот вам, к примеру, почему-то так же жалко отдавать свою душу, хотя бы и после смерти, как во времена войн гвельфов с гибеллинами. А? Разве не так? В сущности, изменилось только то, что вы имеете возможность сообщить по телефону, вместо того, чтобы бегать самой, о том, что душа готова, можете получить. Но, в сущности, милочка, не в этом сущность. А что касается прочего, то прочее останется в прежнем виде: я приду

или приседу, или, наконец, прилсчу и возьму вашу душу. Именно душу, вещь, может быть, и очень старомодную в наш век, но все-таки возьму душу, а не пузырек самого модного стрептомицина.

— Зачем! — прошептала Симочка, стуча зубами.

— Что, зачем? — не понял Черт.

— Ду-душу, — подавившись, произнесла Симочка.

— Ну, это уж вам совершенно необязательно знать, — недовольно проворчал Черт и закурил папиросу, — зачем, зачем, стало быть, нужно. Ну что, может быть, вас не устраивает? Ну, что вы молчите?

— Я боюсь, — прохныкала Симочка, — как же я буду без души? Это очень плохо. Вот Кики тоже бездушная.

— Ну и что же, — ухватился Черт. — Разве ей плохо живется?

— Вот именно, что плохо, — воскликнула Симочка, — от нее все мужья сбегают. Они говорят, что с ней просто нет никаких сил жить.

— Это ничего не значит, — авторитетно заявил Черт, — зато она никогда не окажется в таком тяжелом положении, как вы.

— Это, конечно, — вздохнув, согласилась Симочка, — конечно, бездушным в этом отношении легче живется.

— Ну, вот видите, конечно же, лучше, чем у кого душа, — подхватил Черт, — знаете, с душой, как с большими зубами, и чисти, и ухаживай, и подмазывай. И чего-чего только не приходится с ними делать. Правда?

— Нет, знаете, может быть, все это и так, — упрямылась Симочка, — только я не хочу без души. Пусть уж останется пока, как есть. А дальше будет видно.

— Да нет же, вы меня не поняли, — объяснял Черт, — это же будет после вашей смерти, тогда вам ничего уже не понадобится, в том числе и душа.

— После моей смерти? — воскликнула Симочка. — Я не хочу умирать.

— Ну, знаете, уж это, извините, от вас не зависит, — презрительно заметил Черт и повернулся на каблуках, — закон природы, так сказать, и у меня, к сожалению, нет полномочий его отменять.

— Я боюсь, — канючила Симочка, — боюсь умирать.

— Да нет же, — уговаривал Черт, — ведь это же не сейчас. Вы умрете, когда вам придет срок, так же, как вы бы умерли и без нашего договора, даже и не подозревая, что можно сделать такую выгодную сделку. Понимаете?

— Понимаю, — скулила Симочка, — а когда?

— Что — когда? — не понял Черт.

— Когда я умру? — боязливо спросила Симочка.

— Ах, это... Ну это я не могу вам сказать, — начав терять терпение, сказал Черт. — Просто не поинтересовался. Думаю, что лет через 50. Куда вам спешить? Тем более, что все эти годы вы проживете в полном достатке у нас на довольствии, сможете сколько угодно лечиться, отдыхать или там обниматься. Все будет зависеть только от вас. Ну идет? Да? Подписывайте, — он протянул ей текст, напечатанный на плотной бумаге с водяными знаками.

— Что это? — со страхом спросила Симочка.

— Это? Договор, — пояснил Черт.

— Какой договор? — удивилась она.

— Ну, какой, какой, — улыбаясь, проговорил Черт, — ну, договор, по которому вы отдаете нам свою душу. После смерти, конечно, — поспешно добавил он.

— Ай! — взвизгнула Симочка. — Не хочу! Не хочу! Уберите сейчас же! Я боюсь! Уходите! Уходите!

— Дура! — в сердцах заорал Черт. — Чего ты орешь?! Ей предлагают богатую жизнь за какое-то дерьмо, за душу. Ну что представляет твоя душа. Порцию испорченного воздуха и больше ничего? Ей, дура, предлагают за этукую дрянь настоящую жизнь с брошками и заколками, квартиру с газом и ванной, птичье молоко от бешеной телки, а она начинает тут разводить фигли-мигли — не буду, да боюсь, да не хочу! Подумаешь, какая цаца! Небось, когда целку тебе проламывали, тоже пиццала: пустите, да я боюсь, да не хочу? Да? А потом понравилось? Еще бы! Небось, сама просила. Подписывай, сука!

— Не буду, — огрызнулась Симочка, — сам подписывай. Лучше я буду ходить совсем без брошек или бус, а подписывать не буду.

— Почему?! — заревел Черт. — Почему ты не хочешь подписывать, дура несчастная?!

— Не буду, — упрямо буркнула Симочка, — и не приставай.

— Ну, почему же? Объясни, почему ты не хочешь подписывать, — кипятился Черт, — ты понимаешь, как это для тебя выгодно?!

— Все равно не буду, — упрямо твердила Симочка, — не приставай.

— Ах, так, — остервенело заорал Черт, — и хорошо. Не надо, можешь не подписывать. Посмотрим, как ты будешь выглядеть завтра, когда тебя потащат на Большую Лубянку.

— Куда? — спросила Симочка с испугом.

— Куда? — ухмыльнулся Черт, — на Большую Лубянку, вот куда. Есть там такой домик зеленого цвета. Там тебе покажут кузькину мать.

— Ничего мне не покажут, — с деланным спокойствием сказала Симочка, — за что это мне покажут, разрешите узнать?

— За что? — злобно процедил Черт, — за генетику эту самую, вот за что!

— Это не я! — завопила Симочка, — это все Чижик! Пусть он сам и отвечает?

— Ха-ха-ха!.. — громко и пахально расхохотался Черт, — Чижик! А тебя, как жену! Не знаешь, что ли?

— Не ври, пожалуйста, — орала Симочка, — я никогда не была его женой! Докажи, что я была его женой! А? Съел?

— Вот дура! — искренне удивился Черт, — а чего там доказывать? Кто там будет спрашивать у тебя доказательства? Просто пошлют на 10 лет колупать уголь в Воркуте, и дело с концом! Доказательства! Вот дура! А жаловаться станешь, еще 10 лет добавят, когда разберутся, чтобы не жаловалась. Что ты совсем спятила? Это же Лубянка, дура несчастная, а не Дом пионеров!

— Ничего ты не знаешь, — изо всей мочи закричала Симочка, стараясь взять на испуг собственное тошнотворное сердцебиение. — Наш советский суд знает, где правда, а где неправда!

Услышав такие замечательные, прямо-таки поразительные речи, Черт так искренне удивился, что даже не нашел, что ответить. Он засунул в рот все пять пальцев, что-то забулькал, потом подошел совсем вплотную к Симочке и, хлопая глазами, уставился на нее.

— Да, да, там сразу узнают, кто из нас настоящий советский человек: я или ты! — истошно орала Симочка. — И тогда тебе покажут! Тогда ты узнаешь!

— Не ори, падаль, — ахнул Черт и крутанул Симочкину руку пониже локтя. — Убью!

— Ай! — взвизгнула Симочка и скривилась: — Ах, вот ты какой! Теперь я все понимаю. Ты мешаешь нам идти к коммунизму! Вот ты, оказывается, кто! Аха-ха! Так вот кто мешает нашему победному стремлению вперед, к новым победам! И ты хочешь, чтобы я, советская патриотка, имела с тобой дело? Чтобы я отдалась тебе?! Отдала тебе всю свою душу?! Чтобы я сожительствовала с врагом нашей прекрасной советской жизни?! Ни за что! Товарищ милиционер! — завопила она, бросившись к окну, — товарищ милиционер! Сюда! Сюда! Здесь он! Держите его! — вопила Симочка, высунув в форточку голову с волосами, закрученными, как червяки.

Черт рванулся, опрокинул стол и схватил ее за ноги.

— Спасите! — надрывалась Симочка, зацепившаяся ухом за крючок форточки, — убивают за коммунизм!

— Убью!! — проревел Черт. Он швырнул ее в угол и, схватив за бороду каменного академика Павлова, двинулся к Симочке.

Но в это мгновенье с улицы раздались пронзительные свистки, топот и крики. Черт вздрогнул, выпрямился, уронил академика Павлова и, пнув ногой в Симочкин живот, бросился, оста-

вив пальто и шляпу, через кухню, черным ходом на чердак, с чердака по пожарной лестнице во двор, перемахнул через забор, перебежал переулок, шмыгнул в подворотню и растворился в тумане.

5.4.1950.

Рукопись, озаглавленная «Россия и Черт», написана мной и изъята у меня при обыске.

Аркадий Белинков.

Роль труда [в процессе превращения человека в обезьяну]*

А К Т I

Кабинет начальника отделения пропаганды и агитации. Большая комната, вдоль стен которой расставлены стулья. В глубине сцены, в центре, огромный письменный стол. Слева от него столик стенографисток. Две двери, справа и слева. Сцена пуста. Утро.

(Входит Редактор)

Редактор. Что случилось? Почему такая экстренность?

(Быстро входит обозреватель по международным вопросам правительственной газеты)

Обозреватель. Что случилось? Зачем эта потрясающая срочность? *(Налетает на Редактора)* И вы?

Редактор. И я? Что? Ах, да, да, да... Это фантастическая реальность. Это социалистический реализм. Это — мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И я. И я. А вы?

Обозреватель. Трудно сказать. При современном потрясающем международном положении. Но они просчитались: фронт защитников мира проходит не по границе стран, строящих социализм, а внутри их собственных домов, заводов и фабрик!

Редактор. Не далек тот час, когда потолки упомянутых выше помещений обрушатся на их головы.

Обозреватель. Тогда им покажут, всем этим Жюлям Мокам, Де Голям и Сартрам.

Редактор. Тогда они узнают, что такое социалистический реализм и по чем фунт лиха! Но что же такое случилось?

Обозреватель. Что же случилось?

* Полное название сообщено автором устно. Под «трудом» он понимал «труд» И. В. Сталина «История ВКП(б). Краткий курс».

(Пауза)

Редактор. То есть, как это, что случилось?! Вы не знаете, что случилось?

Обозреватель. Как это я не знаю, что случилось? Даже страшно. Может быть, это вы не знаете, что случилось. В 1917 году произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот что случилось!

Редактор. Да. И я с этим не спорю. Действительно, в 1917 году в октябре месяце по старому стилю произошла Великая Октябрьская социалистическая революция и лучшим доказательством этому служит то, что мы сейчас находимся в этом роскошном кабинете, а не припухаем где-нибудь под забором. Но великие классики самого передового в мире мировоззрения учат нас смотреть в корень вещей. В 1848 году впервые человечество познакомилось с гениальным творением Маркса и Энгельса «Манифест коммунистической партии».

Обозреватель. Да, да... Передушат... Передают... Перерезают...

Редактор (*испуганно*). Кого?

Обозреватель. Что?

Редактор. Что же это случилось?

Обозреватель. Что случилось, что случилось? При такой напряженной международной обстановке, когда появляются всякие космополиты...

Редактор. Ну?

Обозреватель. Ну, вот и ну!

Редактор. Да уж, обстановочка, что надо. Того и гляди... Как вы думаете, война будет?

Обозреватель. Обязательно.

Редактор. Да, что вы?

Обозреватель (*ехидно ухмыльнувшись*). Весь вопрос — когда.

Редактор. Да, да, именно в этом вопрос. Конечно, война неизбежна. Этому учат наши великие основоположники. Но когда? Хорошо бы не раньше, чем через две недели.

Обозреватель. А что?

Редактор. Да, так, знаете... всякие проблемы возникают... Оно, конечно, не самое главное, но уж если, так сказать, логика истории, то лучше через две недели.

Обозреватель. Стратегию еще не закончили?

Редактор. Стратегия, не стратегия, а вот у Кирюхи из Советского информбюро на двадцать второе назначена выпивуха-гранд. Знаете, жалко, если пропадет. Конечно, это не самое главное и неумолимая логика истории, конечно, имеет неизмеримо большее значение. Но вы понимаете, ведь воюют-то люди. Это только империалисты считают, что можно вместо людей посылать машины, потому что они боятся людей, а раз люди, значит,

у них должен быть боевой дух. А какой у меня может быть боевой дух, коли вместо того, чтобы выпивуха, погонят в окоп вшу кормить [вариант: поить].

Обозреватель. Это, конечно. Боевой дух войска... Этим всегда очень сильна была наша любимая армия. Уж чего другого, а духу всегда было хоть отбавляй. Через две недели говорите? Много. Мне как раз самое удобное послезавтра. 50 рублей долгу платить надо.

Редактор. Оно, конечно, так, но знаете, еще скажут личные интересы и все такое...

(Входят Член ЦК и Корреспондент)

Корреспондент. Здравствуйте, товарищ редактор. Здравствуйте, товарищ обозреватель. Вы слышали?

Обозреватель. Что?

Корреспондент. Как — что? Можно сказать, вся Москва, центр, так сказать, всего прогрессивного человечества только и говорит об этом...

Редактор. Да о чем же, товарищ корреспондент?

Корреспондент. О чем?! Товарищ Член! Они еще ничего не знают!

Член ЦК. Нет полного контакта с нашей действительностью у обеих товарищей.

Корреспондент. Да как же это так вы живете? В наше-то, в советское самое счастливое в мире время и ничего не знаете?!

Редактор *(зеленея от злости и страха)*. А вы знаете, что мы сутками напролет, без сна и пищи трудимся, пропагандируя самое прогрессивное в мире мировоззрение?!

Член *(Корреспонденту)*. Вот вам и отрыв. Отсюда и с массой неувяз.

Корреспондент. Конечно! У товарища Ленина по этому поводу гениально написано: «Страшно далеки они от народа».

Обозреватель *(нахмурившись)*. У меня по четвергам и субботам 26 лекций по международному положению.

Корреспондент *(ехидно)*. А когда же вы тогда партийные взносы платите — позвольте спросить, товарищ обозреватель?

Обозреватель. Вот и не поймали. Аккурат, самое воскресенье, товарищ корреспондент.

Член. А вот и поймали! В воскресенье-то все отдаются культурному отдыху и нигде не принимают.

Редактор. Ну, это как где, товарищ Член. Может быть, там, где бюрократизм, там и не принимают. А у нас очень даже принимают. И еще просят. Прямо из рук рвут.

Обозреватель. Еще как принимают. Вот именно, из рук рвут. Мне так вот даже 18 копеечек сдачи не сдали. Вот именно.

Как раз в прошлое воскресенье. Это я очень замечательно запомнил, потому что накануне жене сказал, чтобы она на эти 18 копеечек больше не рассчитывала: я на них самостоятельно газированной воды с клюквенным сиропом выпью.

Член. Знаю я, как ваш брат партийные взносы платит! Небось каждую копейку зажать норовит! Нет, чтобы...

Редактор. Ладно, этот вопрос выяснится. Оставим пока этот вопрос. Гораздо важнее сейчас узнать, что же такое произошло в мире, раздираемом международными противоречиями.

Корреспондент. Ладно уж, оставим. Это все равно выяснится. Сейчас, конечно, важнее, что происходит в мире, раздираемом международными противоречиями, чем наши мелкие неизжитые интересы.

Обозреватель. То есть как это мелкие?!

Редактор. Это у кого же неизжитые?!

Корреспондент. Не будем в такое время ставить точек над *i*, товарищи. Произошло событие исключительного значения. Сегодня ночью президент Трумен прислал товарищу Сталину телеграмму, в которой сообщает, что, ознакомившись с его гениальным произведением «Относительно марксизма в языкознании», больше не хочет быть марионеткой в руках Уолл-стрита и просит забыть все и принять его в кандидаты.

(Общее потрясение)

Редактор. Вот это да! Вот это здорово! Сначала фюрер, потом Трумен и оба как Форресты! Вот это да!

(Входит Известный писатель)

Известный писатель. А! Мое почтение авторскому коллективу, еще не удостоенному Сталинской премии. Тоже изволили пожаловать?

Корреспондент. Тоже товарищ Симонов. Дела-то, дела! Прямо фокус. А?

Писатель. А что же за фокус? Обыкновенное дело: будем переходить к коммунизму. Факт.

Член. То есть как это будем?

Писатель. А вот так и будем. Обыкновенное дело. Вызвали и скажут: так, мол и так. Созрели? Созрели. Ну и переходите. Факт.

Редактор. А ведь правда! А? А? Что же, мы разве не созрели? Уж давно созрели! Так чего же не переходить? Сразу же и перейдем! Чего только зря время терять?

Писатель. Факт!

Обозреватель *(осторожно)*. Вот это самый раз. И деньги отменять будут?

Писатель. Вам сразу все подай. Так сразу и деньги отменяй. Сначала хлеб бесплатный сделаем, а потом видно будет.

Обозреватель. И это гениально. А как там насчет долгов, не слышали? Хлебом нельзя будет отдавать?

Писатель. Можно.

Обозреватель (*орет*). Ура! Да здравствует коммунизм! А когда начнется?

Редактор (*перебивает*). Скажите, пожалуйста, а как там насчет потребностей?

Писатель. А это смотря насчет каких потребностей. Есть, к примеру, у тебя потребность повышать производительность, пожалуйста, повышай, с полной нашей радостью. Или, скажем, есть у меня потребность воспеть в реалистической поэме творца нашей счастливой жизни, сколько угодно! Только воспевай. Даже еще бумаги выдадут: может быть, в двух сериях с продолжением воспевать будешь. Вот и все. Факт.

Член. А как со всякими пережитками, с родимыми пятнами и отрывками проклятого буржуазного прошлого и капиталистического окружения?

Писатель. С какими такими пережитками, пятнами и отрывками? Нет у нас ничего такого. Пережили пережитки.

Корреспондент. Уже?

Писатель. Вот именно.

Член. Ну, тогда так. Раз нет пережитков. Тогда, конечно. Переходим в светлое царство коммунизма под солнцем Сталинской конституции и лампочки Ильича.

(Входят Рабочий-рационализатор, Доярка-лауреат, Тенор)

Писатель. Приветствую знатного лауреата товарища Титкину! Сколько надоили, дорогой товарищ?

Доярка. Пять тысяч. И еще надоим. А где тут, товарищ писатель, ситчика дают?

Писатель. Вот это здорово! 5 тысяч. (*Записывает*) В поэму!

Доярка. Куда?

Писатель. В лучшую поэму. Факт.

Доярка. Уж вы меня, пожалуйста, представьте перед колхозным крестьянством в новом платье с зеленым бантом и, чтобы всюду был перманент. А еще, чтобы цыцки были полные.

Писатель (*записывает*). Непременно. Есть в колхозе перманент. И чего, чего у нас нет! В новом платье... А какая отделка на платье? Лучше пунцовая с трактором. (*Записывает*) И идет с заводов трактор по советским нашим трактам. Очень замечательно. И про цыцки... Вот это очень замечательно, про цыцки. Только, чтобы цыцки были полные, надо для реализма убедиться самому. Пощупать, так сказать, для социалистического реализма.

Доярка. Щупай, пожалуйста. Не фальшивые, своим трудом

нажитые на родное рабоче-крестьянское государство. Небось не на помещика.

Писатель (*щупает*). Хорошие цыцки. В поэму.

Доярка. Не в том сейчас дело. Скажите лучше, чего вызвали?

Рабочий-рационализатор (*подходя*). Зачем вызов? Ась? Надо сразу знать, как тебя рабоче-крестьянское государство вызывает. Небось государственный вопрос будут принимать.

Писатель (*хитро подмигивает*). Да уж будет вопросик такой, что любая другая капиталистическая держава шею себе на таком вопросике сломит.

Рабочий. Вот и у меня такая думка. Прихожу это я со смены, после выполнения и перевыполнения, а Манька еще у крыльца меня сторожит. «Слышь ты, — говорит, — отмывай харю скорей, да беги в партийный дом добавку к Сталинской премии получать». Я и прибыл, отмывши-то харю.

Корреспондент. За чем придешь, того никогда не найдешь, товарищ Многостаночников. Тут поглубже, брат, фрезеруй. Дела.

Тенор (*хранивший глубокое молчание*). Что касается меня, то я единственно абсолютно интересуюсь дилеммой [вариант: идеей фикс], до каких эпох будут давать разоблаченным в историческом постановлении от 10 февраля 1948 года об опере Вано Мура «Великая Дружба» всяким эстетам, формалистам и космополитам иметь от себя детей. И сегодня это дитяtko абсолютно получит свой финита ля комедия!

(Повернувшись на каблуках, уходит)

Писатель. Факт!

(Уходит в грутую сторону)

(Входит Ректор Московского университета)

Ректор. Никто не знает, зачем вызвали? С завтрашнего дня начинаем жидов бить во славу великого русского народа?

(Уходит)

(Входит Дипломат. Быстро и озабоченно подходит к группе)

Дипломат (*тревожно*). Зачем вызвали?

(Мгновенье стоит, тупо смотря на присутствующих, и проходит дальше)

(Входит Секретарь райкома. Подходит к группе)

Секретарь. Что такое? Вы понимаете, что значит в такое напряженное время такой срочный вызов?

(Проходит)

(Входит Прокурор)

Прокурор. Что случилось? Не иначе, как амнистия. Я бы им дал, сволочам, амнистию!

(Уходит)

(Входит Историк)

Историк. Что это? Что это? Прямо все поджилки трясутся. При такой напряженной международной обстановке, я уверяю вас, что это будет новое снижение цен на табак, вино-водочные изделия и капусту! Космополиты проклятые!

(Уходит)

(Влетает Генерал)

Генерал. Здравия желаю. Вы ничего не знаете? А я все знаю. Могу объяснить весь смысл. Будут испытывать атомную бомбу!

Все. Здесь?!

Генерал. На правом фланге.

(Вылетает)

(Входит Генрих. Он медленно движется среди присутствующих. Расеянно здоровается. Подходит к оторопевшей группе)

Корреспондент. Вы ничего не знаете?

Генрих. Знаю.

(Все присутствующие отступают его)

Редактор. Да что вы?

Обозреватель. Что? Что вы знаете?

Генрих. Основы марксизма-ленинизма. С первоисточниками.

(Общее почти не скрываемое разочарование)

Корреспондент *(имитируя глубокое уважение к такого рода познаниям, но с внутренним разочарованием)*. Вот это прекрасно! Это, можно сказать, — все! Человек, вооруженный теорией марксизма-ленинизма с первоисточниками, может перевернуть мир. Что же это вам дает?

Г е н р и х. Картину будущего.

(Отходит)

К о р р е с п о н д е н т. Картину будущего! Скажите, пожалуйста! Я все знаю! Я знаю марксизм-ленинизм! Какой апломб! А где скромность, украшающая настоящего большевика? Я скажу вам: он такой же большевик, как я — проститутка! Вот кто он!

О б о з р е в а т е л ь. Можно подумать, что нам не ясна картина будущего! Разгромили Зоценко с Ахматовой? Разгромили. Репертуар драматических театров и меры по его улучшению разгромили? Факт. Кинофильм «Большая жизнь» разоблачили? Разоблачили. Ване Мурадели высыпали? Высыпали. Осталась еще кое-какая идейно-недобитая внутренняя сволочь, а там, глядишь, в Корею управимся, разобьем шакала Тито, разгромим американских фашистов, скрутим всех ихних и вокруг зашумят гениальные сталинские лесозащитные полосы и будет коммунизм. Вот что дает знание марксизма-ленинизма!

П и с а т е л ь. Факт!

(Входит Начальник канцелярии Верховного Игеолога. Все устремляются к нему)

Р е д а к т о р. Что случилось? Ах, вы все знаете! А мы ничего не знаем! Скажите нам все, что вы знаете!

К о р р е с п о н д е н т. В наш век все дороги ведут к коммунизму. Когда будет коммунизм?

И с т о р и к. Цены снижать будут?

Г е н е р а л. Возьмемся за прославленное оружие?

П р о к у р о р. Амнистию собакам будут выдавать?

Д о я р к а. А про Сталинские премии ничего не слышать?

Н а ч . к а н ц е л я р и и. Вы марксизм-ленинизм изучали?

В с е. Еще бы. Конечно. А как же. Можете проверить. С первоисточниками.

Н а ч . к а н ц е л я р и и. Знаете, в какое напряженное время живете?

В с е. А то как! На зубок знаем. Это мы лучше всех знаем.

Н а ч . к а н ц е л я р и и. Ну вот и все. Тогда сами все понимать должны.

(Уходит. Его провожают, пораженные тревогой и недоумением. Из глубины сцены раздается голос Генриха, о котором все забыли. Все испуганно оборачиваются к нему)

Г е н р и х. Вы забыли основы марксизма-ленинизма.

(Мертвая тишина. Входят Аркадий и Марианна и останавливаются в центре сцены)

Писатель (*кричит*). Нет, это вы забылись!

Корреспондент (*кричит*). Вы что же это, нас поучать вздумали?! Вы сами такой же марксист, как я — проститутка!

Член. А ну, проверим, как у него с партийными взносами?!

Редактор. Да что же это делается? Крути ему лапы, братцы!

Аркадий. Молчите. Пусть лучший из вас скажет, в чем смысл жизни [вариант: назначение] человека?

Доярка (*входя*). А ежели при коммунизме даровой хлеб будет, так это я могу по пуду в каждую руку взять?

Аркадий. Не будет вам коммунизма.

Редактор (*озяясь до крайней степени*). А тебе будет?

Аркадий. Мне не нужен ваш коммунизм.

(Мертвая тишина. Всех присутствующих коснулось крыло смерти)

Обозреватель. Ну и хрен с тобой. А нам все равно будет. Марианна. Неправда!

(Распахивается центральная дверь. На пороге появляется Начальник канцелярии. Он внимательно осматривает всех присутствующих и останавливает взгляд на Марианне)

Нач. канцелярии (*властно*). Ну!

Марианна (*опустив голову, проходит к Верховному Идеологу*).

(Смятение)

Корреспондент (*потирая руки*). Ха-ха! Фаворитка! Помпадур! Скажите, пожалуйста! Какой апломб. «Никогда!» (*Погражает*) Хи-хи. Сейчас ей покажут «никогда»!

Член. Сейчас покажут.

(Генрих отводит Аркадия в дальний угол сцены)

Генрих. Что же вы молчите?

Аркадий. А зачем же вы отвели меня в самый дальний угол? (*Молчание*) Может быть, нужно обличать? Я не знаю. Скажите, нужно обличать?

Генрих. Тише. Что вы кричите? Конечно, нужно обличать.

Аркадий. Как, шепотом? История русской интеллигенции. Мы шумно обличали в 1916 году и в 1918-м. В 1917-м мы тихонько сидели в нетопленных кабинетах и цитировали кукиш в кармане.

Генрих. Вы не хотите понять изменений, происшедших с русской интеллигенцией за эти десятилетия.

Аркадий. Отчего же? Именно это и вызывает во мне ощущение безнадежности. Дело в том, что до этих десятилетий русская интеллигенция творила мерзость тонко и так, как будто это вовсе не мерзость, а теперь она творит ее явно и так, точно лучше и правильней нет ничего на свете. Видите ли, мелкий вор ворует только потому, что у него пустой желудок и у него нет концепции. У крупного вора желудок туго набит, и главный тезис его концепции — борьба с пошлым человечеством. Что касается русской интеллигенции, то она пошла служить в полицию. У воров с концепцией это считается самым тяжелым преступлением и карается смертью. Я забыл, как называются такие воры.

Генрих. Я могу не согласиться с диагнозом, даже не признавать болезни, но, извините, если вы признаете болезнь, устанавливаете диагноз, чувствуете себя больным, то почему же вы не лечитесь? Когда мы увидели болезнь, то мы и нашли лекарство — марксизм-ленинизм.

Аркадий. Вы не нашли никакого лекарства. Вы нашли наиболее удобную форму взаимоотношений между пациентом и лекарем: вы делаете вид, что и лекарство вам прекрасно помогает, уже помогло, и что оно вам страшно нравится. Вы такие же больные, как и мы, только не признаетесь в этом. И поэтому вы опасней нас: вы обманываете и заражаете. Неужели вы верите Шостаковичу, Сельвинскому, Эйзенштейну, Шкловскому, что они здоровые и верующие? Я не верю даже девочкам из пионерской самодеятельности, хотя они заражены еще в материнском чреве, потому что можно заставить человека не признаваться в болезни, стесняться ее, но нельзя заставить больного искренне считать болезнь большим удовольствием.

Генрих. Неужели вы не видите искренности людей, верящих в марксизм-ленинизм?

Аркадий. Верю. Но все, кого я за таких знаю, делятся на три категории. Первые — цыпики, которые имеют от марксизма-ленинизма все блага жизни и которые без марксизма-ленинизма потеряют все, вплоть до метлы, с которой они не умеют обращаться. Вторые — трусы, которые мало верят в марксизм-ленинизм, не больше, чем в существование ада пабожные иудеи, [10] верят в могучую силу органов государственной безопасности. И, наконец, третьи — те, которые искренне верят в марксизм-ленинизм, потому что считают, что до марксизма-ленинизма люди пухли с голоду, не знали грамоты, возили на своей спине фабрикантов, что в Америке магнаты Уолл-стрита бьют рабочих и не дают им хлеба и т.д. Эти верят искренне, но потому что они дураки и невежды.

Генрих. Слушая вас, я все время старался подобрать себе подходящую категорию. Вы знаете, что я не очень стеснителен и не побоялся бы прописаться в одной из трех комнат выстроенного вами дома. Я в них не стану прописываться. Они просто мне

не подходят. Дело не в том, что дом окнами-то выходит на Запад, (я плюю на эти вещи даже в этом кабинете), а в том, что домишко — мал. Пристраивайте четвертую комнату для жильцов, ненавидящих промысел марксизма-ленинизма с ловом жирных карасей; не пошедших зазывалами в марксизм-ленинизм из боязни органов государственной безопасности, то есть не совсем не боящихся этих самых органов, но достаточно смелых, чтобы погубить себя, но не согласиться с ними, и, наконец, для таких, которые все-таки знают, что линчуют очень немногих негров и то, главным образом таких, которые, наверное, этого заслуживают, что английские чернорабочие живут не хуже советских инженеров и т.д. Пристройте четвертую комнату для нас, знающих все это и, кроме этого, знающих, что мировая история — это история медленных, но почти постоянных уступок имущих классов неимущим, что имущие классы в наше время почти беспомощны, до пошлости легкомысленны и лишены элементарного понимания действительности. Они — на краю гибели. Дело в том, что марксизма-ленинизма — два! Один — их марксизм-ленинизм, который пожрет сам себя, другой, настоящий, все выстоит и всех победит.

Ар ка д и й. И поэтому вы против них? Вы рассуждаете, как человек, которому важно только пристать к тем, кто победит.

Ге н р и х. Нет, я рассуждаю, как человек, который махнул рукой на безнадежного больного, у которого не хватает юмора отказаться от лекарств в возрасте, когда все равно пора помирать.

Ар ка д и й. Я тоже не питаю никаких иллюзий в отношении старика — больного. Но меня страшно интересует вопрос о наследстве. Больного можно даже убить. Но кому достанется наследство? Дело в том, что существует два способа убить старуху-процентщицу, и сообразно способам осуществляют их разные наследники. Так, в 1932 году Гитлер убил дряхлого Гинденбурга и получил тупой нацизм, а в 1947 году какой-то, ну, например, Готвальд убил выжившего из ума Бенеша, которому, действительно, больше ничего не оставалось, как помереть, и получил зверский марксизм-ленинизм.

Ге н р и х. Вы не сказали, кто из них хуже.

Ар ка д и й. Оба одинаковы. Что стоит нацизм, если он, выпестованный семейством Чемберленов, оказался каким-то infantilisme и пошел кидать фугасы на Лондон, а только потом стал кидать (с неизмеримо меньшим успехом) на Москву. Что стоят Чемберлены, если они дотянули открытие второго фронта до тех пор, когда ваши были уже на Висле?

Ге н р и х. В самом деле, что они стоят? И почему вы с ними?

Ар ка д и й. Они ничего не стоят. Почему я с ними? Видите ли, на скачках я никогда не ставлю на жокея. Я ставлю на его лошадь. Ничего не стоят владельцы «Стандарт Ойл», потому что

война для них все время утрачивает свое главное назначение: уничтожение коммунизма, из-за новых золотых слитков, которые заплывают в трюмы их сейфов. Я с ними, потому что во все века человеческой истории не было ничего выше и прекрасней современного интеллигента Запада, человека фантастической мощи и свободы мысли.

Генрих. Почему же вы тогда не воевали с нами в армии генерала Власова?

Аркадий. Дело в том, что я не умею стрелять.*

Корреспондент (*подходя*). Нет, вы оба не правы, один, обвиняя нас в забвении марксизма-ленинизма, и другой, голословно заявляя, что нам вообще коммунизма не будет. Вы даже не можете себе представить, как настоящему советскому патриоту тяжело слушать такие слова.

Аркадий. Простите, пожалуйста, мы хотели у вас спросить, как называются воры, которые изменили, так сказать, уставу корпорации и переметнулись на сторону власти.

Корреспондент (*с готовностью*). Такие товарищи называются «суками».

Аркадий. Благодарю вас.

(Корреспондент отходит)

Генрих. Скажите, почему до сих пор вас, никогда не прятавшегося и не пытавшегося увильнуть от ответа, до сих пор не скрутили?

(Распахивается центральная дверь. На пороге появляется Марианна)

Марианна. Аркадий! Вы знаете, для чего все это?

(Ее окружает вся стая мелких идеологов)

Мелкие идеологи. Для чего? Говорите скорей! Ну, что же вы молчите? Не тяните душу! Да говорите же, наконец!

Аркадий. Что бы они ни сделали, Марианна, все равно никто из них не знает, в чем смысл жизни человека.

Марианна. Никто.

(Она уходит в угол к Аркадию)

Корреспондент. Что случилось?

Редактор. Уму непостижимо!

Дипломат. Это просто невероятно!

Генерал. Когда начинаем?

* Дальше приписка красным карандашом рукой автора: «Эта тема должна пройти сквозь всю пьесу и во 2 акте он [далее нрзб.]...»

Член ЦК. Давай.

Доярка. А сколько на комбинации будут давать?

(В это мгновение распаивается центральная дверь и в ней стоит Верховный Идеолог Державы. Все замирают)

Верховный Идеолог *(в дверях)*. Ну? *(Мертвая тишина)* Чего молчите, как говно в рот набрали? Советскую власть испугались? То-то же! Садитесь. *(Вся компания жметя к стенкам)* Садитесь, говорят. Чего стоите, как бревна? Для того и стулья куплены. Куда с погами полез, харя! А еще культурный. Небось сам на стенках в отхожем писал: «Не плюй и не выражайся». А ты? Чего, живот заболел, что ли, стоишь раскорякой? Да не ты, вон та, за академиком заховалась. Вот эта, ага, нукась подь сюда, дай я тебя, гниду, ногтем прищелкну. Это ты, что же, длиннее шмотки не нашла? Глядеть погано: весь [нрзб. — нипель?] видно, проститутка. Сейчас, чтобы пальцем прикрыть! А вы чего там в углу шепчетесь? Против советской власти сговариваетесь? Жиды завсегда против советской власти сговариваются. Колом она у них в глотке стоит. Небось при Хайль-Гитлере лучше было? Лучше, да?

Редактор *(заикаясь)*. Смерть немецким оккупантам...

Идеолог. Мало они вас резали. Садитесь. Куда лезешь, корова? Пусти в первый ряд вот эту. *(Марианне)* Выходи, выходи, милка. Тебе место прямо в первый ряд. Как раз против самых нас. Чего напужалась? Не бойся, тебя не схаваяю. *(Марианна садится напротив Идеолога)* Гуляй здесь. Ну, чего молчите?

Писатель *(заикаясь)*. Под влиянием исторического момента...

Идеолог. Правильно. Возьмешь себе посла булку бесплатно.

Писатель *(сияя)*. Служим Советскому Союзу. Высокая правительственная награда вдохновляет нас на дальнейшие подвиги.

Идеолог. Давай, давай. Ладно. А ты чего, как воск какой-то несоветский, глядишь?

Историк. Я не гляжу... Я так... Я хотел... Я только...

Идеолог. Пшел вон, сука. Я те дам. Я так, да я эдак. Наквось вижу. Космополит проклятый. *(Марианне)* Чего дрожишь? Сиди, тебя не трону. *(Генриху)* А ты? Не правится? Как же! Батка-то твой где? А? Помалкивасшь? То-то же. Небось, на Колыме припухает, кубики выбрасывает. И тебе бы туда, помогать батке-шпиону, умел больно стал. За государственный счет. Ничего, теперь и своего интеллигента хватает, как собак нерезанных развелось. Это тебе не военный коммунизм. Пойдешь, пойдешь скоро к батке-шпиону. Припасай ватные портки. *(Обозревателю)* А ты, чего вбок глядишь? *(Глядящий вбок обозреватель судорожно икает и, не будучи в состоянии промолвить слова, показыва-*

ет по направлению своего взгляда грожащим пальцем. На стене висит портрет Учителя) А-а... ну, ну, смотри, хорошенько смотри. Это правильно делашь, очень даже правильно. Возьмешь себе посла огурец. Скажешь там, чтобы большой выбрали. Семенной. Начинаем. (Стенографисткам) Пиши.

Д о я р к а (своему соседу-академику). Батя, а сколько она берет за аборт-то?*

А к а д е м и к. Триста целковых.

Д о я р к а. А за двести?

И д е о л о г. Товарищи рабочие и колхозники, солдаты и офицеры, советская интеллигенция! Свыше тридцати лет наша великая и могучая советская власть дает вам все, о чем мечтали все прогрессивные умы прошлого и о чем мечтают прогрессивные умы настоящего, расположенные в капиталистическом окружении. Советское государство уверено, что вы каждый день изучаете газеты и, наверное, слышали, что наша страна, хотя и не находится [предположительно: на военном положении] благодаря великой и мудрой политике нашей партии и лично нашего вождя и учителя, великого товарища Сталина, но все-таки капиталистическое окружение существует, и было бы не большевистским делом закрывать на него наши партийные глаза. И вот, как вы могли изучить в газетах, это капиталистическое окружение грозит нам новой войной. И как вы знаете из великого учения диалектического и исторического материализма, чем у него дела хуже, тем оно все больше и больше будет лезть на рожон. Таков неумолимый закон истории. Вы знаете, что будущая война вызовет к жизни тысячи и миллионы жертв. И хотя у нас есть своя атомная бомба, которая лучше, чем у него, но так как мы великие гуманисты, то воевать мы не хотим, хотя, конечно, как вы великолепно знаете, к бою всегда готовы. Понятно? (Возгласы с места: «Понятно. Это мы хорошо понимаем. Долой поджигателей войны!») Так вот, если для вас этот вопрос ясен, то можно перейти дальше. Товарищи, сейчас наша задача, как можно больше оттянуть войну, потому что мы набираем силу и еще потому, что страны пародной демократии и Китай тоже не свистят, а укрепляют свою экономическую и военную базу. Одновременно с этим у капитализма, у которого еще не успели залечиться раны после Второй мировой войны, растет и крепнет могучий фронт борьбы за мир во всем мире. Поэтому нашей задачей является напрячь все наши силы на то, чтобы воспитывать наш народ в состоянии мобилизационной готовности и помогать могучему фронту борьбы во всем мире, поскольку Советский Союз стоит во главе могучего движения. Это как раз и есть самое ваше дело. За это вам и платят полноценными советскими денежками, чтобы вы делом

* Дальше в скобках приписка рукой автора: «Ввести эту реплику, как сквозную доярки». Подчеркнуто красным карандашом.

занимались, а не занимались подсиживалием друг друга и воздух портили. Понятно? (*Возгласы с места: «Понятно. Долой поджигателей войны!»*) Ну, вот то-то. А для чего это нужно? А вот для чего. Воевать, коли война, так и так будут. И героические подвиги совершать на фронте и в тылу тоже будут. Никуда они не денутся. Нужно это для того, чтобы, если оккупирует американец часть нашей священной территории, чего, конечно, никогда не будет, и зарубите это себе на носу рядом с местом, где сказано о том, что такое диалектический и исторический материализм, то чтобы не получилось, как в Отечественную войну, чего, конечно, не было, благодаря неустанной заботе нашей партии и лично товарища Сталина, но могло бы получиться, когда развелась, прямо-таки сказать, туча изменников нашей великой социалистической родины. Понятно? Нехай. В связи со всем вышеизложенным, и из-за этого вас и согнали сюда, мы под мудрым водительством нашего вождя и учителя товарища Сталина решили создать исторический Указ Верховного Совета Союза ССР об улучшении постановки идеологической работы среди населения нашей любимой родины. Сейчас вас познакомят с этим историческим указом. (*Начальнику канцелярии*) Давай.

Н а ч . к а н ц е л я р и и. Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об улучшении идеологической работы среди населения.

В связи с возникшей в последнее время угрозой новой войны, разжигаемой международной, и, в первую очередь американской, империалистической реакцией, в целях поднятия идеологического уровня населения нашей родины Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Ввести обязательное для всего населения СССР изучение гениального труда товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс».

2. Сформировать из населения СССР группы по типу отделений, взводов, рот и т.д. до дивизий включительно для изучения гениального труда товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс».

3. Назначить во главе упомянутых подразделений опытных командиров, утверждаемых ЦК ВКП (б).

4. Считать всякого уклоняющегося от несения изучения гениального труда товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс», как дезертира и предавать такового немедленно суду военного трибунала по законам военного времени.

5. Возложить ответственность за все мероприятия, связанные с несением изучения гениального труда товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс» на министра Государственной безопасности комиссара 1-го ранга тов. А. Г. Абакумова и на нач. отдела пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) тов. А. А. Жданова.

6. Ввести обязательное изучение гениального труда товарища

Сталина И. В. «История ВКП (б). Краткий курс» с 6-го апреля сего года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. М. Шверник.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. А. Горелов.

Москва. Кремль. 24 марта 19...

(Аплодисменты. Все встают. Возгласы: «Ура! Да здравствует товарищ Сталин! Великому Сталину — ура!» Постепенно все присутствующие успокаиваются)

Идеолог. Понятно? Ну вот, то-то же. Это вам не фигли-мигли. Чувствуете? Товарищи рабочие и колхозники, солдаты и офицеры, советская интеллигенция! Вооруженные историческим Указом Верховного Совета об улучшении идеологической работы, мы должны отдать все наши силы на разгром магнатов Уолл-стрита. Теперь у вас в руках имеется мощное оружие, с помощью которого мы обрушимся на международную реакцию. Мы должны проявить большевистскую бдительность и раздавить всякую попытку уклониться от изучения гениального труда товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс». Каждый из вас, почувствовав, что на каком-нибудь участке дело не ладно, должен немедленно хватать виновного и тащить...

(Он замирает, вытянув голову по направлению к боковой двери. На мгновенье застывает. Дверь слегка приоткрывается. Медленно входит кошка. Идеолог срывается из-за стола и на четвереньках с лаем бросается к кошке. Кошка выскакивает в щель противоположной двери. Идеолог с лаем прыгает за ней. Он с рычаньем скребет передними лапами порог захлопнувшейся двери. Поняв тщетность своих попыток, он, скуля, медленно направляется к столу. Обнюхав ножку стола, он поднимает заднюю лапу и мочится. Потом проходит под столом к своему креслу и встает во весь рост. Все присутствующие почтительно наблюдают за превращениями Идеолога.)

Идеолог. ...хватать и тащить, куда следует. Имея могучее идеологическое оружие, вперед к новым победам!

Все. Да здравствует товарищ Сталин! Вперед к новым победам! Да здравствует коммунизм! Долой поджигателей войны!

Идеолог *(Марианне, вполголоса)*. Посля приходи. Небось платья-то все износила, а новые-то не на что покупать?

Марианна *(вполголоса)*. Спасибо. У меня все есть.

Идеолог. Все равно приходи. Боишься своего? Не бойсь. Мы его так упрячем, что и не сыщут.

М а р и а ш а. Нет, нет, не надо. Я приду. Я приду.

И д е о л о г. Приходи. В обиде не будешь. *(Громко Генриху)* Ну, чего уставился?

Г е н р и х. Ничего. Изучаю историю правов.

И д е о л о г. Чего? Историю нравов! А указ ты слышал? Там что сказано изучать? Дезертируешь? К батьке захотел? Так это мы в два счета. Больно умный стал. *(Нач. канцелярии наклоняется к уху Идеолога)* Ну, чего тебе? *(Нач. канцелярии шепчет)* Давай.

Н а ч . к а н ц е л я р и и. Читаю текст присяги. Хором повторите за мной. Потом будете подписывать.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, в минуты, когда моей великой родине угрожает военная опасность от международной и, главным образом, американской, реакции, перед лицом своей великой Матери-родины клянусь, не щадя своих сил, а если понадобится, и жизни, изучать гениальный труд товарища И. В. Сталина «История ВКП (б). Краткий курс». *(Хор, стоя, повторяет)* И, если слабость или злой умысел, или страх за свою шкуру помешают мне изучать для борьбы с врагом гениальное произведение товарища И. В. Сталина «История ВКП(б). Краткий курс», то пусть покарает меня суровая, но справедливая рука советского закона и презрение всех трудящихся». *(Хор повторяет)*

(Молчание)

И д е о л о г. Садитесь. *(Все сагятся)* Делайте выступления радости. *(Писателю)* Давай.

П и с а т е л ь. Товарищи! Нет таких слов, которыми могло бы быть выражено наше ликование по поводу настоящего исторического указа. Товарищи! Партия, правительство и лично товарищ Сталин, не щадя своих сил, беспокоятся о нас, чтобы мы были образованными и чтобы всякие фашистские бандиты не отобрали наше счастье! Товарищ Сталин и его ближайшие соратники, к которым относится наш дорогой товарищ Жданов, учат нас, что вопросы идеологической борьбы в мирное время приобретают еще большее значение, чем в военное. От всего сердца благодарим партию, правительство и лично товарища Сталина и товарища Жданова за их неустанные труды и заботу о нас, патриотах своей социалистической родины. Да здравствует наша могучая Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков! Да здравствует наше Советское правительство! Да здравствует мудрый вождь и учитель, любимый товарищ Сталин!

В с с. Да здравствует товарищ Сталин! Великому Сталину — ура!

И д е о л о г *(обозревателю)*. Давай.

О б о з р е в а т е л ь *(стоит с широко раскрытым ртом и выпу-*

ченными глазами. Кивает в сторону портрета и тычет в него грожащим пальцем).

Идеолог. Ну?

Обозреватель (тычет пальцем). Товарищи! (Завывает от счастья) Мы можем свободно изучать (Воет) Африканцы не могут изучать (Воет) Австралийцы не могут изучать (Воет) Аргентинцы не могут изучать (Воет) Ура! (Воет)

Все. Ура!

Идеолог (Генриху). Ну, а ты? А то еще скажешь потом, что зажимают свободу слова. Давай. Послушаем, чего ты такого хорошенького скажешь.

Генрих. Товарищи! Наш путь к коммунизму труден. Великой дорогой идем мы в коммунизм. Для того, чтобы победить в каждой борьбе, нужно не только в совершенстве изучать свое оружие, но и воспитать в себе самую глубокую веру в него. Наше оружие — стройное учение марксизма-ленинизма. Это безотказное оружие, но поражать врага им можно только тогда, когда сам всей душой веришь в него. Силой отдачи выстрела по врагу это оружие убивает в нас все, что мы получили плохого в наследство от веков человеческой истории. Но никогда нельзя забывать, что оружие убивает только тогда, когда стреляющий из него хорошо прицелится. Для того, чтобы хорошо прицелиться, нужно хорошее зрение. Вот это хорошее зрение мы в первую очередь должны развивать в себе. С горечью следует признать, что многие из нас пользуются этим великолепным оружием в своих узко эгоистических целях. Такой марксист похож на солдата, бросившего свой взвод, ушедшего стрелять беженцев на большой дороге и отбирать их имущество. Мы должны беспощадно бороться с такими бандитами. Марксизм-ленинизм не обрез, из которого стреляют для грабежа. К сожалению, мы очень часто доверяем это замечательное оружие грабителям и убийцам. (Садится)

(Мертвая тишина)*

Идеолог. Ах ты враг! Ехидна змеючая! Это ты про кого же? И это называется критика и самокритика?! Товарищи! Мы должны дать самый решительный отпор этой вражеской вылазке. Прикрываясь свободой слова и критики, этими величайшими достижениями нашего советского общества, этот антисоветский гад, у которого отец в 37 году был разоблачен, как враг народа, осмелился выступить с наглай клеветой на советскую власть. Вооруженные могучим оружием марксизма-ленинизма, мы должны до

* Дальше приписка рукой автора, обведенная красным карандашом: «(Эпизод с кошкой) (?)»

конца разоблачить этих выродков и прямых пособников врага!
(Члену ЦК) Давай.

Ч л с п. Товарищи! На основании основ марксизма-ленинизма есть у нас МГБ. Всякому, который свихнулся, мы сначала объясним, а потом в МГБ. Верить не стоит. Потому — лучше в МГБ. Там разберутся. Как кого увидите — тащите в МГБ. Оттуда не уйдет, не проскользнет. Всех тащить в МГБ! Тащи в МГБ!

(Аплодисменты)

И д е о л о г. Правильно. Разберемся. Ну, теперь идите подписывать присягу.

(Присутствующие направляются к столу Нач. канцелярии. Первым подходит Член ЦК. Подписывает. За ним Редактор)*

Р е д а к т о р (через плечо, поглядывая на Идеолога). Самый счастливый день моей жизни.

П и с а т е л ь (направляясь к столу, прямо в глаза Идеологу). Нет, большего счастья.

И д е о л о г. Добре, добре. (Марианне) Ну, иди, иди, не бойся.

М а р и а н н а (в замешательстве). Сейчас, сейчас... разрешите, я немного позже... Я очень волнуюсь... Немного позже... Разрешите...

И д е о л о г. Ладно. Приходи в себя. Сам понимаю. Такой исторический момент.

(К столу направляется Генрих. Все поражены. Идеолог, ухмыляясь, поглядывает на Члена ЦК)

И д е о л о г. Нехай. Никому не запрещается. Нехай ставит подпись.

(Генрих подписывает. Постепенно вся компания переползает на правый фланг. Слева в углу остаются только Аркадий и Марианна)

И д е о л о г (Аркадию). Ну?

А р к а д и й (тихо и строго). Мы не будем присягать на верность звериной идее.

И д е о л о г. Что?!

А р к а д и й. Мы не будем присягать на верность звериной идее.

(Потрясение)

* Дальше приписка рукой автора в скобках: «(Диалог Марианны и Идеолога) ?» и обведено теми же чернилами, что и текст.

Идеолог. Хватай его!! Рви его!!

Аркадий (*вскакивает на подоконник*). Я сделал все, что было в моих силах, чтобы остаться честным и верным гуманизму человеком. Я верил, что никогда не подниму руку на человека. Вы разбили мою веру и [нрзб: смяли] надежду. Я уйду от вас и, если вы не оставите меня, буду бороться! Марианна! (*Выскакивает из окна*)

Марианна (*несколько минут стоит неподвижно и вдруг бросается за ним*).

(*Все присутствующие, во главе с Идеологом, с лаем, рычанием и воем срываются за ними*)

Все. Лови их! Хватай! Хватай! Держи его! Держи!

(*Занавес*)

Последний вариант I акта начат 9 августа и закончен
19 августа 1950 г.

А к т II

Дача в окрестностях Москвы. Веранда с цветными стеклами. Полдень. Солнечные зайцы на книгах, цветах и вазах. На столе книги, газеты, иллюстрации и рукописи. Кресла и качалка. Марианна сидит на подлокотнике качалки, в которой лежит Аркадий.

Марианна (*тихо*). Ночью, когда становится так тихо, как будто только что закончена книга, приходит эта обжигающая жалость какой-то смутной потери. Даже, когда рядом лежат две, три, может быть — четыре хорошо написанные страницы. Все равно — горечь потери. Как после разлуки. Как будто приходится жертвовать самым дорогим во имя самого нужного. Я не знаю, по каким потерям эта скорбь. Как на вокзале, когда сидишь в отходящем поезде. Может быть, это прощание с молодостью, Аркадий? Или каждая написанная страница это прощание с тем, что уже никогда не вернется? И все это неопределенно и нереально. Реальна только остающаяся горечь. А все, что происходит, это как будто не со мной. Как будто — в Бельгии с королем Леопольдом или в Корее на реке [нрзб. Туманган]. Где-то далеко, в газетах. Нереально далеко и не прикасается к коже. Только горечь — реальна. Нет предметов. Остались лишь ощущения. (*Глухо*) Одной потери я боюсь, хорошо зная ее название.

Аркадий. Какой, Марианна?

М а р и а н н а. Какой? *(Встает. Идет к столу. Садится за ру-
копись. Делает несколько ударов по клавиатуре машинки)* В ис-
кусстве всегда есть что-то унизительное и постыдное, Аркадий.
Знаете что? Раздетость. Да, да, всегда тело художника, мысль и
сердце, а кругом голые глаза, глаза, глаза. Ведь то, что мы пишем
о других, то есть ни о каких не о других, а всегда о себе, об этом
не скажешь и самым близким, шепотом, в темной комнате, когда
дверь заперта. А тиражом в 10 тысяч экземпляров чужим, вра-
гам, хохочущим над страницей в трамвае после работы, — сколь-
ко угодно.

А р к а д и й. Постыдно. Да, все постыдно в искусстве, Мари-
анна. Потому что читатель подглядывает. Поэтому и постыдно.
Когда пишешь, не думаешь о толпе. Попробуйте работать, когда
кто-нибудь сидит в кабинете или просто, когда открыта дверь.
Толпа подглядывает за художником в щель.

М а р и а н н а *(встает. Ходит по веранде. Говорит, повернув-
шись к Аркадию спиной)*. Когда умирает восьмидесятилетний ста-
рик, врачи обязательно находят болезнь, приведшую к смерти.
Вашему деду было 80 лет. Он умер, «потому что схватил грипп».
Ничего он не схватил, восьмидесятилетний дед. Он все потерял.
Он умер от потерь. Каждый день, восемьдесят лет, он что-нибудь
незаметно терял: любовь, радость, память, надежды. Я боюсь этих
ежедневных, незаметных потерь. Я знаю: сначала человек теряет
способность всему удивляться и тогда в нем умирает художник,
потом он перестает радоваться и огорчаться и тогда от него ухо-
дит всегда живущее в человеке умение отличать хорошее от пло-
хого, потом замирает надежда и тогда сторает молодость и при-
ходит седой, как старый бухгалтер, опыт. Я боюсь потерять это
ни на минуту не засыпающее ощущение приливов, колебаний,
взрывов, замираний, ежедневных обновлений любви. Я боюсь
потерять тебя, больше всего боюсь этой потери. Нет, не этой
потери. Боюсь потерять свою любовь, боюсь потерять боязнь этой
потери. Я умру от горя, как умирают от воспаления легких, от
менингита — очень быстро, в несколько дней, если потеряю свою
любовь!

А р к а д и й *(тихо)*. Человеку, которого мы любим, мы благо-
дарны за то, что мы его любим.

М а р и а н н а *(быстро подходит к нему. В упор)*. Потому что
все время — потери. Мы, как отступающие солдаты: идем все
дальше, все дальше и оставляем, оставляем, оставляем... моло-
дость, недописанные книги, недоказанные концепции, незавер-
шенные поступки и сердце, сердце, сердце...

А р к а д и й *(вскакивает)*. В любви нет потерь, Марианна. Лишь
сгоранье. Когда я думаю или пишу о любви, меня всегда пресле-
дует образ огня. Любовь — это не только огонь. Она — сгорание
в огне. Уголь любви. Сгорание. Если слишком много угля, то он
раздавит огонь. И любишь так сильно, что захлестывается огонь.

И никогда нельзя любить только хорошее в любимых. К любимой у меня такое же отношение, как у классического грека к его богам: грек знал, что они самые лучшие в мире, но знал, что это он сам их выдумал. Мы всех любимых любим последней любовью и только одну, навсегда, первой. *(Обрывает. Неожиданно схватывается, погбегает к Марианне)* Знаете вы, чего не хватает любви, без чего нет горения? Воздуха! Поэтому в этой любви нет светлых язычков пламени, веселого потрескивания, радостной игры рассыпающихся искр. Только опаляющее темное пламя. Нет воздуха. А от ветра не она нас, а мы ее укрываем. Эта любовь никому не нужна, кроме нас с вами.

М а р и а н н а. Аркадий! А книги, которые без нее не были бы написаны?!

А р к а д и й *(быстро ходит. Резко останавливается)*. Книги, которые мы написали, никому не нужны, кроме нас с вами!

(Молчание)

М а р и а н н а. Наверное, никакие книги никому не нужны, Аркадий.

А р к а д и й. Сегодня утром я потерял последнюю надежду... [Две следующие фразы опущены из-за неясности текста.] *(Глухо)* Я не буду заканчивать книгу сонетов «Марианна и резеда». Я не знаю еще, какая будет новая книга, которую я напишу, но эта останется незаконченной на строке: «Прислушайся к своей любви, поэт». А новая... новая будет о борьбе.

М а р и а н н а. ... и о ненависти, как все книги о борьбе.

А р к а д и й. Да, о ненависти к тем, которые мешают любви, — к врагам.

М а р и а н н а. Художник о ненависти...

А р к а д и й. О ненависти. К врагам. Она вспыхивает всегда, когда есть любовь к любимым. Чем сильнее человек любит, тем больше он ненавидит тех, кто мешает ему любить. Взаимоотношения человека и государства всегда были важнейшей темой истории. Сейчас они приобретают для художника ни с чем не сравнимое значение. Только об этом сейчас можно думать, говорить и писать.

М а р и а н н а. Аркадий, я не знаю, может быть, это правда. Не хочу, чтобы это было правдой. Но у поэта другие пути.

А р к а д и й. Конечно. И поэтому поэт не всегда должен брать винтовку, но всегда должен писать гимны и лозунги. Если у меня хватит сил и таланта, я напишу книгу лозунгов.

М а р и а н н а. Призывающих к уничтожению врагов?

А р к а д и й. ... и любви к друзьям!

М а р и а н н а. Весь мир состоит из врагов и друзей. Вряд ли стоит удивляться этому, как открытию. Нового здесь может быть

только то, что уничтожается нейтралитет. Только почему же никто из нас не думал так раньше?

Аркадий. Потому что мы никогда раньше не были на военном положении. Людям, которые не предполагают воевать, можно не знать, с кем воевать.

Марианна. Воевать. То есть уничтожать врагов? Но чем же это соображение лучше того, которому сегодня утром мы отказались присягнуть?

Аркадий. Тем, что уничтожить нужно тех, кто выращивает в человеке кривые зубы зверя.

Марианна. Почему уничтожить? Почему вы не говорите исправить? Почему вы не хотите думать о воспитании человеческого человека, Аркадий?

Аркадий. О, Марианна, у врагов слишком запущено воспитание! Это не только плохое усвоение учебника по гуманизму в средней школе. Это вековая порода.

Марианна. Пойдите. Нет, ведь люди не рождаются хорошими, ну, хорошо, никакими, ни плохими, ни хорошими. Они становятся плохими или хорошими, когда мир, в котором они живут, требует от них каких-то решений. Почему же надо уничтожать плохих людей, а не сделать мир, в котором они живут, хорошим? Когда человек впитает в себя тысячелетия истории культуры народов, он не сможет быть плохим человеком!

Аркадий. Марианна, вы не успели написать и строки в книге о гуманизме, вы успели только переодеться за время, которое прошло после утренней встречи с людьми, которые внимательно изучали тысячелетия истории культуры народов, и уже забыли, кто эти люди!

Марианна. Они были испорчены еще до тех пор, как ее изучили.

Аркадий. Еще раньше. До тех пор, как стали ее изучать.

Марианна. Но разве нельзя исправить человека?

Аркадий. Метод остается тот же?

Марианна. Да.

Аркадий. То есть, если они еще прилежней будут учиться истории мировой культуры, то они станут совсем хорошими?

Марианна. Да.

Аркадий (*подходит к ней. Говорит ей в лицо*). Они станут еще хуже. Они станут зверями и дьяволами. Они были всегда негодьями. Но не могли погубить мир, потому что ничего не умели. Теперь они изучили тысячелетия истории культуры народов и стали убийцами и зубами взяли власть над миром. Грядущее истории народов будет спасено только если они будут убиты.

Марианна. Для чего же тогда культура, человеческий разум, творчество, созидание, весь путь истории мира от каменного молотка до симфонической поэмы, если дикарь не лучше поэта?!

Аркадий. Я не знаю, Марианна, чего в каждом человеке больше — отца или убийцы.

(В распахнувшиеся двери вбегает девушка-горничная)

Девушка. Убили! Убили!.. Там... сейчас убили... там... Он на станцию шел... Там!

Аркадий *(погбегает к ней)*. Что?! Кого убили?!

Девушка. Сейчас убили!.. Еще совсем теплый. Я трогала... Там, там... Он на станцию шел...

Аркадий. Кого?! Лиза! Лиза! Кого убили?!

Девушка. Цветкова! Нет, нет, молодого... он на станцию шел... Я потрогала, совсем еще теплый...

Марианна. Петюню?! Боже мой! Петю убили.

Аркадий. Да погодите же. Лиза. Сядьте. Сядьте, слышите! Сядьте!! Где он?

Девушка *(села и снова вскакивает)*. Там... Он на станцию шел... Как свернул на тропинку, где сосна рогаткой... Еще теплый... Анисим говорит: «Ты потрогай, может еще теплый...» Я потрогала... Не могу... Страшно...

Аркадий. Лиза, милая, выпейте воды. Выпейте. Ну, успокойтесь. Ну...

Марианна. Лизочка, кто, кто убил?

Девушка. Не знаю, кто. Какой-то тоже молодой совсем. Никто его сроду не видал. Все щеку об рубашку утирает. Вот так... Нагнет так голову к груди и утирает...

Аркадий. Лизочка, как он выглядит?

Девушка. Не знаю. Чисто одет. Анисим говорит, дачу он снимал у Фиактистовых, возле озера. А он на станцию шел. Тут он его, где сосна рогаткой стоит, и кончил... Ножом. Я видела. Анисим указал: «Вот, — говорит, — этим самым». Он в Москву хотел ехать.

Марианна. [Авторская ремарка опущена из-за неясности изложения.] Боже мой! Петя!.. Лиза, милая, идите сейчас же к Веронике Георгиевне и... Нет, нет, не надо... Не ходите... Господи, что же делать? Аркадий!.. Петя!.. единственный сын... Куда вы, Лиза?... Ну, хорошо, пойдите к Веронике Георгиевне... Только к ней не ходите. Узнайте что-нибудь у Стеши. Аркадий, ну что же делать, скажите же!..

Аркадий. Я сам пойду.

Марианна. Нет, нет. Не ходите. Пусть лучше Лиза сбегает... Потом... Не надо ходить, пока еще ничего не известно. Бедная Вероника Георгиевна! Пусть она побудет наедине с мужем. Мы пойдем позже, когда Лиза вернется. Идите, Лиза. *(Лиза уходит)* Боже мой. Боже мой... *(Плачет)* Бедный Петя! Еще совсем мальчик... Только вчера приехала Нина... Вероника Георгиевна говорила, что после защиты диплома они поженятся...

Аркадий. Почему этот человек, снимавший комнату на даче около озера, убил другого человека, собиравшегося жениться на милой молодой девушке? Почему он убил его? Какие дефекты были допущены в его воспитании? Изучал ли он тысячелетнюю историю мировой культуры? Что сделал Петя человеку, который поднял на него нож? Что может сделать человек человеку, чтобы его убили? Различность политических убеждений? Ревность? Деньги? Карьера? Страх? Раздражение?

Марианна. К Пете это не имеет никакого отношения. Петя не интересовался никакими политическими делами. Разве что только историей Византийской империи. Ревность? Лиза говорит, что никто его никогда не видел. Деньги? Господи, какие у студента деньги? Стипендия, да папа на галстук даст. Кому он мог испортить карьеру? Петя? Да он никогда в жизни над своей-то не задумался. Кто мог испугаться этого голубоглазого человека, склонившегося над грамотой Константина Палеолога? За что? За что, Аркадий, люди убивают друг друга на больших дорогах, в темной спальне, на войне? Чаще всего людей убивают *не за что*, а *для чего*. Так убили Франца-Фердинанда. Из-за этого началась Первая мировая война, которая должна была быть последней. И вторая должна была быть последней. А сейчас началась третья мировая война. Для чего? Счастливы ли победители, те, кто больше убил? Убийцы?

Аркадий. Марианна, люди убивают не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы самим не оказаться убитыми. Вы с этим ежедневно встречаетесь в природе: растущее дерево заглушает мелкие растения.

Марианна. Какое огромное несоответствие между поводом для убийства и его значением!

(Входит Лиза)

Лиза. Крови, крови сколько!.. Вся терраса в крови... Побежали за доктором Васнецовым. Он говорит, что все равно умер бы. Кровь прямо по ступенькам течет. Собака доктора стоит и лижет. Вероника Георгиевна, как увидела, что собака кровь лижет, как закричит: «Кровь! Кровь! Сын мой!..» И сразу упала. Прямо головой о рояль. А этот мычит. Его держат, руки ему связали. А он смотрит так исподлобья и говорит: «Чего руки связали. Не убегу... Я ногами бегаю, а не руками». А наш Анисим и говорит ему: «Не для того связали, чтоб не убег, а чтоб другого кого не убил, лишь ты какой». А он ему: «Не бойсь, не убью. Другого мне не к чему убивать». — «А этого было за что?» — «Стало быть, было». — «А за что?» — «Не люблю, — говорит, — которые задаются. Я уж давно за ним охочусь. Еще в школе все задавался: "Я, — говорит, — не чета всем вам, я лучше этих, которые ни черта не знают". Я еще тогда в школе решил его

кончить. Все случая не было». А Вероника Георгиевна как пришла в себя от обморока, подходит к нему совсем близко и тихо так, страшно говорит: «Вы... [прзб] За что?! За что?!»

Аркадий (*кричит*). За что?! За что?! За что люди убивают друг друга?! Зачем были крестовые походы, революции и войны? Зачем?!

Марианна. Боже мой!.. Боже мой!..

(Аркадий выходит)

Марианна. Лиза, милая, а Нина?

Лиза. Еще не приходила. Она как утром на озеро пошла, так еще не вернулась. Тоже все время грустная такая ходила. Наверное, это предчувствие.

Марианна. Может быть. Да ей и самой горя хватало: брат у нее в прошлом месяце повесился [в рукописи: застрелился].

Лиза. Тоже довели. Такой молодой. Спрашивал все меня: «Лизонька, как у вас хорошо качели устроены. Обязательно качаться приду». Вот и покачался на веревке. Я все хотела спросить у вас, Марианна Александровна, почему так много стало людей гибнуть?

Марианна. Почему? (*Тяжелый стук в дверь. Марианна и Лиза вздрагивают*) Войдите. Кто там? (*Стук повторяется. Лиза вскакивает и бежит к двери. Дверь отворяется, и на пороге показывается дед Анисим — дворник*)

Лиза. А!.. Это дед Анисим...

Марианна. Что вам, Анисим Егорович? Войдите.

Дед Анисим (*не входя*). Лизка, иди вон. (*Лиза, оглядывается на Марианну и, удивленная, уходит*) Хозяйка, слышь ты. Аришке-то нашей, вишь, целку проломали.

Марианна. Что проломали?

Анисим. Целку.

Марианна. Как это?

Анисим. Да уж так, проломали. Коты все. (*Уходит*)

(Входит Аркадий)

Марианна. Что он говорит? Я ничего не поняла.

Аркадий (*подходит совсем близко к Марианне*). Воспитывали этого человека или не воспитывали? Изучал ли он тысячелетия истории культуры народов и потом убил? Или не изучал и потому убил? Кого больше среди убийц: изучавших или не изучавших историю мировой культуры. История мировой культуры — это не путь от зла к добру, но путь от примитивных способов уничтожения к совершенным способам. Эсхил, Рафаэль и Менделеев в истории мировой культуры никогда не были объективным добром. Они всегда были лишь оружием в руках нападающих или обороняющихся. История мировой культуры — это ору-

жие. Ее нужно не защищать, а нападать и обороняться ею. История народов — это история ненависти людей друг к другу.

Марианна. Аркадий, почему животные кусают друг друга? Почему дети, которые на задумываются о природе добра и зла, с ненавистью избивают друг друга? Почему природа на каждом шагу старается утопить, сжечь, раздавить человека?

Аркадий. Марианна, я начинаю верить в то, что главный тезис мироздания в стремлении к уничтожению.

Марианна. А я продолжаю верить в то, что любовь победит ненависть.

(Входит Писатель)

Писатель. Привет, привет, привет! Рад видеть вас здоровыми, счастливыми и играющими на мандолине!

Марианна. Прошу вас, садитесь.

Писатель. Что вы? Не хочу. Хочу ликовать, цвести, танцевать и испытывать счастье творчества.

Марианна. Ликуйте, цветите, испытывайте счастье творчества и даже танцуйте, но, пожалуйста, сидя.

Писатель. Великолепно. Танцую, сидя. *(Садится)*

Марианна. Чему вы так рады?

Писатель. То есть, позвольте, как это чему? Ха-ха-ха!.. Чему я так рад? Разумеется, тому, что вижу вас обоих в синтетическом виде, а не остатки ваших недоеденных рук, ног, голов и всего прочего! Ха-ха-ха!..

Марианна. Вот как? Разве это так удивительно?

Писатель. Удивительно? Не тот образ, потрясательница! Не тот. Это не удивительно, а душераздирательно!

Марианна. Почему?

Писатель. Потому что от всяких других, после всего, что произошло сегодня утром, не осталось бы даже тех частей механизма, которые были упомянуты выше. Остался бы только закон сохранения энергии.

Марианна. Не преувеличивайте, Кирилл Михайлович.*

Писатель. То есть, позвольте, вы прямо какая-то, можно сказать, потрясательница человеческих сердец своею святою простотою. Они вас не только что в тонком шелковом платье с небольшой бриллиантовой брошью заглатают, а прямо, можно сказать, с поездом, ежели вы, к примеру, на дачу будете ехать. Прямо с колесами и трубой. Что это вы, ей-богу, ха-ха-ха, прямо чудная какая-то! Ха-ха-ха! Ничего себе! Отказаться изучать самое прогрессивное в мире мировоззрение, которое должно вооружить наш народ на священную борьбу за коммунизм против империалистов! Ничего себе!

* Константин Симонов — псевдоним Кирилла Михайловича Симонова.

Марианна. Мы не хотим вооружаться и не хотим борьбы.

Писатель. Вот, вот, вот. Мне Верховный, между прочим, так и сказал: «Ты, — говорит, — спроси у них, чего они тогда хлеб наш советский жуют, когда не хотят помогать нам?» Между прочим, я тоже не понимаю.

Аркадий (*выходит из угла. Подходит к Писателю*). В самом деле. С какой стати кормить нас вашим советским хлебом? Не за что нас кормить. А что если нам уехать туда, где нас не будут попрекать куском хлеба?

Писатель. Ха-ха-ха! А кто же это вас пустит?

Аркадий. Да, да. Конечно, вы правы.

Писатель. Не пойму я вас, ей-богу. Крутом, можно сказать, все цветет и ликует, все идет к коммунизму, а вы не цветете, не ликуете и даже не хотите идти к коммунизму. Вы же интеллигентные люди! Посмотрите, как наш народ любит хавать культуру. А вы чего-то пишете, пишете, и не поймешь, чего вы пишете и для кого. А тут еще этот утренний, можно сказать, эпизод. Ну, что вам стоит выучить какую-то небольшую гениальную книжку в каких-то двадцать два печатных листа? Плюньте и выучите. А то: «Нет, да не будем, да не хотим». Да знаете, что мы с вами сделаем? Как [шлюшку] соштефкаем и — дело с концом!

Марианна. Кирилл Михайлович! Умоляю вас, не говорите так!

Писатель. А мне что? Не хотите, не надо. Мое дело — сторона. Я только предупредил. А там делайте, как знаете. Я просто по-товарищески. Дело ваше. Скажите спасибо, что с вами еще столько цацкаются. Если бы не личные, так сказать, симпатии, то от вас уже давно остались бы только пуговицы и гвоздики. Это просто какое-то счастье, что Верховный, так сказать, в некотором роде, того, этого самого... Ха-ха-ха!

Марианна. Перестаньте, ради Бога!..

Писатель. Молчу, молчу. И на счет этого, вы тоже не пренебрегайте. Эдакое счастье привалило, так не зевайте!

Марианна. Умоляю вас, перестаньте!

Писатель. Могу перестать. Только это я для вашей же пользы. Не для своей же. Мне б такое привалило, так уж я бы знал, как им попользоваться. Все это вы оба ни к чему затеяли. Поломались и будет. А то прямо не знаю, чего из этого выйдет. Сожрем вас без соли. Сырыми.

Аркадий. Скажите вашему идеологу, что я умирал от многого, но еще никогда не умирал от страха. И еще скажите ему, что я начинаю думать, что вы более правы, чем я думал, в вопросе о борьбе. Мир действительно очень плохо устроен и, наверное, ни один порядочный человек не имеет права спокойно созерцать это прискорбное обстоятельство. Идите к вашему идеологу и скажите ему, что мы не будем присягать и не будем изучать

это людоедское ученье. Мы верим в свободу, счастье и лучшее будущее народов.

Писатель. Ух, ты! Ну, смотри, боком выйдет тебе этот монолог. Схаваем, как воробьев! (*Уходит*)

(*Молчание*)

Марианна. Аркадий, это конец. Этого не простят. Что делать?

Аркадий (*пожав плечами*). Писать лирические сонеты.

Марианна. Аркадий!

Аркадий. Что бы мы сейчас ни сделали, Марианна, кроме, конечно, принесения извинений за скверное поведение, будет борьбой с ними.

На этом обрывается последний вариант II акта, начатого 1 сентября и законченного 7 сентября 1950 г. По сохранившимся ранним вариантам можно представить, каким замышлял продолжение этого акта автор.

Из черновика, начатого в июне 1950 г.

Марианна. Да... (*Молчание*)

Арк. Марианна.

Мар. Что милый?

Арк. Вы рады, что нам удалось отстоять свое право на свободное мышление?

Мар. Да, рада.

Арк. Почему такой грустный голос?

Мар. Нет, нет, я очень рада. Вы знаете, Аркадий, я думала сейчас о том, как было бы прекрасно, если бы люди могли думать и писать, что им нравится.

Арк. Да, это было бы прекрасно.

Мар. Все были бы веселы и счастливы. Все любили бы друг друга и могли бы смотреть друг другу в глаза.

Арк. Да, это было бы прекрасно. Но, к сожалению, это невозможно.

(*Входит Генрих*)

Арк. Здравствуйте, Генрих. Очень рад вас видеть.

Генрих. Здравствуйте, Марианна. Здравствуйте, Аркадий.

Арк. Садитесь.

Генрих. Благодарю вас. (*Садится. Пауза*) Итак, что же вы собираетесь делать дальше? Дело в том, что шеф, после того как его едва не разбил от негодования апоплексический удар из-за вчерашней сцены, долго кричал, что он сотрет вас обоих в поро-

шок. И нет никаких оснований не верить в то, что он без особенного труда и без задержки выполнит свое обещание.

Арк. Ну и что же?

Генрих. Ничего. Лучше только этого избежать.

Арк. И это все, что вам хотелось сказать?

Генрих. Нет, не все. Мне больше хотелось сказать о том, что шеф, если оставить некоторую повышенную динамику и несколько бычьих методы (можете даже называть их скотскими) — прав.

Мар. Вы находите?

Генрих. Нахожу. Странно, что вас это удивляет.

Мар. Нет. Знаете, пожалуй, меня это не удивляет.

Генрих. Это сказано таким тоном, что легко понять, что вас в людях моего образа мыслей уже ничего не удивляет. Например, если бы я вам сказал, что я поджег детский сад или убил собственную мать, вы бы сочли, что это вполне естественно.

Мар. Возможно. Прибавьте только к этому еще статью в «Литературной газете» о высшем понимании гуманизма. И тогда будет все в порядке.

Генрих. Да, вы правы. Если во имя очень больших целей нужно поджечь детский сад или убить собственную мать, то это следует сделать. А что касается статьи в «Литгазете», то разве такую статью не написал Раскольников перед тем, как убить старуху? Конечно, написал. Всякому поступку нужно идеологическое, именно идеологическое, а не какое-либо другое оправдание. Вор и тот ворует не просто потому, что не хочет трудом получить деньги, а потому, что считает себя борцом со своим врагом — обществом. Все дело именно в идеологической мотивировке. Я могу или я должен уметь поджечь детский сад или убить свою мать, если это понадобится победе того дела, в которое я верю.

Арк. Да, да, вы правы. Вы знаете, я все больше и больше убеждаюсь, что дело, которому вы служите, именно в этом и нуждается: в убийстве детей и женщин.

Генрих. А вы? Скажите, если делу, которому служите вы, понадобится это убийство, вы совершите его?

Мар. Никогда!

Арк. Делу, которому я служу, убийство не нужно.

Генрих. Позвольте, но ведь могут же появиться такие обстоятельства, когда это понадобится. Скажем, ваша дочь оказалась виновницей проигранного сражения, это ведь может быть, не так ли? Что же вы сделаете? Ведь надо же понимать, что на ожесточенность врага приходится волей-неволей отвечать ожесточенностью. У вас могут быть самые благородные, по сравнению с нашими, просто божественные идеалы, но для осуществления их вам необходима победа над нами, а для достижения победы приходится иногда быть и жестоким и решительным.

Арк. Не отвечая вам на многое из сказанного, скажу, что

этой борьбы, пожалуй, вообще не нужно: вы сами себя уничтожите, как скорпионы.*

Генрих. Вы непоследовательны: борьбу вы не исключаете, вы только не хотите сами принимать в ней участия. То, что мы делаем, не говорю все, что мы делаем, и не говорю, как мы делаем, в основном нужно для революции.

Арк. Помилуйте? Какая революция?! Неужели вы не понимаете, что вся серия ваших деяний за последние 25 лет по укреплению семьи, школы, дисциплины, единоначалия, субординации и пр. увела вас от ваших же идеалов революции?

Генрих. Вы путаете методологию с результатом: когда мы придем к коммунизму, все это само отпадет. Это нужно только для того, чтобы прийти к коммунизму.

Мар. А когда вы думаете к нему прийти?

Генрих. Видите ли, я думаю, что это еще страшно далеко и долго. Но поскольку между социализмом и коммунизмом нет такой ясной границы, как между капитализмом — или его последствиями — и социализмом, то можно прийти в наше время, в сущности, когда угодно. Шеф и компания просто ждут подходящего случая, чтобы «открыть» коммунизм.

Арк. Имейте в виду, что они «откроют» его обязательно еще при жизни автора. Незадолго до его смерти. И скорее всего опять на каком-нибудь съезде. Он и умрет, очевидно, тоже во время съезда. Один раз уже так было, получилось хорошо. Зачем же придумывать новое. Дело верное — традиция.

Генрих. Возможно, Аркадий, ваша беда в том, что вы отождествляете их поступки с истинным учением. Неужели вы не понимаете, что коммунизм сам по себе прекрасен, что это просто они его изгадили?

Арк. Видите ли, дорогой Генрих, может быть, коммунизм и прекрасен, но все дело в следующем. Если вы посмотрите на идеалы итальянских фашистов, немецких нацистов, американских демократов, русских меньшевиков, то окажется, что у всех у них одинаковый идеал человеческого общества: свобода, равенство, братство, счастье. Это не они придумали, мой друг. Это придумали иудеи в Библии, индусы в [отточие в тексте, возможно: в Ведах], христиане в Евангелиях, Мор в «Утопии», Кабе в Икарии и т.д., и т.д. Все дело в методологии, с которой идут к этому. И я считаю, что никто в мире еще не дал соответствующей методологии. И в этом отношении и Иисус, и Маркс, и Гитлер в одинаковом положении. Более того, я думаю, что эту методологию не могут найти несколько тысяч лет не потому, что плохо ищут, а потому, что найти ее невозможно. Коммунизм противоестествен человеческой природе. Дело не в том, как ду-

* Дальше приписка рукой автора, обведенная красным карандашом: «Дать эту тему в финале — сжирание, но не как следствие тезиса о ненужности борьбы».

мал Чехов, что сегодня во всем городе только три чистых человека — три сестры, — а через пятьдесят лет их будет тридцать, а в том, что хорошие человеческие качества не социальные, а физиологичны, как талант, и, может быть, через пятьдесят лет их случайно совсем не окажется.

Генрих. Но существенное отличие социализма именно в том и заключается, что он выявляет и развивает таланты, а не создает их. Об этом еще сказал Энгельс на похоронах Маркса.

Арк. И это оказалось неправдой. Вы сами видите, что сделал социализм с талантами: он не выявил ни одного, а те, что были, погубил: Эренбург, Шкловский, Олеша, Мандельштам, Зощенко.

Генрих. Итак, вы решили не присягать и не изучать?

Арк. Да.

Генрих. Подумайте, чем это может для вас и для Марианны кончиться.

Арк. Я очень хорошо знаю, что я делаю, и прошу вас не наставлять меня. Я не комсомолец! (*Выходит*)

Мар. Он прав.

Генрих. Он погубил себя, а теперь погубит и вас.

Мар. Может быть. Но то, что он сделал, — честно и поэтому правильно.

Генрих. Может быть. Может быть, это честно и правильно. Но я не могу думать о том, чем это для вас кончится. Марианна, поймите, что я говорю с вами не как противник ваших и, главным образом, Аркадия идей, но как человек, который всем сердцем вас любит! Я люблю вас, Марианна! Понимаете, люблю! Люблю всем сердцем, всей страстью человека, никогда не любившего, впервые встретившего женщину, о которой он мечтал всю жизнь!

Мар. Перестаньте. Я люблю Аркадия. Я верю ему. Я верю в него. Я очень хорошо отношусь к вам, понимаю, что вы не похожи на всех этих, с кем вы связали свою судьбу, верю в честность и даже серьезность ваших убеждений. Но люблю Аркадия. Люблю, наверно, потому, что люблю. Наверно, если бы у Аркадия были ваши убеждения и они были бы мне глубоко чужды, все равно я бы любила его.

Генрих. Неужели, это безнадежно?

Мар. Безнадежно.

Генрих. И вы никогда никого не полюбите?

Мар. Никогда, никого.*

(*Генрих уходит*)

Мар. Как все это тяжело. Особенно теперь, когда все так страшно.

* Дальше приписка рукой автора, обведенная красным карандашом: «Тему утраты человеческого при зверином мировоззрении ввести в диалог Арк. и Ген.».

(Входит Аркадий)

Ар к. Мариаша, вы знаете, они сами лучшее свое опровержение. Действительно, не нужно разоблачать их. Они это делают сами и, чем более они убеждены и искренни, тем это выходит лучше.

Ма р. Аркадий, мне очень тяжело.

Ар к. *(садится в кресло, усаживая Марианну рядом с собой)*. Милая, долг всякого честного художника, всякого честного человека учить других людей добру. Если люди этого не понимают, их надо убеждать.

Ма р. А если они и тогда не поймут?

Ар к. Тогда... тогда их надо заставить.

Ма р. Аркадий!..

(Входит Член)

Ч л е н. Эй, вы! Ну что, не одумались?

Ар к. *(вставая)*. Нет, не одумались.

Ч л е н. Сейчас я вам покажу кузькину мать!

Ар к. Уйдите отсюда.

Ч л е н. Сейчас сам уйдешь отсюда.*

(Член поджигает библиотеку и бросает в огонь рукописи Аркадия)

Ар к. Подождите! Остановитесь!

Ч л е н. Ну как? Будете?

Ар к. Будем.

Ч л е н. Ну вот, то-то же. *(Свистит. Входит подручный. Останиавливается у дверей. В руках у него винтовка)* Вот посторожишь тут. Гляди, чтобы изучали. *(Уходит)*

Ма р. Аркадий! *(Плачет)*

*(Арк. и Мар. берут К.К. ** и садятся за стол групп против группы)*

Ар к. «Количество заводского пролетариата в России...»

Ма р. «Рост стачек перед событиями на Лене».

Ар к. *(вполголоса)*. Да кого же они хотят обмануть? Революция произошла потому, что кругом были дураки, а они были паханями... «Идеологические основы марксистской партии...»

Ма р. Может быть, все это и нужно, но в этом нет гуманизма и любви к людям.... «В книге Ленина „Что делать“...»

* Дальше приписка рукой автора: «Перепалка».

** К.К. — «Краткий курс истории ВКП (б)».

(Они поднимают глаза друг на друга и обнаруживают, что у них выросла на лице шерсть, зубы вылезли изо рта, превратившись в клыки, а ногти загнулись и стали когтями. Они смотрят друг на друга налившимися кровью глазами и рычат тезисы из К.К.)

Ар к. Убью! Крови!
Ма р. Крови! Крови!*

Из черновика, помеченного августом 1950 г.

Ма р. «Большевики тут же, на залитых рабочей кровью улицах, объясняли рабочим...»

Ар к. «Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что они в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию и Приморье».

Ма р. «Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются всего лишь временно стоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий как ненужный хлам».

Ар к. «Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа».

Ма р. «Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских изуверов к расстрелу».

Ар к. «НКВД привел приговор в исполнение».

Ма р. «Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды».

Ар к. «И перешел к очередным делам».

Ма р. «Борьба за ликвидацию капитулянтов в партии была продолжением борьбы за ликвидацию...»

(В то время, как они читают сии тезисы, голоса их грубеют, становятся хрипыми, из их уст вырывается рычанье и вой.)

Ар к. «Нельзя терпеть в своей среде оппортунизма». Крови!

Ма р. «Вести смертельную борьбу с буржуазией...» Крови!
Крови!!

Ар к. «Без разгрома этих...» У-у-у! Смерть!

Ма р. «История нашей партии есть история борьбы и разгрома... Смерть! Смерть! *(В ужасе останавливается. Кричит*

* Дальше приписка рукой автора, обведенная красным карандашом: «Тема бегства за границу».

каким-то полузвериным, получеловеческим голосом) Аркадий! Что это? Помогите! Помогите!

Арк. *(приходит в себя. Мгновенье, потрясенный, стоит недвижно).*

Марианна! Так вот что делают идеи с человеком, звериные идеи с человеком! Человек превращается в зверя! *(Застывает в оцепенении.)*

Мар. Аркадий!

Арк. Люди, любимые! Боритесь со зверем за великого человека! Скрутите шеи черным идеям! Человек прекрасен и создан для борьбы, да, да, да для борьбы за великие и честные человеческие идеи! Эти идеи надо защищать и завоевывать не только строками светлых и тихих поэтов, но штыком, ножом, восстаним, взрывом. Люди! Боритесь за свое счастье, за то, чтобы человек был человеком. Коммунисты принесли в мир идеи ненависти и уничтожения. Уничтожайте коммунистов и их идеи! Это они ввергли мир в пламя войны. Это из-за них люди не спят спокойно ночами, учат своих детей ненависти и страху. Судьбы мира перед нами. Будущее истории народов на краю гибели. И я, и ты, и они, и все, все, все честные люди земли отвечают перед грядущим. Нет покоя и счастья. Каждый человек, если дорога ему человеческая история, должен убить коммуниста!

(И, когда он говорит эти слова, их звериные морды превращаются снова в молодые и прекрасные человеческие лица. Они стоят в позах, полных сил и надежды. «Убей, коммуниста!» — кричит Аркадий и, схватив за руку Марианну, бросается на Члена. Член, присутствующий во время его монолога, стоит на широко расставленных ногах и, нагнув бычью голову, смотрит исподлобья на Арк. и Мар. Арк. бросается на него, но коротким и сильным ударом головы тот отбрасывает его. Аркадий кидает в него тяжелую бронзовую вазу. Член тяжело опускается на четвереньки и с громким рычаньем, щелкая зубами, идет на Арк. и Мар. В дверях появляется косматая стая волков, гиен, собак, шакалов, плечи их украшают погоны небесно-голубого цвета. Мгновенье стая стоит, оглядываясь, и вдруг, по знаку Члена, с громким воем, рычаньем и лаем бросается на Арк. и Мар. Аркадий и Марианна выскакивают из окна. Вой. Пожар. Набат. Погоня.)

Конец II акта.

Аркадий и Америка. Аркадий и народ

Железнодорожная станция в дачной местности неподалеку от Москвы. Ночь. Мелкий дождь. Далекое замирающие гудки паровозов. Тусклый фонарь над расписанием поездов. Колокол. Темный состав в глубине сцены. Через несколько часов после бегства.

На перрон входят два сотрудника американского посольства. Только что они получили записку Аркадия, в которой он просил их немедленно приехать из Москвы на станцию. Первый американец искренне сочувствует Аркадию. Он знает его еще со времен войны, когда они встречались на пресс-конференциях. Он уже тогда обратил внимание на то, что Аркадий поступает весьма оппозиционно. Сам же американец ехал в Россию еще полный «восточных иллюзии». Но несколько лет (5-6) жизни здесь убедили его в страшной опасности, которой Россия угрожает миру. Он отнюдь не изменил рузвельтовским демократическим идеалам, так же как и другие, близкие Рузвельту американцы (Маршалл, Эйзенхауэр, Макартур и др.). Он по-прежнему стремится к тому же, к чему стремился и Рузвельт, который в нынешних условиях без сомнения сделал бы то же самое, что делает Трумен. Поэтому он считает, что война неизбежна, и чем скорее она будет, тем лучше.

Он знает, что произошло с книгой Аркадия (?)^{*} и историю с К.К. Он очень высокого мнения об Аркадии. Он догадывается о том, что, вероятно, Аркадий попал в такое положение, что ему нужно помочь бежать из России.

Второй американец в противоположность первому мало обеспокоен потрясениями эпохи и судьбами Мироздания. Что касается Аркадия, то его, главным образом, беспокоят два обстоятельства: можно ли извлечь из истории с ним что-либо для своей карьеры и финансового успеха и как это сделать с наименьшим количеством хлопот и риска.

Именно поэтому он собирается предложить Аркадию самому остаться в России, а ему передать рукопись, снабженную авторским предисловием, в котором сообщается, что автор во имя высоких идей и любви к USA обрекает себя на гибель, но верит в победу и бессмертие своего дела.

Довольно ясно представляя себе характер и склонности Аркадия, он почти не сомневается в успехе своего предложения, обладающего столь соблазнительным для Аркадия сюжетно-пропагандистским ходом. Что же касается Марианны, то он убежден, что и она не устоит перед искушением приобрести венчик великомученицы.

Первый американец упрекает второго не только за черствый

^{*} Вопросительный знак поставлен автором.

практицизм, но и, в конце концов, за узорность намерений: безусловно, Аркадий может принести в дальнейшем большую пользу и просто непрактично терять его из-за соображений чуть ли не рекламного порядка. О том, сколь аморально, в сущности, намерение его коллеги, он предпочитает не говорить. Оба американца — две Америки: Америка идеи спасения мира и Америка циничного и легкомысленного преуспеяния.

На перроне появляются какие-то темные личности, в которых американцы узнают сотрудников мин. госбезопасности, и американцы скрываются.

Темные личности (среди них и Генрих) явились сюда, зная, что найдут здесь Аркадия и Марианну. Хорошо зная, что Марианна менее Аркадия тверда в своих принципах, они стараются уговорить ее сдать идеологу и наставить на этот путь Аркадия. Это для них важнее элементарного ареста, и поэтому они (Генрих?) задерживают каким-то пустяком Аркадия на дороге, а на перрон пропускают одну Марианну. В ожидании Марианны они разглагольствуют о том, как в советском обществе ценен каждый его член и сколько усилий иногда нужно потратить для возвращения этого заблудшего члена в социалистическое лоно.

Входит Марианна. Ее встречает сотрудник мин. госбез. (Генрих?). Марианна принимает его за пьяного хулигана. Он объясняет ей, что, пожалуй, она думает о мире лучше, чем он того заслуживает, ибо пьяный хулиган был бы для нее сейчас просто приятной встречей. Сотрудник объясняет ей ситуацию: оба они, в сущности, пойманы, но он имеет указание не арестовать их, а еще раз попытаться переубедить. Он настаивает на том, чтобы Марианна внушила Аркадию, как бесполезна их борьба и бессмысленно сопротивление. Марианна отказывается, ссылаясь на то, что Арк. ее не слушает. Сотрудник напоминает ей о том, что именно она убедила уже раз Аркадия [показать им часть II акта]. После тяжелых сомнений Марианна обещает сделать все от нее зависящее. Она обещает сегодня же ночью быть у идеолога, интересующегося ею не только в связи с вопросами идеологии. Появляется Аркадий. Сотрудник мин. госбез. исчезает.

Марианна с осторожностью начинает разговор на тему о капитуляции. Аркадий так далек от мысли об этом, что даже не понимает, о чем она говорит. Марианна смущена своей беспомощностью. Она чувствует, что в этой области их взаимоотношений ее возможности крайне ограничены. Входят американцы.

Аркадий лихорадочно возбужден. Он говорит о необходимости немедленно издать его памфлет (частично уже готовый) в Америке. Причем лучше всего издать как листовку. Он почти кричит строки из памфлета. Американцы просят его говорить несколько потише. Марианна робко намекает на то, что кроме памфлета было бы неплохо, если бы Америка подумала и о судьбе автора с его женой. Американцы переглядываются и улыбают-

ся, встретившись именно с тем, о чем они незадолго до этого говорили. Возбуждение Арк. все возрастает. Он не обращает внимания на немую сцену американцев. Первый американец задает ему вопрос: «Уверен ли он в победе демократии над коммунизмом в будущей войне?» Аркадий отвечает: «Я хочу вернуться в Россию солдатом оккупационной армии с тяжелым черным ружьем и умереть в атаке на подступах к столице». «А победа?» — спрашивает собеседник. Аркадий не может ответить ничего определенного. «Для чего же вы тогда боретесь?» — спрашивает собеседник. Аркадий отвечает, что он больше верит в победу, чем надеется на нее, что потеря этой веры равна для него самоубийству.

Марианна начинает догадываться, что история с американцами неминуемо кончится катастрофой. Она твердо решает искать любой ценой примирения с идеологом.

В конце концов американцы предлагают Аркадию «открыть второй фронт на востоке», т.е. самому остаться в России, а книгу издать в Америке. Собственно, к такому решению вынуждает сам Аркадий, требующий немедленного издания своего памфлета и не соглашающийся ждать удобных обстоятельств для отъезда за границу. Решение Марианны становится совершенно твердым. Американцы уходят.

Марианна пытается убедить Аркадия в том, что затея американцев приведет их к гибели. Оказалось, что предложения сотрудников мин. госбез. о лаврах соблазнили ее больше тернового венчика. Она снова и более решительно возвращается к теме о капитуляции. Аркадий, несмотря на то, что всецело занят своими мыслями о памфлете и его отправке в Америку, наконец, начинает понимать, о чем говорит Марианна. Он поражен. Марианна испугана его реакцией. Она смущенно пытается убедить Аркадия в том, что он ее неправильно понял. В эту минуту в глубине сцены появляется сотрудник мин. госбез. (Генрих). Это напоминание Марианне о ее обещании быть у идеолога. Аркадий также замечает сотрудника. Он говорит, что сотрудник пришел его арестовать. Марианна тоже в глубине души уверена в этом. И тогда она, не простившись, убегает от Аркадия. Она пойдет к идеологу и сделает все, что он потребует от нее. Сотрудник подходит к Арк. Он говорит Арк., что дело его [страница оборвана].

Аркадий вскипает. Между ними начинается крупный разговор. В это время объявляется посадка. Перрон наполняется народом. Разговор Арк. с сотрудником превращается в шумную сцену. Вокруг них собирается толпа. Аркадий вскакивает на чемоданы. Он произносит горячую речь о свободе, демократии, тиранах и [войнах]. Толпа бросает в него камнями. Потрясенный первой встречей с народом, Аркадий вскакивает в вагон уходящего поезда. Вслед ему раздаются выстрелы.

Конец III акта.

А к т IV

Ночь. (Рассвет.) Пригород [мрачной] угрюмой столицы. Медленно проступает сквозь низкие тучи рассвет. Появляются птицы, рыбы и гады. Вдали показывается человек (разведчик). Просыпается город. Все это происходит медленно и величаво, полное густой и сочной музыки.* Возникает симфоническая тема сотворения мира.

Глыбы железа и камня темнеют в предутренней дали. Из низкого весеннего перелеска выступает мощенная булыжником дорога. Железнодорожная насыпь в далекой перспективе пересекает дорогу. Далекие, задавленные туманом гудки паровозов. Как сквозь зажатые зубы, между зубчатым облаком прибывают языки солнечного пламени. Остатки костра слева у просцениума. В глубине сцены справа вырисовываются блиндажи и укрытия военного расположения. Редкие выстрелы.

У остатков костра стоит, опираясь на винтовку, Аркадий. Около блиндажей и окопов снуют волки, шакалы, лисицы, собаки и пр. основы м.-л.**

Несколько реплик Аркадия по поводу просыпающейся природы (сотворения мира). Появляется Марианна. Радость встречи. Аркадий удивленно спрашивает, каким образом ей удалось разыскать его. Марианна теряется, но весьма быстро (наученная идеологом) находит ответ: все сегодняшние газеты полны сообщениями о происшедшем. Марианна приходит к Аркадию гонимая идеологом, требующим безоговорочной капитуляции, и [нрзб] еще не снятой страхом любви к нему. Она рассказывает Арк. о своем визите к идеологу. Но посередине своей речи она, запутавшись, останавливается, не сказав правды. Она обманывает Арк., сообщая, что идеолог ее послушался и обещал оставить их в покое. Аркадий встречает иронией это сообщение: во-первых, он уверен, что идеолог их обманет, во-вторых, он сам ищет войны с идеологом.

Входит Генрих. Марианна страшно испугана. Генрих уговаривает Арк. сдаться. Арк. произносит гневную речь, разоблачающую Генрихову компанию. Генриху, многое узнавшему за это время и ставшему внутренне обреченным (он знает подробности визита Марианны к идеологу), печем возразить Аркадию. Этот кусок рифмуется с аналогичной сценой II акта. Убедившись в невозможности повлиять на Аркадия, Генрих возвращается к своим. Перед уходом он рассказывает Марианне о том, что его обвиняют в измене род... [страница оборвана] за связь с Аркадием и за симпатии к нему. Ему предложено или притащить Арка-

* Следующая фраза по неясности пропущена. В ней упоминаются птицы, рыбы, гады и пр., что должно образовать как бы пролог акта.

** Марксизма-ленинизма.

дия, или сагитировать его. В случае, если он не добьется успеха, то ему угрожает смерть. Он уходит, опустив голову. Пройдя несколько шагов, он неожиданно останавливается, припадает к дереву и дважды стреляет Аркадию в спину. Промажнувшись, он бежит к своим.

Марианна потрясена. Она умоляет Аркадия сдаться. В это время со стороны вражеских окопов раздаются крики, предсмертный вопль и в воздух летят члены сжираемого Генриха. Молчание. Марианна плачет. Арк. тихо говорит ей о том, к чему привела капитуляция даже Генриха, их [типичного] единомышленника. Предчувствие гибели толкает Марианну к решительным поступкам. Она советует Аркадию отступить, зная, что приведет его в засаду. Тогда у него не будет выхода. Он должен будет или капитулировать, или погибнуть. В отчаянии она признается Аркадию в том, что была у идеолога и своей честью и обещанием сдаться спасла его и свою собственную жизнь. Аркадий потрясен и не принимает жертвы Марианны. Он требует, чтобы она ушла. Она идет к м.-л. Ее хватают. Слышатся крики, подобные крикам при сжирании Генриха. После гибели Марианны осаждающие идут в атаку. Они окружают Арк. Он отказывается сдаться, и они сжирают его.

Они разводят костер и устраивают вокруг него танец, не поделив между собой кость и идеологические триумфы, они набрасываются друг на друга и друг друга сжирают. Восходящее солнце освещает груды окровавленных тел и поднимающуюся над ними окровавленную волчью морду идеолога.

25.5.1951

Рукопись пьесы в 4-х актах «Роль труда» на 41 листе написана мною и изъята у меня при обыске.

Аркадий Белинков.

Человечье мясо

Глава I

Они искали меня, чтобы зарубить топором.

На чердаке они поймали кошку и съели ее. Сырую без соли. Сыпалась на письменный стол в кабинете штукатурка.

Когда, выпоров брюхо, из кошки тащили кишку, она кричала длинно и тонко.

Из погреба они оралы: «Это все барахло: переводы из французских декадентов».

Им отвечали с чердака: «Ищи, ищи, там самое место и есть. Некуда им больше деваться. Как найдете, идите к нам кошку хавать».

Звенел топор, и с визгом рассыпались стекла.

На чердаке они тоже ничего не нашли, кроме болтовни о греческой [трагедии].

Они подожгли дом и ушли, махая руками.

Один, длинный, отстал. Нагнув голову и расставив ноги, он долго глядел в дым. На нем были потрепанные красные галифе.

Тапочки были обуты на босые ноги. Он шел по зеленому всеешнему полю, прижимая подошвы к теплой влажной земле. В красных штанах. Вспыхивал на солнце топор. За ним топало стадо облаков сивого дыма.

Я сидел в яме.

Когда в красных штанах ушел, я увидел розовый фарфоровый кофейник, который держал в руках, и — не понял.

Они хотели меня зарубить за то, что я написал книгу, полную злобной клеветы.

По бокам кофейника прыгали зебры и зубры.

В книге было написано про любовь, живопись итальянского Возрождения и советскую власть.

О любви и живописи итальянского Возрождения я говорил только хорошее.

По зеленому полю топтался сизый дым.

Из ямы были видны уплывающие к голубому горизонту крас-

ные штаны и кусок повисшего горящего стропила.

Что касается советской власти, то я клеветнически утверждал, что эта власть — дрянь.

Я вылез из ямы.

На заборе сидела ворона, острая, как кайло, и кричала, глядя в огонь.

На обугленной балке висел, зацепившись задним колесом за крюк, велосипед. Переднее колесо с прогоревшей покрышкой пошатывалось туда и обратно.

В спальне лежали вдоль сгоревшей стены медные кольца штор. И на мраморной крышке стола, осевшей на угол сгоревшего пола, дымились две чашки.

Марианны не было.

Все, что я написал про советскую власть, было правдой.

Я не стану утверждать того же самого о своих писаниях про любовь и живопись итальянского Возрождения.

Красные штаны скрылись за горизонтом. За ними встал клуб сивого смрадного дыма.

Марианна была в лесу. Она лежала, уткнувшись лицом в землю, и я набрел на нее, услышав рыдания.

— Марианна, — сказал я, опустившись на колени, — не плачьте, Марианна, они ушли. Все будет хорошо.

— Ах, Аркадий, — глухо простонала она, не поднимая головы, — больше никогда ничего хорошего не будет. Как правильно все, что вы написали про советскую власть!.. Зачем жить, Аркадий? Сгорела библиотека, рукописи, дача. Зачем вы написали эту книгу, Аркадий?

Спотыкаясь, мы брели по лесу. Я увидел у себя в руках розовый кофейник и — не понял.

— Поставьте на место, — строго сказала Марианна.

Я поставил кофейник у края тропинки. Мы побрели дальше.

За лесом ревели паровозы.

Было ясно, что они поймают нас и зарубят.

На XIII пленуме Союза советских писателей было вынесено постановление о том, чтобы поймать и зарубить нас.

Я уже давно не любил советскую власть. Еще со времен Стеньки Разина.

В своем замечательном выступлении на XIII пленуме Союза советских писателей тов. А. Фадеев сказал:

— Мы должны выкорчевать с корнем все буржуазные пережитки в сознании людей.

В нашем сознании были буржуазные пережитки. Они пришли с топором, чтобы выкорчевать нас.

Стемнело. Со своими врагами они вели беспощадную борьбу. Нужно было немедленно принять какое-нибудь решение.

По деревянной платформе станции бегал дождик.

На мне были пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю.

Нос у Марианны был красный.

— Аркадий, — сказала Марианна, — я не могу с красным носом.

Я смотрел на свои штаны в золотую полоску по лазоревому полю. На них была кровь.

Когда мы поднялись на платформу, зарычала собака, и девочка, взвизгнув, уткнулась в подол пияньки.

— Шляются, ироды, — прошипела пиянька, — чего только милиция смотрит.

От мокрой стены железнодорожной станции отделился милиционер.

— Аркадий, — спросила Марианна, — мне очень плохо с красным носом? Да?

— Очень хорошо, Марианна, — уверенно сказал я. — Но самое страшное не в том, что убийцы захватили власть в государстве, а то, что народу они свои, родные, любимые.

— Не надо думать об этом, — сказала Марианна, — думайте о любви и живописи итальянского Возрождения.

Милиционер сделал шаг от стены и встал перед нами.

— Ваши документы, — сказал он. — Чего? Пройдемте со мной.

Глава II

— Черчилль!! — визжала пиянька. — Веди его, веди батюшка. У-у зараза!

— Где? Где Черчилль? Пустите поглядеть на Черчилля! — надрывалась тетка с титькой, — вон етот с тремя руками?

— Ишь, он, окаянный, с тремя руками...

— Вон он, вон, смотри-ка, смотри, красotka какая!

— Какая красotka?

— Да вон, с Черчиллем, смотрите.

— Кто? Вы слышите!? Так ведь это же Гитлерова падла, Ева Браун! Смотрите, смотрите, вон Ева Браун. Осторожнее. Обратите внимание, опять носят высокие прически.

— Где? Где?

— Да вон же, вон!

— Ну да, она самая и есть. Сначала с Гитлером шуры-муры, а потом, как подох Гитлер, то пошла с Черчиллем.

— Да брось ты, Черчилль — педераст, он не может с бабой.

— Где педераст? Где педераст? Чего встал, как член?! Пропустите к педерасту! Граждане, пропустите к педерасту.

— Чего вцепился, сволочь?! Где, где?! Вон мент повел. Теперь им покажут, собакам, как поджигать войну. Узнают теперь

они нашу родную советскую власть.

Начальник железнодорожного отделения милиции сидел в сдвинутой на затылок небесно-голубого цвета фуражке на перине, в фиолетовых трикотажных подштанниках, и скреб волосяную ногу кривыми пальцами другой ноги.

Выступая на собрании актива, он сказал:

— Наше отделение милиции достойно выйти на первое место в районе по приводам. Советская власть дала нам для этого все. Мы должны оправдать доверие товарища Сталина.

Он был тщеславен и не скрывал этого.

Будучи вооруженным самым передовым в мире мировоззрением, он не сомневался в том, что вверенное ему отделение милиции выйдет к концу отчетного полугодия на первое место по приводам.

— Все дело в масштабе, — скребя ногу, сказал он жене, с яростью раздиравшей не отстегивающийся, вместительностью в 5 литров, бюстгальтер, — конечно, масштаб не тот.

— Хвороба ему в бок, — прошипела, потяя, жена, тщетно лоя вертящуюся, как проститутка, пуговку.

Начальник в фиолетовых подштанниках и небесно-голубой фуражке, мечтательно вздохнув, сказал:

— Вот когда скрутим Америку, будет тогда милиция, минимум, на весь мир! И на Тихом океане, и на Атлантическом, и на Северном Ледовитом.

— Нехай она подавится, — прорычала жена. — Чего глаза пялишь?! Отстегни!

Упершись коленом в спину супруги, он отстегнул проклятую пуговку. Жена вздохнула, как резина.

— Нехай она подавится, — говорила жена про Америку. — Ты заложил ворота? Ты загнал курей?

— Черчилль! — Визжала толпа, напирая на ворота железнодорожного отделения родной рабоче-крестьянской милиции. — Долой поджигателей войны!

Начальник в фиолетовых подштанниках и небесно-голубой фуражке от волнения вместо штанины попал ногой в самоварную трубу.

— Черчилль, — бормотал он дрожащими губами, — наконец-то! Вот он когда пришел настоящий масштаб! Только бы не упустить.

— Ты запер худобу? — приставала жена.

— Отчепись! — вспылil начальник и, гремя самоварной трубой, выскочил, хлопнув дверью, в коридор, соединявший его квартиру с рабоче-крестьянским заведением.

Крепко сжимая руки друг друга, с поднятыми головами, мы стояли, окруженные врагами.

Свидетели из добровольцев показывали:

— Он самый Черчилль и есть.

— Сами видели.

— Намедни в газете пропечатывали. Как раз такой есть. Только худой стал.

— А это самая его баба и есть.

— Черчилль с [нрзб.], братцы! Дела!

После допроса свидетелей начальник рабоче-крестьянской милиции сказал:

— Товарищ Сталин учит нас, ты есть поджигатель повой мировой бойни № 1. Но тебя ждет такой же позорный конец, как и ее фюрера, проклятого Гитлера. Увести их.

Глава III

Когда глаза немного привыкли к камерному сумраку, стало ясно, что коренным населением этого заведения являются краснушники, чернушники, домушники, тихушники, мокрушники, крысятники тайшетские, крысятники воркутинские, колымские, амурские и карабасские, щипачи, ширмачи, скобаря, лопатники, бочатники, топошники, хипяшники и скучатники, проститутки рублевые, двухрублевые, трехрублевые, четырехрублевые, пятирублевые и шестирублевые, подмосковные молочницы с кешарами и один фрасер (без кешара).

Несмотря на то, что аборигены заведения даже не подозревали, что мы Черчилль и Ева Браун, однако в компанию нас все равно не взяли.

Не придавая ни малейшего значения нашему появлению, вор с откушенным ухом невозмутимо продолжал роман.

— Он все ходил к ней, а она ему не давала, — рассказывал вор с откушенным ухом. — А мужик ее был царь.

Не обнаружив ничего замечательного в наших карманах, представители фиска поинтересовались нами самими. Узнав, что мы как раз по части романов, нас протискали к огню.

— Ты, батя, не робей, — ободрила меня проститутка с выклеванным глазом, — мы не обижаемся на своих писателей. Давай, начинай.

— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Сейчас я расскажу вам небольшую историю из жизни одного русского писателя, вступившего в конфликт с обществом. А вы сами решите, прав он или не прав.

— Ты лучше давай про урку, — пожелала компания.

— Про урку? Я не знаю про урку... — смутившись, признался я. И собранию ничего не оставалось, как слушать про писателя: хотя любому начитанному человеку ясно, что это значительно менее интересно и поучительно.

— Эта история началась давно, — сказал я. — Еще во времена Стеньки Разина. Ее с полным правом можно назвать именно «Русской историей», потому что вы и без моего рассказа хорошо знаете, а из моего рассказа вам станет совершенно ясным, насколько плохие были всегда в России взаимоотношения между властью и народом. Особенно между властью и интеллигенцией. Что касается единственного периода за всю историю России, периода в восемь месяцев между февралем и октябрём 1917 года, когда эти взаимоотношения в первый и последний раз были нормальными, то его я не касаюсь, именно потому, что они продолжались всего восемь месяцев. Но я собираюсь рассказать вам не начало этой истории, уходящей, как я сказал в мрачные времена Стеньки Разина, Пугачева, восстания декабристов и другие черные дни, пережитые нашей родиной, а только один из ее финальных, так сказать, эпизодов.

— Давай, давай! — ободряли меня проститутки, воры и подмосковные молочницы.

— Вы реакционер, — сказал фраер без кешара, но его [лягнули прохарем] по харе и он не настаивал.

— Хорошо, — сказал я. — Человек, историю которого вы сейчас услышите, жил в Москве и писал романы, рассказы, сценарии и драмы. Никто из вас никогда его не читал, потому что отношения с властью у него были очень плохими и власть не считала нужным ставить в известность широкие слои населения о том, что она еще не задушила нескольких человек, не слушающихся ее. Он был еще очень молод, но несмотря на это, на многих примерах смог убедиться в том, что люди, которых он встречал, были несчастливы. Это его поразило, и он стал спрашивать людей, почему они несчастливы. Люди, которых он спрашивал, не признавались. Они говорили: «Что вы, мы абсолютно счастливы, потому что иначе и быть не может в эпоху построения коммунизма». Он знал, что это было неправдой. Убедившись, что у писателей, дипломатов, секретарей, председателей, профессоров и прочих, кто ходил в дом, где он жил, правды не добиться, он стал спрашивать у дворников, слесарей, инженеров, трактористов и прочих, кто не ходил в дом, где он жил. Дворники, слесари, инженеры и трактористы сказали, что они абсолютно счастливы, потому что иначе и быть не может в эпоху построения коммунизма, и каждый из них, подозрительно оглядев его с ног до головы, говорил: «Проваливай, отсюда, батя», или: «Пошел, пошел своей дорогой!», или: «Вон дверь, видишь, а то попадешь на улицу прямо через это самое окно», или: «Ах ты, сволочь, шпион, выпрашиваешь, а потом донесешь, куда следует».

— А нас он не ходил спрашивать? — осведомился вор с выдранной челюстью.

— Вероятно, нет, — подумав, ответил я. — А что бы вы ему ответили?

— Мы бы ему ответили... — угрожающе промолвил вор с выдранной челюстью, — мы бы уж ему ответили...

— Ладно, копчай! Двишь ему, Петруха, каблуком промеж глаз, — заорали слушатели на моего оппонента, — давай, батя, дальше роман тискай!

— Хорошо, — сказал я. — О том, что люди несчастливы, этот человек писал свои романы, рассказы, драмы и сценарии. В его творчестве наступил перелом, когда он понял, почему люди несчастливы. Они были несчастливы, потому что не были свободны. Они не были свободны, не только потому, что каждому из них угрожала гибель за признание, но, главным образом, потому, что счастливыми они стали не сами, по собственному выбору, так сказать, а им приказали: будьте счастливыми, а то мы вас! Когда появились первые романы, рассказы, драмы и сценарии этого человека, в которых так и было сказано: люди, живущие в эпоху построения коммунизма, несчастливы, а несчастливы они потому, что несвободны, его стали толкать, ругать, пинать и выгонять отовсюду, и те, которых он обвинил в несчастии людей, и те, которых он любил и защищал. Это произошло потому, что первые не могли допустить и мысли, чтобы в их владениях жил такой человек, который мешал бы им обманывать людей, а вторые — потому, что им не хотелось, чтобы всем стало ясно, что они обмануты, что сами знают об этом и делают вид, что ничего постыдного не происходит. После того, как он написал обо всем этом, его даже не очень ругали, так только, для порядка, так сказать, в качестве расписки в получении. Просто все обомлели, глядя на него. И действительно это было удивительное зрелище: покойник ходит, говорит, пьет чай! Один или два человека, с которыми у него были хорошие отношения, несмотря на то, что они были его врагами, не сомневаясь в том, что он уже покойник, говорили ему: «Вы не правы, потому что не понимаете, что все это, даже обман, нужно для создания такого общества, при котором уже никому никого не надо будет обманывать». «Вы не создадите такого общества», — отвечал он, потому что из обмана ничего кроме обмана сделать нельзя. В книге, которую он написал, было рассказано о любви и живописи итальянского Возрождения и советской власти. О любви и живописи итальянского Возрождения было написано только хорошее.

— А про советскую власть? — строго спросила молочница с отгрызанным носом.

— Про советскую власть не было написано ничего хорошего, — решительно ответил я.

— Вот сука! — воскликнул вор с выдернутой челюстью, — сюда бы его, падлу, — и он рванул зубами себя за плечо. — У-у паскуда.

— Аркадий... — прошептала Марианна, сжав мою руку.

— Прошло темного времени. Покойник, не сдаваясь, ходил, говорил, читал газеты и пил чай. В своих выступлениях он горячо убеждал, что все хорошее, что было в России, пришло с Запада, что идеалы свободы, равенства и братства переведены на русский с европейского языка, что необходимо доказать, что мы звали к себе варягов. Тогда они решили убить его. Ранним утром они ворвались в дом, изорвали рукописи и книги, затоптали картины, а дом подожгли. Но писатель не даром прожил всю свою жизнь с ними, убийцами и поджигателями: он не стал дожидаться, что сделают с ним и его женой поджигатели и убийцы, а спрятался от них в яму, и они его не нашли.

— Найдут, — уверенно заявила проститутка с выклеванным глазом, — не будет долго гулять такая падаль по нашей свободной советской земле. (Эта проститутка была идеологом компании.)

— Вы думаете? — заинтересовался я.

— А как же, — убежденно сказал вор с выдранной челюстью, — а ты что думал, фразер?

— Что я думал? Я думал, что будет очень плохо, если его найдут... — тихо сказал я.

— Не знаю, кто еще, кроме него, в последние годы решался так громко говорить правду, — сказала Марианна.

— Ишь ты, стерва, небось заодно с ним, — подозрительно глядя на меня, сказала проститутка с выклеванным глазом.

И сразу все стало ясным.

Вор с выдранной челюстью повернулся к нам и вытянул вперед шею.

— А ну, падла, выкладывай, кому советскую власть продаешь, а то сейчас схавая.

Я вскочил на ноги и шагнул к Марианне.

— Стой, падлюка, — тонко взвизгнула молочница с отгрызанным носом и стукнула меня по голове поленом.

— Крути ихние руки, — прорычал вор с выдранной челюстью.

— Знаешь, кто они есть? — заорала проститутка-идеолог с выклеванным глазом, — космополиты безродные!

Нас загнали в угол и лупили досками от нар, мисками и сапогами. Я вскочил на бочку с водой и, оторвав цепь с кружкой, размахивал ею.

— Аркадий, — с ужасом шептала Марианна, — и они ненавидят нас.

Вдруг кто-то рванул бочку, крышка выскользнула у меня из-под ног и я бухнулся в воду. В то же мгновение мне на голову перевернули парашу и все скрылось во мраке.

Я не слышал, как отворилась дверь камеры. Выбравшись из-

под параша, я удивился неожиданной тишине и увидел на пороге камеры надзирателя. Он постукивал по пряжке ремня здоровенным ключом.

— А ну, кто здесь гвалт поднимает? — рявкнул надзиратель, — Ну, кому я говорю!? Выходи.

Я выскочил из бочки и, схватив за руку задыхающуюся от рыданий Марианну, бросился из камеры. Кто-то схватил меня за воротник, но я ловко вывернулся и, оставив пижаму в камере, вместе с Марианной оказался за дверью. Надзиратель треснул по башке ключом не отстававшую от нас ту самую пастырскую проститутку-идеолога с выклеванным глазом, и дверь с грохотом захлопнулась.

— От всей души, от всей души благодарю вас, — сказала Марианна и с восхищением посмотрела в глаза надзирателю. — Вы спасли нас.

— Ничего не стоит, — осклабился надзиратель. — А иной раз недоглядишь и врежет дубаря какой-нибудь фраер. А ловко они тебя парашей накрыли! Я глядел в волчок, так меня аж смех разобрал. Ну, думаю, дела, Черчилль-то в параше. Ха-ха-ха!

— Аркадий, — прошептала Марианна, — правда, он добрый и очень приятный человек? Боже мой, если бы не он, мы бы погибли! Поблагодарите его, ну, я прошу вас.

Я молчал.

— Еще раз приносим вам свою глубочайшую благодарность, — сказала Марианна и строго взглянула на меня.

За дверью камеры рычали, кричали, угрожали оскорбленные в чувстве горячей любви к своей матери-родине краснушники, темнушники, чернушники, домушники, тихушники, мокрушники, крысятники тайшетские, воркутинские, колымские, амурские, печерские, карабасские, чурбанукские, кзыл-ордынские, слухачи, ширмачи, скокаря, лопатники, богашники, топышники, хипяшники, скучатники, медвежатники, проститутки рублевые, двухрублевые, трехрублевые, четырехрублевые, [нрзб], черненькие, синенькие, чапаевцы, махновцы, подмосковные молочницы с кешарами и фраер фанфанч.

Глава IV

Оказалось, что мы не Черчилль и Ева Браун.

Сунув пинка под задницы, нас выпихнули за тюремные ворота.

Было темно, сыро и холодно.

— Аркадий, — сказала Марианна, — все-таки хорошо, что нас пока еще не убили.

— Очень хорошо, — сказал я. — Наверное, завтра убьют. Или воры, или проститутки: одна у них советская власть. Самое уязвимое наше место, Марианна, это аморфность положительной программы.

— Что вы! — сказала Марианна. — Совсем не одна. Ведь он же не дал нас убить.

На рассвете мы, падая от усталости, подошли к первым [камням] столицы.

— Аркадий, — спросила испуганно Марианна, повернув мою голову к своему лицу, — у меня еще красный нос? Мне очень не идет с красным носом?

— Что вы, Марианна, ваш нос великолепен, — убежденно ответил я. — Может быть, именно поэтому давешний милиционер с ключом был так с вами предупредителен и любезен.

— Нет, — сказала Марианна, — он был предупредителен и любезен не потому, что ему так понравился мой нос, а потому, что он, будучи умным и гуманным человеком, сразу понял, что никакие мы не черчиллы, никакие мы не поджигатели войны, а просто очень хорошие люди, всем сердцем преданные искусству.

— Вы думаете? — медленно спросил я. — Вы думаете, что мы не поджигатели войны, а просто люди, занимающиеся искусством?

— Ну, конечно, — убежденно воскликнула Марианна.

Я был в мокрой нижней рубашке и в пижамных штанах с золотой полоской по небесно-лазоревому полю. На мою грудь капала кровь со щеки и шеи.

— Хорошо, — сказал я, — вы рады, что мы не поджигатели войны. Прекрасно! А вам не хочется встать в ряды борцов за мир, демократию и социализм?

— Никаких поджигателей, никаких борцов, — категорически сказала Марианна, — вы закончили книгу сонетов о золотом веке? Нет, не закончили. Очень плохо. Закапчивайте и не вяжитесь во всякие истории.

— А если... — начал я. Марианна строго посмотрела на меня.

У дверей квартиры мы остановились, поняв, что попасть домой так просто нам не удастся, потому что ключи были где-то потеряны. Мы топтались у входа, ни на что не решаясь. Идти, да еще в таком виде к швейцару, мимо которого мы проскользнули незамеченными, было опасно, точно так же, как и пытаться выломать дверь. Нервно постукивая пальцами по косяку двери, я случайно надавил кнопку звонка. Услышав звон, Марианна горько улыбнулась и вздохнула. Растерянно посматривая то на дверь, то друг на друга, мы стояли, мучительно размышляя о том, что делают в таких случаях. Но вдруг за дверью раздалось шарканье, потом кто-то плюнул, шумно зевнул и выругался.

— Кого еще черти пещут? — проскрипел кто-то за дверью.

Обомлев, мы схватились за руки и застыли в оцепенении.

— Ну? — послышалось из-за двери, щелкнул замок и дверь распахнулась. На пороге стоял враг в красных штанах.

Он был без штанов. Он переминался с ноги на ногу и тесемки его кальсон тоскливо висели долу. Левой рукой он чесал в паху. Вдруг он перестал чесать и замер, вытянув шею. Мы ша-рахнулись в сторону и с громким криком скатились с лестницы.

— Держи! Держи! — послось нам вслед и слышалось шлепанье босых ног по ступеням. У подъезда нам преградил дорогу швейцар. Я навалился на него, и мы оба упали. За спиной разда-лось хрипловое дыхание, и кто-то схватил меня за ногу. Я оглянул-ся, увидел над собой врага с болтающимися завязками от каль-сон, пул его ногой в грудь и, оставив в его руках туфлю, выско-чил из подъезда, увлекая за собой Марианну.

Глава V

Враг в красных штанах в последний раз оглянулся на догора-ющую дачу и решительно зашагал к станции. Он хорошо знал, что так не ловят преступников, и хорошо знал, что поймают их все равно. Доложив начальству о результатах экспедиции, он пошел домой и, сняв красные штаны, лег на непостеленную постель.

Заснуть он не мог. За окном звякала и булькала вечерняя сто-лица, полная строительства коммунизма. Он лежал с широко рас-крытыми глазами, вытянув длинные ноги в кальсонах с болтаю-щимися завязками и слушал. Ему некому было завещать комму-низм, и поэтому он страстно желал сам пожить в нем. Он думал о том, что от коммунизма ему нужна лишь уверенность в том, что никто ни на кого не поднимет руку. Думая об этом, он вспомнил свою молодость, пожары и флаги гражданской войны и ворован-ную муку из подвала купца Зверо-Ящурова. В забрызганных гря-зью сапогах прошел он двадцатые годы русской истории. Партия погнала его [обжимать] кулаков, поставлять нэпманов и рубить басмачей. Трава измену на строительстве Кузбасса, он загубил полгорода невинных советских душ, за что едва не лишился парт-билета, и пошел работать по призванию во внутреннюю охрану ГПУ старшим надзирателем 6-го этажа. Но пришло время, и его вспомнили. Это были дни, когда государство буквально задыха-лось от отсутствия квалифицированных кадров в жестокой борь-бе с врагами народа. Получив назначение замнаркома внутрен-них дел, он на своих плечах вынес тяжесть работы по очищению советской власти от скверны. Трава измену на огромных про-странствах гигантской стройки социализма, они с наркомом загу-

били полгосударства невинных советских душ, за что ЦК ВКП (б), обрадованное тем, что нашло таких самоотверженных дураков, когда все было кончено, сделало строгое лицо и тяпнуло, не поднимая хипеша, вагонной буксой наркома по голове, когда он от трудов ехал лечиться в Сочи, а его зачихали 3-м секретарем Иркутского обкома партии. Во время Великой отечественной войны с авангардом мирового империализма он со своим штрафбатальоном гнал немцев от Москвы и, загубив половину всех штрафных частей доблестной Советской армии, укрепился на высоте. Попав под Можайском в окружение и вырвавшись за Смоленском из окружения, он прошел все генпроверки по длинной смоленской дороге и, добредя до Москвы, получил назначение прозектора морга офицерского госпиталя во Владимире. Когда кончилась война, он снова пошел работать по призванию во внутреннюю тюрьму НКГБ старшим надзирателем 7-го этажа. Огромное значение, придававшееся партией и лично тов. Сталиным в борьбе с космополитизмом и презренным низкопоклонством перед заграницей, в эпоху, когда наш народ завершает победоносное строительство коммунизма, снова выдвинуло его, человека блестящей квалификации, несмотря на перегибчики, в первые ряды воинов за приоритет нашей культуры. Когда в известных постановлениях ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам и докладах тов. Жданова была объявлена борьба всяким зощенкам, ахматовым, кинематографистам, композиторам и критикам-космополитам, он был назначен заместителем Нач. управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) и, блестяще совмещая опыт идеолога с опытом старшего надзирателя внутренней тюрьмы НКГБ, бросился перерабатывать загнившее мировоззрение у некоторых зазевавшихся идеологов.

Получив сведения о том, что на одной подмосковной даче некая супружеская парочка дезертировала от насущных проблем политики советской власти в области литературы и искусства и распространяет отвратительный запах космополитизма и «искусства для искусства», он переселился в московскую квартиру этой супружеской парочки, а подмосковную дачу со всем ее потрохом сжег.

Он хорошо знал, что таким способом — шумной компанией, хававшей кошек на чердаке дачи, наложившей кучи во все дамские шляпы, не ловят космополитов. Вернувшись с пожара, он снял потрепанные красные галифе и лег на непостланную кровать. Глубоко затягиваясь махоркой, он смотрел в багровый четырехугольник окна, слушая рев вечерней столицы. Он не мог заснуть. Мысль о том, что каждый миг приближает нашу счастливую родину к светлым дням коммунизма, вызывала учащенное сердцебиение и сильное потение ног. Он сучил пальцами босых ног, одетых в кальсоны с болтающимися завязками, страстно желая самому пожить в коммунизме.

Как всякий советский человек, он нервно вздрогнул от неожиданного звонка в передней. Вскочив с кровати, он зашлепал босыми ногами по линолеуму, плюнул, выругался и проскрипел:

— Кого черти несут?

Никто не отвечал. Он распахнул дверь и, почесывая в паху, уставился в темноту. И вдруг он увидел перед собой бежавших врагов нашей счастливой жизни и победного шествия к светлым зорям коммунистического завтра. Один враг был уже окровавлен и полугол.

— Держи, держи, — закричал он вслед скатывающимся с лестницы врагам и бросился за ними.

Влетев в свалку близ швейцарской, он схватил окровавленного полуголового врага и — рванул.

— Ногу выдернул, — с радостью подумал он и упал, получив удар в грудь. Зазвенела дверь, его обдало мокрым предрассветным воздухом, и он встал. В руках у него была туфля окровавленного, но вырвавшегося врага. Он распахнул дверь и с криком выскочил на улицу.

Глава VI

Задыхаясь, мы бежали по улицам просыпающейся столицы. Гремя бидонами, проходили молочницы и, разинув рты, глядели на нас. Дворник, поливавший улицу, на которого мы налетели, выскочив из-за угла, обдал нас струей ледяной воды из брандспойта. Звеня и покачиваясь, по улицам пронеслись пустые и казавшиеся поэтому полупрозрачными трамваи. Добежав до Арбата, мы остановились, с трудом переводя дыхание. Вдруг Марианна, дрожащая всем телом, схватила мою руку и прошептала:

— Аркадий, смотрите!.. — я посмотрел на площадь и увидел шагающего к нам милиционера.

— Бежим! — закричал я и бросился в переулок. Мы бежали, сворачивая в переулки и пробираясь проходными дворами.

— Я не могу больше, — прошептала Марианна и опустилась на землю. Я стоял на коленях и умоляюще смотрел ей в глаза.

— Надо бежать, Марианна, — шептал я, — надо бежать. Иначе мы погибнем. Будьте мужественны, Марианна.

— Куда бежать, Аркадий? — удивленно спросила Марианна.

Этот простой вопрос поразил меня. Я не знал, куда бежать. Я чувствовал, что здесь оставаться нельзя. Мои пижамные штаны и окровавленная рубашка здесь, в центре города, днем, каждое мгновение могли выдать нас.

— Надо прятаться у знакомых, — сказала Марианна и встала.

Мы пролезли в щель, оказавшуюся в заборе, и очутились в кривом и узком тупике.

Дети, бежавшие по тупику, остановились, подозрительно оглядывая нас.

— Вредители, — негромко сказал мальчик лет 10, ткнув локтем в бок своего товарища, — уж я знаю. У меня у самого папка был вредитель. Только его сразу скрутили.

— Это не вредители, — нахмурившись, ответил второй мальчик, — вредителей сейчас уже нету. Это поджигатели. Надо газеты читать, — авторитетно заявил он и сплюнул сквозь зубы. — Бежим в милицию. — И они, свистнув, сорвались с места, оглядываясь на нас и размахивая руками.

— Сюда, — сказала Марианна, — и, обогнув угол дома, быстро вошла в темный подъезд.

Супруги Геморроидальниковы сидели друг против друга за столом и занимались самокритикой, убедительно доказывая, что самокритика есть наиболее действенная форма раскрытия внутренних конфликтов социалистического общества в эпоху его поступательного движения к коммунизму, когда в передней раздался звонок. Выдернув буравчики сардонического взгляда из глаз своего супруга, Вада Виссарионовна пошла отворять дверь.

— Боже мой, — долетел до супруга вопль из передней.

— Сейчас убьют!.. — с надеждой и радостью подумал супруг и, бросившись к двери столовой, прижался к замочной скважине.

— Здравствуйте, дорогая, — услышал супруг из передней.

— Ах, какое счастье, — сказала супруга.

— Не убьют, — понял он и, тяжело вздохнув, завалился на диван. — Может быть, завтра сама под трамвай попадет, — с безнадежным отчаянием думал Сигизмунд Петрович. — А вечером еще этот доклад на секции детской литературы!.. О жизнь!

— Сика, Сикачка... — надрывалась супруга, волоча за собой гостей. — Ты посмотри, кто пришел! Сикочка, ты видишь, кто пришел? Ну что за бесчувственная скотина! Нет, вы только посмотрите!

Я подошел к Сигизмунду Петровичу и горячо пожал руку, которой он писал о моей книге, «что несмотря на грубую политическую ошибку издательства, выпустившего в свет это „произведение“, содержащее грязную клевету на советских людей, строящих коммунизм, рецензируемая нами книга обладает одним существенным достоинством: она лишний раз доказывает, к какому маразму приводит отход от метода социалистического реализма и убедительнейшим образом показывает нашим писателям, как не надо писать». Но Сигизмунд Петрович был единственным критиком, который считал, что меня не следует убивать до тех пор, пока не будут испытаны некоторые другие способы, приводящие к смерти людей, отошедших от метода социалистического реализма.

— Ах, — сказал Сигизмунд Петрович, — вас еще не убили?! Нет, этого не может быть! Ну, знаете, так, как вам, еще никому

не везло! — И он с чувством обнял меня и расцеловал в щеку.

— Они еще живые! — визжала Вагда Виссарионовна, — тогда будем пить чай! А что это у вас такое? — спросила она, указывая на залитую кровью рубашку, — и вообще, почему вы такой голый?

— За нами погоня, — тихо сказал я. — Вчера на рассвете они уничтожили наши рукописи и сожгли дачу. Мы едва спаслись. Помогите нам.

— Ну, конечно, как же может быть иначе, — воскликнула милая молодая женщина, — в крайнем случае мы скажем, что вы связали нас и заставили приютить.

— Хорошо, — сказал я. — Говорите. Нам необходимо переодеться.

— Да, да, конечно, — закричал Сигизмунд Петрович, — конечно, им в первую очередь необходимо переодеться. Вагдочка, займись этим делом, а я сейчас.

Вагда Виссарионовна проводила нас в спальню и распахнула гардероб.

Сигизмунд Петрович приотворил захлопнувшуюся за нами дверь столовой, выглянул в коридор, потом, ступая на цыпочках и оттопырив согнутые в локтях руки, покачиваясь жирным телом, прошел в переднюю, запер дверь, положил в карман ключ и с такой же осторожностью, тщательно притворив за собой двери, направился в кабинет.

— Милиция, — тихонько проговорил он, прикрывая ладонью рот и кося глазом на дверь. — Милиция! Прошу милицию. Все равно, какую. Нет лучше давайте большую. Это большая? Самая большая? Хорошо. Спасибо. Говорит известный критик Геморроидальников. Да, да. Член Союза советских писателей. Вы не читали мою новую книгу о социалистическом реализме? Нет? Очень жаль. Ничего, завтра же я пришлю ее вам. Пожалуйста. Товарищ капитан, дело вот какого рода: 10 минут назад ко мне на квартиру заявили известный вам Аркадий Беликов и его жена. Да. Вот именно. Скрываются. Да, да. Просят помощи. Хе, хе. Жена их сейчас переодевает. Да, да, совсем голые. В крови. Хорошо. Слушаю. Слушаю. Так. Так. Так. Хорошо. Только как можно скорее. Хорошо. Хорошо. Есть. Желаю.

Он положил трубку и, не снимая руки, перевел дыхание и оглянулся на дверь.

— Что вы для нас сделали, — утирая заплаканные глаза, сказала Марианна, ушивая широкое ей платье. — Правду говорят: друзья познаются в беде.

— Ну что вы, что вы, — восклицала Вагда Виссарионовна, — как же не помочь людям в такой беде. Это долг всякого советского человека, — и она бросила тревожно-вопросительный взгляд на дверь в кабинет Геморроидальникова.

Я спял окровавленную рубашку и осторожно стал обмывать раны.

— Очень хорошо, просто замечательно, — говорила Вада Виссарионовна, оглядывая туалет Марианны. — Сейчас именно посят широко в лифте. А куда вы собираетесь идти дальше? — между прочим полюбопытствовала Вада Виссарионовна.

— У вас есть пояс? — спросила Марианна, — а то все-таки широко.

— Сейчас, сейчас, — заспешила Вада Виссарионовна. — Вы хотите поехать домой?

— Вот так совсем незаметно, — сказала Марианна. — Правда незаметно?

— Прямо, как на вас шито! — воскликнула Вада Виссарионовна. — Это платье мне привез Сикочка, когда он ездил провожать наших солдат в Корею. Так вы думаете сейчас идти прямо домой или, может быть, еще куда-нибудь зайдете?

— Очень милая отделка из гипюра, — сказала Марианна.

Я обмыл раны и протянул руку за сорочкой Геморроидальникова. На мне были пижамные штаны в золотую полоску по небесно-лазоревому полю и одна туфля.

Но в то мгновение, когда я хотел облачиться в сорочку, из передней раздался шум открывшейся двери и топот сапог. Я уронил сорочку и выпрямился.

— Ничего, ничего, — забормотала Вада Виссарионовна, — это Катька ходила за керосином. — Она прислонилась спиной к двери и испуганно глядела на нас. Кто-то, гремя сапогами, прошел по коридору.

— Вы не беспокойтесь, — спокойно шаря глазами, промямлила Вада Виссарионовна.

По коридору протопала еще пара сапог, и вдруг дверь рванули. Вада Виссарионовна отскочила в сторону и на пороге с револьверами в руках показались два милиционера.

— Руки вверх! — рявкнул милиционер. Я ударил ногой стол, вскочил на подоконник, вышиб окно и, толкнув Марианну, выскочил на улицу.

Глава VII

Раздалось два выстрела, и на нас посыпались стекла разбитого окна. Мы снова присели.

— Держи! — орал над нами наполовину вывалившийся из окна Геморроидальников.

Мы бросились бежать в сторону.

— Аркадий, — услышал я за своей спиной и, оглянувшись, увидел Марианну, свернувшую в какой-то переулок. Я бросился

за ней, но в это время из-за угла выскочил автомобиль, полный милиционеров и собак, я завертелся на месте, бросился в сторону и юркнул в подворотню. Мимо ворот протявкали собаки и протопали милиционеры. Я залез в помойку, откуда мог наблюдать за улицей. Мимо ворот туда и обратно ходил милиционер. Я ждал. Марианна видела, куда я скрылся. Значит, она ждет меня в соседнем переулке или пробирается сюда. Милиционер ходил мимо ворот туда и обратно. Через двор проходили женщины и выливали на меня помой. Из квартиры, в окне которой видно было два примуса, выносили помой 6 раз. Очевидно, там варили уху и жарили курицу, потому что на меня больше всего вываливалась рыба чешуя и перья. Если они поймали Марианну, то я пойду в Министерство государственной безопасности и скажу: «Я Аркадий Белинков. Вы схватили мою жену. Больше я ничего не буду писать, ибо я слаб и ничтожен. Зарубите меня». Сапоги остановились в углу ворот, раздвинулись в стороны и ко мне потекла мутная струя. Потом еще приносили чешую, прокисший студень, тухлые яйца, простоквашу, перья, трубочист высыпал ведро саж, дворничиха вылила известку, а ребята бросили двух дохлых крыс, связанных хвостами друг с другом.

Марианны не было. Я не выдержал и с бьющимся сердцем выскочил из помойки. Не думая об опасности, я перебежал улицу и завернул в переулок, на углу которого я в последний раз видел сверкнувшую, как созвездие, Марианну.

Я бродил не таясь по переулку, заглядывал во дворы и подъезды, толкал двери и заглядывал в окна. Иногда меня спрашивали:

— Вам кого, товарищ? Или потеряли чего?

— Потерял, — тихо отвечал я и шел дальше. На мне были пижамные штаны в золотую полоску по небесно-лазоревому полю и одна туфля.

Я возвратился к углу переулка, к тому месту, где потерял Марианну, и опустился на колени.

— Прости меня, любимая, — прошептал я. — Прости меня за горе, которое я принес тебе, за то, что я, борясь за счастье людей, погубил тебя, лучшую и преданнейшую из женщин. Прости меня, любимая.

Силы покинули меня, и я потерял сознание.

В этот день над миром пронеслись бури. Наверное, больше, чем накануне. И, наверное, меньше, чем завтра. Лилась кровь, хрустели розовые кости и дымилось человеческое мясо. Горели жилища, скрипели ключи в замках тюремных подвалов, рвались снаряды, и матери хоронили детей.

— Чего разлегся? Пьяный, что ли? — услышал я чей-то далекий смутный голос и почувствовал, что кто-то трясет мое плечо. Я медленно раскрыл глаза и различил в темноте лакированный козырек фуражки и небесно-голубые погоны.

— Ну, ты, вставай, — сказал он.

Глава VIII

— Товарищ директор, — сказал милиционер, проталкивая меня вперед, — поймал. Пьяный. Валяется. В канаве.

— Я не пьяный, — угрюмо сказал я. — И если бы вы меня не поймали, я сам пришел бы к вам и сказал: вот — я. Теперь я в ваших руках. Убейте меня. Теперь мне все равно. Я побежден.

— Ха, ха, ха!.. — захохотал милиционер, — ты бы пришел! Как же, держи карман! Ха, ха, ха!.. Товарищ директор, он бы пришел! Ха-ха-ха!..

— Ну, вот что, — сказал директор, — некогда мне с тобой тары-бары разводить. Хватает с меня и без тебя всяких делов. Живо на место, а то влеплю еще червонец по указу от 40-го года и дело с концом. Давай!.. — И он мотнул головой на дверь.

Я переступил порог, взглянул и перед глазами у меня поплыли, расплываясь, красные круги, эллипсы и звезды. Передо мной стояли, сидели, лежали и расхаживали абсолютно голые, полуголые и почти голые люди.

В последнюю минуту я подумал, что мне хотелось бы умереть одетым. Перед моим взором встал эшафот, воздвигнутый на шумной площади, окруженной толпой людей, провожающей в последний путь своего трибуна.

Но вспомнив, что на мне лишь пижамные штаны в золотую полоску по лазоревому полю и одна домашняя туфля с оторванным каблуком, я махнул рукой на все и двинулся к двери, куда, стуча зубами, стремились обреченные люди из категории абсолютно голых.

В это мгновение, расталкивая абсолютно голую очередь, к которой присоединился и я, выскочил обливающийся потом багровый татарин с одним глазом и стоящими дыбом волосами.

— Эй! — заорал багровый татарин, — какой такой есть человек вместо беглый!

Молчание. Люди, стоящие перед страшной дверью, смотрели друг на друга остановившимися от ужаса глазами.

— Эй! — заревел одноглазый татарин, — какой такой человек есть? Зачем молчит? Совсем хуже будет такой человек. — И вдруг, встретившись со мной взглядом, он, не отводя от моего лица единственного своего глаза, двинулся ко мне, багровый, окутанный паром и с дико вздыбленными седыми волосами.

— Помогите! — тихо вскрикнул я и в ужасе попятился назад.

Одноглазый татарин схватил меня за плечо раскаленной рукой и зловеще кивнул кому-то, стоявшему сзади. Через мгновение передо мной вырос человек, державший в каждой руке по огромной бритве.

— Какой такой человек этот есть? — спросил татарин.

— Этот самый, — сказал палач и равнодушно почесал под

мышкой. — Это заместо Алехи Кривого паняли. Алеха, значит, убег, а этот заместо его. Только уж больно жидковат. Не стерпит. — Он нагнулся, что-то высмотрел на моем животе и, сморщив нос, сказал: — Жила у него хлипкая, не стерпит.

Голая толпа вокруг нас зашпорила:

— Нет, этот не стерпит. Антисемент. У ихнего брата завсегда жила хлипкая.

— Ничего, малость пообвыкнет.

— Какой? Этот? Да он в первочасье в портки наложит.

— Снимай штаны, — скомандовал татарин.

Я сжал кулаки и не шевельнулся. Палач попробовал бритву на собственном затылке.

— Снимай штаны, — рявкнул татарин.

Палач несколько раз скользнул по ремню бритвой.

Татарин, видя, что я по-прежнему не шевелюсь, дернул мои штаны. Шелк с треском порвался. Я остался в одной домашней туфле с оторванным каблуком.

Палач, держа в вытянутой руке бритву, медленно приблизился ко мне, нагнулся и протянул руку. Я взвизгнул и толкнул его ногой в лицо.

— Ты чего, ошалел что ли? — обиженно спросил человек с бритвой, поднимаясь с полу и запихивая в рот протезированную челюсть, — вроде псих какой-то. Придет директор, с ним объясняться будешь. Веди его, Азамат.

Я наклонился над своими разбитыми очками.

— Для гигиены, дурак, — сказал кто-то из толпы. — Учит их советская власть культуре, учит, учит, а все толку нет.

— Шайтан человек совсем есть, — проворчал татарин, покачивая головой, и, схватив меня за руку, потащил за собой.

Горячим паром, визгом и лязгом обдало меня. В раскаленном тумане бродили бледно-красные тени. На каменных лавках лежали полумертвые люди с безнадежно и уже безразлично запрокинутыми головами. И этих людей били, щипали, обливали кипятком или, возможно, расплавленной серой и царапали такие же, как и они, несчастные голые люди.

— Здесь становись будешь, — сказал татарин и указал мне на пустую лавку.

В минуты, когда человеку становится нестерпимо тяжело и перед ним встают категории жизни и смерти, он утрачивает чувство, отличающее истинные удельные соотношения событий, происходящих в движущемся вокруг него мире. Страшна жизнь человека, ибо он не в состоянии отличить шуток от трагедий всемирной истории народов.

Глава IX

Оказалось, что милиционер, увидев на пороге бани голого человека, принял меня за спившегося банщика, директор — за прогульщика, а банщик — одноглазый татарин — за вновь панятого коллегу.

Столь псожиданно превратившись в человека с определенным общественным положением и получив временную передышку, я решил использовать свою пыпешнюю частичную легальность и возможные в новой обстановке связи для самых решительных и тщательных розысков Марианны.

«Этот момент должен стать переломным в моей жизни, — подумал я. — Все, что было сделано до сих пор, было не больше, чем закладывание в затвор патрона. Но помните, за мной еще выстрел, уважаемые товарищи!»

— Товарищ банщик! — окликнули меня. Я с профессиональной щеголсватостью скользнул по липкому полу и остановился перед клиентом. Он был розов и толст.

— Доктор, — сообразил я, в новой обстановке начиная делать обычные профессиональные наблюдения.

— Прошу, — пригласил я доктора.

— Ой! — заорал доктор, — горячо!

— Сейчас, — любезно сказал я и побежал за другой шайкой.

— Ой, — заорал доктор, — холодно!

«Экий беспокойный клиент, — подумал я с досадой. — Никак не угодишь. Очевидно, доктор любит золотую серединку», — скептически заметил я про себя. И вспомнив профессиональную привычку чистильщиков сапог, парикмахеров и, по моим соображениям, так же и банщиков, решил развлечь клиента, любящего золотую середину, разговорами на абстрактные темы.

— Теперь хорошо? — спросил я.

— Самый раз, — ответил клиент.

— Скажите пожалуйста, — начал я, — вы не находите, что концепция звездных туманностей не приближает нас к решению вопроса о генезисе первичного белка? А?

— Потихе, пожалуйста, — попросил клиент, — глаз выдавите. И еще, пожалуйста, ногу немного подвиньте, а то у меня это ухо больное. Большое спасибо.

— Извините, — сказал я. — Так как же насчет белков?

— Насчет белков, видите ли... — промямлил пациент, — это лишний раз доказывает правоту марксизма-ленинизма. Глаз! Глаз!!

— Извините, — сказал я. — Совершенно верно. Это, конечно, еще лишний раз подтверждает правильность нашего родного марксизма-ленинизма. А как вы рассматриваете проблему более

упрощенного получения изотопа урана? Вот как в газете, в которой было завернуто ваше мыло, написано об этом, прочтите, пожалуйста.

— Не выйдет, — сказал клиент. — Как раз оставил очки в предбаннике. Как думаете, не сопрут?

— Ну, что вы, — воскликнул я, — у нас этого не было. Раньше, конечно, при царизме бывало, а сейчас, во все годы существования советской власти — никогда. К сожалению, я тоже без очков. Черт, очки потерял! Понимаете, сегодня у меня день, полный самых удивительных приключений, во время одного из которых я потерял свои очки. Очень обидно: хотелось почитать, что пишут в газете, в которую завернуто ваше мыло, про изотопы урана. Может, вы знаете?

— Э-э... Видите ли... — невнятно пробубльнул клиент, — возьмите, пожалуйста, у меня изо рта мочалку, а то у меня руки в мыле. Большое спасибо. Э-э... Видите ли, именно проблема более упрощенного получения изотопа урана лучше всего доказывает незыблемую силу марксизма-ленинизма.

— Совершенно верно, — сказал я. — Именно эта проблема доказывает незыблемость. Вас как, можно шайкой по голове для массажа, товарищ доктор?

— Нет, — сказал клиент, подумав, — не надо шайкой по голове. — Потом добавил: — Я не доктор. Я критик.

— Что? Ах! — воскликнул я, и шайка, выскользнув из моих рук, все-таки с громом промассировала критика по башке.

— Простите, — сказал я, — тогда понятно.

— Что? — поинтересовался критик.

— Я говорю: очень рад отмывать от грязи советского критика!

— Большое спасибо! — сказал критик.

— Вы из каких же будете? — осведомился я, — из критиков-космополитов или из критиков-патриотов?

— Что?! — заревел клиент, — я критик-космополит?!

Он замотал головой, и шайка зазвенела на ней, как колокол.

— Я первый начал разоблачать этих ничтожных антипатриотов! — гремел он, — а какой-то, извините, банщик, который даже не может прочитать газету, в которую я заворачиваю мыло, смеет так меня оскорблять!!

Он сдернул с головы шайку и, вскочив, приблизил свою заляпанную мылом морду к моему носу.

— Ермилов! — закричал я.

— Белинков! — закричал он. И с громким воплем мы разлетелись в разные стороны.

Глава X

Шипя мыльной пеной, я влетел в топчущееся в предбаннике стадо с намыленными головами, мотавшимися с бляением из стороны в сторону. Распихав баранов и колотя их по бараньим мордам, я вырвался из бани.

Опять за моей спиной кричали: «Держи-и-и!..»

Теперь у меня ничего, кроме программы с аморфной позитивной частью, не было. У меня не было ни рукописей, ни библиотеки, ни жены, ни очков, ни даже домашней туфли с оторванным каблуком, погибшей в неравном бою с банщиками. Я был сам собой. Человек и концепция. Человек-борец с врагом-государством. Его концепция была справедливее и гуманнее концепции государства. Но концепция государства была сильнее его концепции. И поэтому был не прав он, а не государство. Государство с менее справедливой и гуманной концепцией бежало за ним, громко крича: «Держи-и-и!!» В истории нет ни умных, ни глупых, ни справедливых, ни гуманных концепций. Есть концепции сильные и слабые. Концепция Алариха была сильной, и поэтому она победила умную Римскую империю. Что касается ее ума, то когда она победила, ум сразу же был доказан всеми при ближайшем участии самих римлян. Силой можно заставить сделать все. Даже гениальные симфонии, поразительные фрески и прекрасные отречения сына от отца. Под авторитетным воздействием силы самая губительная идея обретает как-то не бывшую ранее заметной убедительность и приобретает адептов с докторскими диссертациями и избирателей, с воодушевлением опускающих в урны свои бюллетени. Чему мы имеем большое количество примеров в прошлой и настоящей истории народов.

И поэтому не было ничего удивительного в том, что за моей спиной раздались крики: «Держи! Держи его! Хватай! Чего глаза пялишь, за ногу его хватай!»

Я завернул в переулок и заскочил в подворотню.

Мимо меня, пыхтя, прошлепало толстое буро-розовое мясо с розовыми ляжками, оставляя за собой мыльные кляксы. И все стихло.

Когда эта клякса на истории русской литературы скрылась из глаз, я вылез из подворотни.

Вечерний город завыл, заворочался и задышал, коротко и часто. Площади оскалили челюсти, утыканые электрическими лампами. Стада самцов, самок и детенышей их, влетевших в ущелья улиц под прикрытием сумерек и тумана, убивали, грабили, насиловали, доносили, допрашивали и поджигали, строя свое счастливое коммунистическое завтра.

— Караул! — кричали они.

— Дави его промеж ног! Дюжее!

— Да здравствует наша могучая Советская армия!

— Сапоги упер, сапоги! Прямо, как есть, с живого ходу!

— Режут!!

— Держи-и-и! — прокричали сзади меня. Я вздрогнул и бросился вперед.

По дыханию, топоту и силе порыва, опытом познавший многие тезисы бытия, я понял, что за мной гонится цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза советских писателей и представители обществ содействия.

— Не уйдет, — сдавленно продышал банщик, нажимая.

— Куда ему! — прохрипел автор популярных в народе симфоний.

Я задышался.

— Марианна, — хрипло шептал я, — я погибаю. Что будет с тобой?! Кто спасет тебя, любимая?!

Щелкнули зубы за моей спиной, когти рванули мое плечо, и я, взыв, метнулся в сторону и упал. С визгом затормозило автомобильное колесо у моей шеи. И кто-то, схватив меня за ноги, вытащил из-под автомобиля. Я сидел на мостовой и, лязгая зубами, озирался.

— Зарезал! Зарезал! — заорал чей-то пропитой голос.

— Ну как? Ничего? — спросил, нагнувшись ко мне, молодой человек из добровольного общества содействия. — Не зашибло?

— Ничего, в мякоть попал, — ответила, сочувственно посматривая на меня, красивая молодая женщина.

— Вы дальше бегите! — скомандовал кто-то, — а мы тут сами справимся.

Он нагнулся ко мне и спросил:

— В каком направлении он скрылся? Вы только укажите, а сами не тревожьтесь. Мы вас сейчас устроим, товарищ Ермилов.

— Что? — спросил я и поднял глаза.

— Я говорю, укажите нам, куда он скрылся.

— Кто? — спросил я.

— Ну, этот, как его...

Сзади раздались голоса хорошо мне знакомых членов Президиума Союза советских писателей: «...Аркадий Белинков, космополит и выпендреш формалистов!»

— Хорошо, — сказал я и протянул руку в ту сторону, куда прошлепало розово-бурое мясо с толстыми ляжками, принадлежавшее Владимиру Владимировичу Ермилову, экс-редактору «Литературной газеты» и лауреату.

Взревев, цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза советских писателей и представители обществ содействия ринулись вперед. А я, ставший Владимиром Владимировичем, экс-редактором и лауреатом только потому, что хитро оказался не впереди, как полагается убегающему, а позади, был сдан под

присмотр, за моим едва не раздавленным колесом здоровьем, случайно оказавшейся в погоне молодой женщине, покрасневшей от удовольствия быть полезной русской литературе в лице ее замечательного представителя В. В. Ермилова.

Глава XI

В это мгновение вдали раздался дремучий рев, и молодая женщина, обернувшись к своему мужу, низким, звучным голосом с тихой радостью сказала:

— Поймап. Все кончено.

— Бежим. Дорога каждая минута! — вскочив с мостовой, воскликнул я.

Молодая женщина улыбнулась и посмотрела на меня светящимися глазами.

— Сюда, — сказала она и, отворив дверь, пропустила меня вперед.

Глава XII

— Вона! — взвыл вырвавшийся вперед банщик, заметивший топоящее посередь проспекта голое мясо. Увидев, что их усилия не пропали даром, цех банщиков, стая милиционеров, Президиум Союза советских писателей и представители добровольных обществ нажали еще крепче и, рванув что есть силы, навалились на бегущего.

— Кар! — пискнул он, сшибленный ударом по башке, и, оказавшись на мостовой, громко добавил: — ул!!

— Попался, голубчик! — визжала толпа, притопывая танец победы. — Попался! Ха-ха-ха! Стервятница!!

— И здоров бегать, паскуда! Ишь, какой конец отмахал.

— А жирный-то, жирный! Глянь-ка, цицки-то висят, як у бабе!

— Это не я!! — обомлев, заорал Владимир Владимирович. — Это он!! Я всегда правильно делал! Спросите у Ковальчик!

— Нет, брат, шалишь, теперь, брат, не то, — подвывая от счастья победы, тихонько сказал один доброволец и, изловчившись, как двинул Владимира Владимировича сапогом в пах.

Владимир Владимирович, обхватив руками живот, взвыл и снова сел на мостовую.

— Не то? — переспросил он, — как не то? Уже не надо? Пожалуйста. Я не буду, если не надо. Будем издавать его книгу. Я еще вчера говорил. Спросите у Ковальчик. Товарищ Коваль-

чик, я говорил? Я же говорю, что я говорил. Раз партия, правительство и лично товарищ Сталин говорят, что не надо...

— Чего скулишь, сука! — проскрежетал урка из Президиума Союза советских писателей и саданул Владимира Владимировича по хребту фонарным крошштейном.

— Ох, — взвизгнул Владимир Владимирович и, не помня себя, вцепился зубами в брюхо урки из Президиума Союза советских писателей.

Урка заревел благим матом и павалился на Владимира Владимировича. На них посыпались банщики, милиционеры, члены Президиума и добровольцы.

Над кровавым месивом человеческого мяса завихрился дымок и начали пробиваться узкие язычки голубоватого пламени.

Отрывая вцепившуюся в его живот челюсть, член Президиума Союза советских писателей вдруг замер, нащупав рукой до галлюцинации близко знакомые ему зубы.

У него остановилось дыхание. Он рванул вгрызавшуюся в его внутренности голову и закричал длинно и тонко.

В зубах у головы болтался лоскут мяса и на обрывке штанины — пуговица.

— Ермилов!.. — прошептал он.

Ермилов близоруко сощурился, и вдруг его нижняя челюсть отвалилась и кровавый лоскут мяса и пуговица на обрывке штанин упали на мокрые камни.

— Стойте! — тонко заорал член Президиума Союза советских писателей. — Стойте! Братцы, да ведь мы же фразернулись! Честное слово, фразернулись! Да ведь это ж не тот!

На них был плотный слой банщиков, выше слой добровольцев, над добровольцами слой милиционеров, и на всех слоях, вещая принципы содружества, прыгали, топали, орудовали ломами и протыкали все месиво длинными железками члены Президиума Союза советских писателей.

Загнав ногу, обутую в охотничий сапог, в хайло рычащего над ним банщика, член Президиума, изловчившись, подмял банщика под себя и в освободившееся в пласту место влез сам и воткнул заднюю часть Владимира Владимировича. Что им руководило, этим человеком, дважды познавшим зубы Владимира Владимировича? Только социалистическое отношение к действительности, помогшее ему уяснить, что Владимир Владимирович хоть и враг, но свой, а вот Белинков — это дело совсем иное. Ободренный Владимир Владимирович, висевший на собственной заднице, понявши, что теперь дело не в нем, быстро работая сильными челюстями, вооруженными легкими, но острыми и крепкими зубами со специально надетыми на них коронками из нержавеющей стали, зажатый в щели верхнего пласта, вывернулся и перегрыз пополам висевшего над ним дворника. Верх-

няя половина дворника с открывающимся и закрывающимся ртом свалилась вниз, и Владимир Владимирович, бросив опознавшего его члена, протискался на толщину целого пласта.

— Нет, — сказал он, — надо действовать решительно, а то в этой действительности, с еще не изжитыми до конца отрывками проклятого буржуазного прошлого и совсем недавнего капиталистического, и вовсе околеешь. Сказав это, он прогрыз в туловище лежавшего над ним не то банщика, не то милиционера круглое отверстие, просунул в него голову и увидел сверкающее сияние родной столицы, воли, советской действительности и на глазах его проступили слезы.

— Братцы! — вскричал он, — что же мы делаем, ведь своих же свои же хавасм, как в 37-м незабываемом году! Да ведь так нас, самых советских-то, и вовсе не станет. Кто же коммунизм-то строить будет, братцы? Аркадий Белинков с Черчиллем, что ли? Перед лицом великих задач, стоящих перед нами, призываю вас не хавать друг друга!

Глава XIII

Она высвободила руки из-под одеяла, закинула их за голову и, упираясь ступнями в спинку кровати, потянулась, выгибая спину и певуче зевая. Потом раскрыла глаза и удивленно огляделась по сторонам. Длинные клинки солнца дрожали, воткнувшись в желтый пол. Не дыша лежала она, низко запрокинув голову с прищуренными веками, слегка касаясь груди кончиками прохладных влажных пальцев. Она сбросила одеяло и, не попав одной ногой в заячью туфлю, подбежала к сияющему окну и распахнула его. Потом надела туфлю, выправив пальцем смятый задник, зевнула, подобрала на затылке легкие волосы, набросила на плечи халат и вышла из комнаты.

Начинался необъятный и скучный день. Она знала, что он будет тянуться, медленно разматываясь и цепляясь за уборку квартиры, за журнал «Октябрь», с прозой, похожей на серое тягучее вязанье, и стихами, похожими на запыленные стекла, за хождение в гастроном, за штопку чулок, зевание у окна, вытаскивание из ящика какой-то газеты, ворчание в радиоприемнике, из которого можно извлечь лишь сельскохозяйственную передачу, объявления о найме рабочей силы и беседу в помощь изучающим историю ВКП (б), за драку ребятишек на дворе, за возвращение с работы мужа, за длинную и нудную кишку дворника, брошенную на мостовую и источающую с кашлем мутную перекрученную, как кнут, струю.

Зевая, она водила по спинке дивана влажной тряпкой; потом

медленно и долго, разбрызгивая воду, умывалась; потом сидела перед зеркалом, лениво перебирая волосы; потом она разбила яйца и уронила в сковородку скорлупу, попыталась извлечь ее длинным лакированным ногтем, но скорлупа раскрошилась, и она, вытащив крупные осколки, махнула рукой на остальные; лежа на диване, она читала журнал «Октябрь», глаза ее скользили по строчкам прозы, похожей на серое, скучное вязанье, и стихов, похожих на запыленные стекла; она долго распутывала нитки, клубок, выскользнув из рук, закатился под буфет, она доставала его липсойкой, потом вешиком, потом щеткой; нитки зацепились за ножку буфета; стоя на корточках, она распутывала нитки... День был длинный, запущенный, запутанный, ненужный и не имеющий решения.

В деревне под Москвой у матери жил поросенок. Каждое воскресенье муж заправлял свою трехтонку и ездил проводить поросенка. Возвращался он вечером и, шумно умываясь, кричал жене:

— 400 граммов прибавил! Ты знаешь, как я пришел к нему, он как хрюкнет! Заколем ко дню Сталинской конституции, вот увидишь, сало будет на большой!

После окончания какого-то института она поехала в деревню и под утро, огушенная горьким самогонным вином, мажорочным дымом и криком гармошки, обессиленная головной болью и тошнотой, вышла замуж.

Жизнь ее в Москве медленно разматывалась и цеплялась за уборку квартиры, завтраки, тягучее чтение журнала «Октябрь», штопку чулок, за хождение в гастроном, зевание у окна, вытаскивание из ящика какой-то газеты. Петли дней связывались в сопливый, обматывавший ее шарф бытия, и грозные раскаты всемирной истории не будили ее громом и молниями.

— Жена, — кричал муж, хлопая наммысленными ладонями по оттопыренным ушам, — собирайся, завтра покатаем Розьку глядеть. Ты знаешь чего? Пойдем свинушке сегодня красную ленту покупать? А?

— Ладно, — сказала она, зевнув, — иди, суп простынет.

После обеда он надел новые сапоги, отогнул белые манжеты голенищ, осмотрел задник сапога, повернув голову через плечо, и они вышли из подъезда.

— Ты взяла торбу? — спросил муж, — Надо бы припасть пшена, а то скоро [зачеркнуто: наверное] перестанут давать.

И в это мгновение раздался крик, метнулись длинные тени и у ног их завертелось что-то голое, покрытое розетками мыльной пены.

Автомобиль, рванув тормоза, остановился, упершись колесом в тело.

— Зарезал! Зарезал! — закричал кто-то.

Она дернула мужа за рукав и протискалась к вытасченному за ноги человеку. Он сидел на мостовой, лязгая зубами и озираясь.

— Ну, как? Ничего? — сочувственно спросил кто-то. Она нагнулась к пострадавшему и, больше успокаивая его, чем определяя истинное положение вещей, мягко сказала:

— Ничего, в мякоть попал. Пройдет.

— Вы вот что, — сказал высокий мужчина с седыми волосами и розовым лицом пропойцы, — окажите здесь первую помощь товарищу лауреату Сталинской премии, редактору «Литературной газеты», замечательному нашему критику Ермилову, а мы бежим дальше догонять. Некогда.

Они с криком и гиканьем бросились дальше, а голое тело, оказавшееся Владимиром Владимировичем Ермиловым, экс-редактором и лауреатом, было сдано под присмотр, за его едва не раздавленным колесом здоровьем, молодой женщине, покрасневшей от удовольствия быть полезной русской литературе в лице ее замечательного представителя В. В. Ермилова. Услышав вдали дремучий рев погони, Владимир Владимирович Ермилов вскочил на ноги и воскликнул:

— Бежим! Дорога каждая минута!

Глава XIV

Меня усадили на диван и дали на первый случай полотенце препоясать чресла.

Супруги шумно толкались по квартире, хлопоча о горячей воде и одежде.

— Интересно узнать, — спросил муж, пронося через столовую гремящее цинковое корыто, — а какое жалование платят писателям за работу?

Меня трясла лихорадка, и я попросил воды.

Супруги хлопотали на кухне. Я слышал плеск воды, шум отодвигаемых стульев и звон посуды.

— Товарищ Ермилов, — позвала меня милая молодая женщина, — пожалуйста, — и, пропустив меня в кухню, затворила за собой дверь.

Я сидел в корыте и задумчиво размешивал пальцем воду. Клубящиеся обрывки мыслей проносились в моей голове, и я не в состоянии был сосредоточиться на происшедшем.

— Сейчас они догонят настоящего Ермилова, — промелькнуло у меня в голове, — и все будет кончено. Надо бежать отсюда, одеться и бежать. Бежать, бежать и бежать...

Тело мое наливалось тяжестью и цепенело.

— ...бежать, бежать, бежать... — шептал я и чувствовал, что

вода захлестывает меня, заливает рот, ноздри, уши; гудящая серозеленая масса воды обступает меня и я — тону.

— Помогите! — закричал я. — Помогите!

— Вам чего? — услышал я чей-то далекий голос и поднял голову. По моему лицу текла вода, стекала на грудь и капала в корыто. Я глубоко вздохнул и выпрямился.

— Вам чего? — негромко повторил мужской голос из-за двери.

— Благодарю вас, — сказал я, — ничего, это я так.

— А-а... бывает, — заметил мужик. Потоптавшись за дверью, он кашлянул и спросил меня: — А интересно узнать, вы чего покупали на Сталинскую премию? А?

Ваша несколько освежила меня. Облекшись в гимнастерку, галифе и тапочки мужа, я вышел из кухни.

— Садитесь, пожалуйста, — сказала мне милая молодая женщина, придвигая стул. — С легким паром. — И посмотрела на меня, улыбаясь длинными, как лодочки, глазами.

Меня лихорадило. Я не мог ничего есть.

— Кушайте, — попросила милая молодая женщина, и голос ее дрогнул. Черные ручьи медленно потекли по чайной скатерти, омывая чашки, блестя и покачиваясь. Я вздрогнул и выпил воды.

— А интересно узнать, — поинтересовался муж, — отчего нынче не пишут, как при царе? Читал я когда-то книжку про капитанскую дочку. Жалко только, конец оторван. Толково написано. Вы, небось, читали? Или еще про Ивана-царевича. Вот это настоящая книжка.

Милая молодая женщина покраснела и, опустив глаза, попросила мужа нарезать еще хлеба.

— Благодарю вас, — сказал я. — Мне неудобно, что я причинил вам столько хлопот. Я сейчас пойду домой.

— А в чем вы пойдете? — спросил муж. — Ведь вы совсем шагишом.

Милая молодая женщина попросила мужа нарезать хлеб.

— Чего резать-то столько? — удивился муж. — Только зря сохнет. Еще четыре куска осталось. Как истребим этот, тогда и нарежу. А мы вот что сделаем: я пойду с вами вместе, а у своего дома вы снимите мои шмотки и пойдете домой. А кто это, там на улице велел нам прибрать вас к себе? Не заметили случайно?

— Генеральный секретарь Президиума Союза советских писателей товарищ Фадеев, — сказал я, опустив голову.

— Нет, — сказала милая молодая женщина, — товарищ Ерилов останется у нас ночевать. Куда вы поедете ночью? Оставайтесь.

— Ага, — сказал муж, — правда, пускай они останутся. Ни-

чего не имею. А завтра мы поедем к своей свинушке и подкинем вас до дому. Эх, товарищ Ермилов, поглядели бы вы на нашу свинушку! Она, хоть и ходит еще, ко дню Сталинской конституции припасем, а уж сейчас, как поглядишь на ее сзад, прямо... (он поднес к губам сложенные щепотью пальцы и чмокнул.) Жена, ты бы спросила у товарища писателя, какое имя-то ей дать. А то, Розька, да Розька, нешто это имя в нашу эпоху? С прокормом только сейчас неважно. Помоею нехватка.

— Да, что вы! — удивился я, — помоев, мне кажется, сейчас сколько угодно. Тут совсем близко есть один двор, так там в помойную яму понатакали за каких-нибудь полчаса 18 ведер рыбьей чешуи, прокисшего студня, яиц, простокваши, известки, перьев и сверх того еще двухдохлых крыс. Я же знаю, я сам там сидел!

— Где? — спросил муж.

Я вовремя опомнился и пробормотал:

— Вот, точного адреса не могу вам назвать. Завтра, когда поедем, покажу.

— На большой! — воскликнул обрадованный муж, — житуха, Розька! Жена, завтра пойдем на помойку! Вот, товарищ Ермилов укажет. А как же это вы, товарищ Ермилов, штаны утерели?

— Украли, — угрюмо пробормотал я. — В бане.

Меня лихорадило.

— ...бежать, бежать, бежать... — беззвучно шептал я, на короткие мгновения теряя сознание, и снова пробуждался.

— Чего? — спросил муж.

— Товарищ Ермилов очень устал, — приблизив голову к моему лицу, сказала милая молодая женщина. — Ложитесь отдыхать, товарищ Ермилов. Я сейчас приготовлю. Может быть, сообщить вашим родным?

— Нет, нет! — закричал я. — Не надо сообщать родным. — И потерял сознание.

Глава XV

Как выяснилось впоследствии, помирал я медленно и долго. Когда я пришел в себя, все удивленно переглянулись.

— Порядок, — сказал муж, — а мы думали, что врежете дуба, товарищ Ермилов.

Он был очень доволен началом моего выздоровления.

— Жалко, так и не указали помоев для Розьки. Теперь уж, наверное, все разобрали. Ну, я отрываюсь. Жена, ты тут с товарищем писателем придумайте Розьке какое покрасивше имя.*

* Дальше три слова неразборчиво.

Попытки пересилить себя, выздороветь, встать ни к чему не приводили. Болезнь коленом придавила меня к постели и, чем упорнее я старался высвободиться, тем больше терял сил. Я сдался.

— Владимир Владимирович, — тихо сказала милая молодая женщина, — не надо расстраиваться. Полежите немного и все пройдет. — Она поправила подушку и коснулась ладонью моих волос.

— Спасибо вам, милый мой, хороший мой друг, — прошептал я и почувствовал, что глаза мои полны слез. Она ничего не сказала и медленно вышла из комнаты.

— Марианна, — прошептал я, — что с тобой? — И закрыл глаза, боясь думать о том, что стало с Марианной.

Так же трудно было узнать, почему меня до сих пор не схватили.

— Шура, — спросил я милую молодую женщину, — меня никто не спрашивал?

— Нет, — сказала она. Потом, подумав, добавила: — Из милиции один чужак приходил. Говорил, у вас должен быть какой-то Аркадий Беликов. Скажите мне, Владимир Владимирович, то, что пишут наши писатели, это все правда?

— Что? — спросил, появляясь в дверях муж. — А как же? Что они, американские писатели, что ли? Пишут про свою родную советскую власть, а не про американскую! Чего ты шляешься здесь все время? — нахмурившись, спросил он жену.

Она неподвижно стояла, устремив на мужа длинные лодочки сощуренных глаз.

— А?.. — сказал я. — Вы уже вернулись? Ну, как дела? Да, я все хотел спросить, на помойку так и не сходили?

— Дела ничего, — проворчал он. — А на помойку как же я пойду, когда вы ее скрываете.

— Что вы?! — воскликнул я, — пожалуйста! Я только сам не могу вас проводить. Я объясню вам, и вы ходите.

— Правда? — заинтересовался он. — А ну-ка, растолкуйте.

Я объяснял ему, как найти помойку, чертил план города на папиросной коробке, он переспрашивал, водил пальцем по чертежу, затем, повторив маршрут, подмигнул мне и ушел, размахивая ведром и лопатой.

— Шура, — тихо сказал я, — не обращайтесь внимания. Все пройдет, все будет хорошо. Не надо, милая.

— Да, да, — быстро ответила она, — все будет хорошо. Скажите, Владимир Владимирович, когда человек что-нибудь делает, что он должен слушать — голос рассудка или голос сердца?

— Голос грядущего, — сказал я. — Когда я думаю о своих поступках, в моем воображении встают дети, и я стараюсь ответить так, чтобы их жизнь была счастливее нашей жизни.

— У вас детей нет и у меня нет, — тихо сказала она, — мо-

жет быть, если бы у меня были дети, мне легче было бы думать о будущем. Почему я так несчастлива, Вол., Владимир Владимирович?

— У меня будет дочь. Обязательно будет дочь, — воскликнула я, — она будет исполнением моих несбывшихся надежд, неисполненных желаний, незавершенных замыслов. Наши дети — это не только не пережитое нами будущее, но исправление ошибок нашего прошлого!

— Голос рассудка, голос сердца... — опустил голову, тихо сказала она. — Говорят, что золотой век уже был. Тогда нам больше нечего делать. И нашим детям нечего делать. Скажите, Володя, прошел ли уже золотой век? Будет ли еще золотой век?

Я молчал. Я знал теперь, что в государстве мужа этой женщины, если я смогу что-либо сделать, то лишь сделать тайно.

Я спрашивал ее:

— Я ничего удивительного не говорил в бреду, что бы вас удивило?

— Нет, — отвечала она, подумав. — Вы ничего удивительного не говорили. Что-то об аморфности позитивной части программы и о шестой социальной формации.

— А-а-а... — сказал я.

Я молчал.

Я не хотел раскрыть ей тайну золотого века.

— Почему вы молчите? — спросила она и тихо добавила: — Мой муж недоволен тем, что я так часто бываю у вас.

Гремя ведром, в комнату встал муж.

— Какие там помои?! — кричал он. — Нешто это помои! Две дохлые крысы. А еще чего? Лампочка электрическая 25 свечей, разбитая, горло от бутылки из-под портвейна № 18, да тряпки разных цветов? Нешто это годится на корм животной? Таскался, как дурак, только. Навалил тут с три короба: «Помои, помои!» И тебе рыба чешуя, и студень, и то, и это, и пятое-десятое. А на деле-то, кроме двух дохлых крыс, пшик один оказался. Помои! Небось, пока я там по помойкам ползал, они здесь тары-бары, шуры-муры, тете-мете, фигли-мигли, совсем другим делом занимались. Муж по помойкам ползает, всякую копейку в дом тащит, а она тут целый день с чужими мужиками шляется?!

— Послушайте, — сказал я, — если мое присутствие хоть в какой-то мере вам неудобно, то я сейчас же уйду. Я не привык быть в тягость кому бы то ни...

— Товарищ Ермилов! — воскликнула она и, вспыхнув, обернулась к мужу: — Как тебе не стыдно?! Большой человек, лауреат Сталинской премии, награжденный правительством медалью за оборону Москвы, которую он, не щадя своей крови, оборонял в Куйбышеве, где он был всю войну! Как ты, советский человек,

в эпоху, когда мы не сегодня-завтра вступаем в первую фазу коммунизма, можешь позволять себе такие пережитки проклятого прошлого??!!

— А чего я позволяю? — отступал несколько опешивший муж. — Я говорю, ничего там нету на помойке толкового. Иди, проверь сама, если не веришь.

Милая молодая женщина уголком губ улыбнулась мне и, обернувшись разгневанным лицом к смешанному с грязью супругу, возмущенно воскликнула:

— Мне стыдно за тебя перед членом Президиума Союза советских писателей!! — И вышла из комнаты.

— Ох, уж эти мне бабы, — почесав под мышкой, со вздохом сказал муж. — Как шлея под хвост попадет... Чего это с ней? Как живем мы вместе, такого не было. Положите вы на это дело с прибором, товарищ Ермилов. Ничего, пришабрится.

Глава XVI

По утрам я вставал с постели и, поддерживаемый под руку моим новым другом, выходил на балкон. Она срывала лучший цветок (цветы росли в ящиках, подвешенных к перилам балкона) и с грустной улыбкой дарила его мне.

Над необъятной просыпающейся столицей медленно плыли облака, растворяя в крепкой синеве неба багровые подтеки впитанной за ночь крови. Грохот громадного города, хрустящего суставами, ворочающегося и зевающего спросонья, давил пiski зарезанных, пытаемых, задушенных, изнасилованных и растерзанных, прописанных и непрописанных в ней жителей.

— Ах, если бы можно было прожить так жизнь, — едва слышно сказала она, — в этой тихой свежести августовского утра, рядом с человеком, которому веришь, которого ценишь. Скажите, Владимир Владимирович, счастье в этом?

— Нет, — сказал я. — Счастье не в этом.

Я боялся за эту женщину, ничего не подозревая жившую рядом с моей тайной, которая в любое мгновение могла, взорвавшись, погубить ее.

Я молчал. Моя жизнь была посвящена подвигу. Я знал, что могу погибнуть в любое мгновение. Смысл моей жизни был в том, чтобы погибнуть, принеся людям больше счастья. Больше счастья людям золотого века. Я ничего не сказал ей о тайне человеческого счастья. Я сжал зубы, как сжимают предохранитель на пистолете.

— Почему вы молчите? — спросила она. — Владимир Влади-

мирович, скажите мне, почему я так несчастлива? — В глазах ее стояли слезы.

— Вы знаете, как Фауст прочел первый стих Евангелия от Иоанна? — спросил я. — Вначале было дело. Счастье нельзя получить ни по наследству, ни в дар, ни в магазине за деньги. Его можно только сделать. Главным образом, самому, не особенно рассчитывая на помощь соседей. А вы? Вы ничего не делаете, милый мой друг, не только для обретения счастья, но даже для получения удовольствия.

— Я ничего не умсю делать, — сказала она.

— А что вы хотите сделать?

Она молчала.

— Вероятно, раньше, чем что-то делать, нужно знать, для чего собираешься это делать. Счастье, счастье... что вы видите, говоря это слово?

— Что я вижу? — удивленно переспросила она. — Конечно, я вижу коммунистическое общество, которое мы строим. А что?

— А-а-а, — сказал я, с солидностью кивнув головой, — о чем же вам тогда беспокоиться, если у вас такое ясное представление об этом предмете? Тогда вы должны немедленно включиться в общую работу по построению этого общества. Например, штопать носки мужу или делать то, чему вас учили в каком-то институте, и дело в шляпе.

— Нет, — сказала она, — я знаю, что это прекрасно — коммунизм, но у меня к нему такое же отношение, как к чему-то безусловно очень хорошему, но такому, что никогда не видела и не ощущала. Например, Африка. С детства мне казалось, что самое интересное — это Африка. Или марципан. Говорят, что это самое вкусное. А я никогда не ела марципана. Можно ли полюбить человека, не узнав его? Вам скажут! «В таком-то городе живет самый умный, самый добрый, самый красивый и самый талантливый человек. Полюбите его». Можно ли его полюбить? Может быть, я действительно полюбила бы Африку, или марципан, или самого умного, самого красивого и самого доброго человека, но нельзя полюбить то, чего никогда не видел и не узнал.

Я взял ее за руки и, глядя в длинные влажные глаза ее, сказал:

— Наш век — век человеческого мяса. Борьбы за человеческое мясо. Идея необъятных возможностей положила под топор высшую нервную материю и от человека осталось только то, что годится в пищу людям [*зачеркнуто*: имеющим идеи] путем захвата владеющих идеями. В мире всего две идеи: одна настаивает на том, что человеческое мясо принадлежит ей. Другая требует себе человеческого мяса. Что касается качества этих двух диаметрально противоположных идей, определяющих характер нашего

века, то оно выяснится после того, как станет ясно, на чьей стороне победа. Так как всем известно, что побеждают, разумеется, только самые лучшие идеи.

— А коммунизм? — спросила она, шагнув ко мне.

— Ну, конечно! — воскликнул я. — Я же не говорю, какая из этих идей лучше. В этом-то и вся штука. Человечье мясо коммунизма!

— Хорошо, — сказала она и, тяжело дыша, вплотную приблизилась ко мне.

— Может ли быть счастливо человечье мясо?

— Может, — твердо сказал я, — когда оно подставляет топору кость, от которого топор отскакивает, получив зазубрину. Потом это мясо переламинает топорнице и хватает за горло идею топора. Человечье мясо имеет свои идеи, — с гордостью заявил я. — Лучшая его идея — идея борьбы.

— Скажите, может ли любить человек в наш век? Я хотела сказать, может ли любить человечье мясо?

— Да, — сказал я, — может. Только в наш век это не самое главное. Человек всегда должен делать самое главное. Настоящий человек из человеческого мяса должен научиться приносить в жертву самое дорогое во имя самого важного. Тому мы имеем неоднократные примеры в тысячелетней истории народов. Чей подвиг выше, Абеяра, который во имя своей любви к [край страницы оборван, далее несколько слов восстановлено по смыслу]. Элоизе пошел на все и был оскотлен, или Агамемнона, пожертвовавшего своей дочерью Ифигенией, чтобы спасти свой народ?

— Вы очень любите свою жену? — медленно спросила она.

— Очень, — ответил я.

— А я не люблю своего мужа...

В это мгновение, звеня стеклами, распахнулась балконная дверь и на пороге появился муж. Под мышкой у него был зажат поросенок.

— Это что же такое делается, товарищ Ермилов? — зловеще спросил муж, пристально смотря на нас. — Приютит я вас, больного советского человека без портков в своем родном доме, а вы чужих дамочек разными фиглями-миглями завлекаете?

Поросенок под мышкой мужа взвизгнул.

— Сидеть! — грозно прикрикнул муж и ляпнул ладонью по пятячку.

— Как хорошо, что ты привез поросенка... и сам приехал, — воскликнула милая молодая женщина, — а мы тут с Владимиром Владимировичем придумывали всякие имена. Только не решились, какое лучше: Ифигения или Элоиза.

— Хай будет хоть философия, — мрачно сказал муж и, пристально глядя в глаза жене, заорал: — Ты мне яйца не крути всякой интеллигенцией. Сами умеем.

— Как вы смеете?! — закричал я и бросился к нему. — Кто вам дал право оскорблять невинную женщину?!

— Сидеть! — презрительно процедил муж сквозь зубы, и я увидел перед своим носом занесенную ладонь с растопыренными пальцами. — Так.

— Как тебе не стыдно? — вспыхнув, закричала милая молодая женщина. — В эпоху, когда мы каждый день приближаемся к первой фазе коммунизма...

— Хрен с ним, — заявил муж, — с коммунизмом. По-твоему выходит, из-за коммунизма человек должен терпеть, чтобы его баба всякому давала? Да?

— Послушайте, — тихо сказал я, — если вы не перестанете оскорблять свою совершенно ни в чем не повинную жену, я выброшу вас на улицу.

— Кого? Меня? — заорал муж и подавился смехом. — Ты-то? Да я тебя, как вошу одним махом придавлю.

— Человечье мясо, — сказал я, глядя на торчащую перед моим носом занесенную ладонь с растопыренными пальцами.

Муж сложил ногти больших пальцев, чтобы показать, как будет меня придавливать. Воспользовавшись некоторым облегчением своего зажатою положением, поросенок хрюкнул, дернулся и, выскользнув из-под мышки своего хозяина, с диким визгом полетел через балконные перила на улицу.

— Человечье мясо, — сказал я, отстраняя руку мужа.

— Свииния! — закричал он и, хлопнув дверью, выбежал из квартиры.

Глава XVII

Она подняла на меня глаза и, поразившись неожиданностью случившегося, сказала, удивленно вслушиваясь в [пропуск — край страницы оборвап] слова:

— Я свободна, Владимир Владимирович. Он не придет больше.

— Что? — спросил я.

Внизу, на мостовой шевелились какие-то червяки, собирая какие-то обрывки. Кричали. Дернулся ветер, пришибло к балкону облако дыма, запрыгал мелкий дождь, оставляя на земле цветных ящиков рябинки следов.

Глава XVIII

— Александра Михайловна, — сказал я, — вы опять ошиблись. Я не Ермилов. Я — Аркадий Белинков. Вы никогда не будете счастливы, Александра Михайловна. Золотой век не впереди и не позади нас. Для того, чтобы быть счастливой, не обязательно жить в золотом веке. Для этого нужно быть хозяином своего века. Любого. Счастье не во время бытия, а в господстве над бытием. Золотого века не было и не будет. Снова будет железный век. Наш век сковал топоры, мечи и колючую проволоку.

— Ну и что же? — спросила она. — Как вас зовут? Аркадий Белинков? Ну и что же?

— За мной гонятся, — сказал я. — Они ищут меня, чтобы убить. И убьют, если поймают.

— За что?

— За то, что я мешаю им строить золотой век.

— Вы? Зачем?

— В мире живут две идеи. Одна утверждает, что человечье мясо принадлежит ей. Другая рвет себе человечье мясо. Для того, чтобы первая идея смогла построить свой золотой век, она должна убить вторую идею. За одну из этих идей я борюсь. Если мы победим, мы будем строить свой золотой век.

— И вы победите?

— Конечно. Мы должны победить.

— И построить золотой век?

— Конечно. У нас же есть позитивная программа, — опустив глаза, сказал я. — Иначе не стоило бы бороться.

— А-а-а... — медленно сказала она. — Опять будет война?

— Конечно, — сказал я. — Будет уничтожена половина человечества.

— И тогда будет золотой век?

— Конечно, — сказал я. — Иначе не стоило бы бороться. У нас есть положительная программа.

Глава XIX

— Ну и что же? — смотря мне в зрачки лодочками сощуренных глаз, сказала она. — Я иначе и не представляла себе вас: я знала, что вы должны жить чем-то значительным.

Ее глаза уплывали в глубину теней медленно опускающихся ресниц.

— Ну и что же, Аркадий? — едва слышно спросила она.

— Александра Михайловна, — сказал я, — понимаете ли вы, что происходит в мире? Я и моя жена боремся не на жизнь, а на смерть. И, скорее всего, мы погибнем.

— Вы?

— Я, моя жена и еще многие. Кроме того, будет уничтожено тридцать веков истории мировой культуры.

— Аркадий, — тихо сказала она, — неужели человек не имеет права быть счастливым до того времени, пока будет создан золотой век?

— Не имеет, — сухо сказал я.

Я захлопнул дверь своей комнаты, бросился на диван и закрыл глаза. Дело не в том, что должна погибнуть половина человечества, а в том, чтобы оставшаяся половина была счастлива. Я обязан был торопиться. Приближающаяся смерть должна была стать не моим поражением, а внутренней и необходимой для нас потерей в борьбе. Меня могла спасти только победа. Марианна бы сказала: «Вы не бойтесь смерти, потому что останется положительная программа». Я не потому не боялся смерти. Я знал, что наша негативная программа много сильнее и (что для меня самое важное) убедительнее аморфной позитивной программы. Марианна не обращала внимания на аморфность позитивной программы. Она стреляла, потому что стреляло ружье. Если бы оно перестало стрелять, Марианна положила бы его и стала бы дожидаться. Заряд должен был обеспечивать я. Хуже всего было то, что позитивная часть программы отличалась аморфностью.

Когда отворилась дверь, я не слышал. Я не открывал глаз.

— Дело не в том, что мы раньше погибнем, — думал я, — чем победим...

Я не выдержал и открыл глаза. Она сидела, опустив голову и прижав пальцы к вискам.

— Какой смысл в победе, — сказала она, — если вы должны умереть до победы?

— Если бы я боролся для себя, Александра Михайловна, — сухо сказал я, — то, право, не стоило бы уничтожать половину человечества.

— Я хочу, чтобы вы жили, — тихо сказала она.

— А я хочу, чтобы пришла победа, — сказал я. — И еще я бы хотел, чтобы после меня осталась дочь. И чтобы она дожила до победы.

— Я хочу быть с вами, — сказала она, — и помочь вам, и защитить вас.

— Спасибо вам, друг мой, — сказал я. — Еще не зная всего того, что вы узнали сегодня, вы уже это сделали.

— Этого мало, — сказала она. — Я могу и должна сделать больше.

Я смотрел в лицо этой женщины, прожившей лучшие годы своей жизни без помысла и надежды на подвиг, не сумевшей задержать уходящую молодость творчеством, или ненавистью,

или любовью, 25 лет простоявшей, не поднимая руки над течением дней, медленно разматывающихся и цепляющихся крючками маленьких попыток за маленькие петли возможностей.

— Послушайте, — сказал я, — для того, чтобы серьезно обречь себя на гибель, мало только хорошо или даже сильно чувствовать, для этого надо быть до конца убежденным в своей правоте.

— Мало хорошо или сильно чувствовать? — переспросила она. — Но убеждения придут потом.

— Нет, — сказал я. — Это чувства могут прийти потом. Если они не уйдут до этого. Подвиг силен убеждением, а не чувством.

— А разве во имя любви не совершаются подвиги? — спросила она.

— Совершаются, — сказал я. — Во имя любви, а не из-за любви. Борются надо для того, чтобы победить.

Она стояла, опустив руки и пристально вглядываясь в окно. Ветер шевелил ее волосы. Меня не интересовал цвет ее волос. Меня интересовало, сколько времени она может выстоять на допросе.

— Послушайте, — сказала она, — но ведь золотого века не будет? Вы сказали, что золотого века не будет. Зачем же тогда ваша борьба и смерть?

— То, что я сказал, не имеет значения, — резко ответил я. — Есть прекрасная положительная программа. Ясно? На 6-й странице положительной программы написано: «Мы боремся для того, чтобы уничтожить коммунизм, как формацию, лишившую свободы человеческий интеллект, и построить общество, в котором впервые за все века всемирной истории народов власть будет осуществлена не силой оружия, но силой интеллекта. Это будет государство умных людей. Вместо отжившего демократического принципа избрания верховного органа власти, будет утвержден принцип ответов на вопросы и отгадывания загадок. Таким образом, в управлении государством окажутся самые умные представители населения земного шара».

Глава XX

Враг в красных штанах, опустив голову, медленно ехал сквозь город, бросив поводья на шею лошади. Он сидел в седле, как пришей кобыле хвост. Ноги его в свисающих с пальцев тапочках болтались вдоль лошадиных боков и цеплялись за бульварные кусты.

Из скорлупы облаков вылупилось желтое солнце. Он поднял голову, моргнул и уставился на восход.

Он знал, что все равно поймает, невзирая на окружающий

это убеждение скепсис. Услышав о том, что объявлен всесоюзный розыск беглецов, он презрительно улынулся и сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ комиссар государственной безопасности 1-го ранга. Не нужно это дело: никуда они, кроме Москвы да своей спаленной дачи, не толкнутся, парод такой, известно — интеллигенция.

Вооруженный таким передовым мировоззрением, человек в красных штанах, опустив голову, медленно ехал верхом сквозь Москву, придерживая кобылу перед некоторыми заведениями, в которых по его расчетам скорее всего следовало искать, и, засунув голову в окно заведения, подозрительно осматривал внутренность. Не достав до окна Большого зала Консерватории, он въехал в гулкий вестибюль, медленно поднялся по лестнице и остановился в зрительном зале. Кобыла нехотя пожевала золотистый плюш рампы и опустила морду. Он пощупал дирижерский пульт и тронул пятками кобылу.

— Куда заховались? — мучительно думал он, выпяливая глаза и смаргивая одолевавшую дремоту. — Может за водокачку? — Но вспомнив, что за водокачку заховалось в год великого перелома два кулака, психологически не имевших ничего общего с Аркадием и Марианной, он отказался от этого умозаключения.

Кобыла, задремав, остановилась посреди площади. Вдруг сверху раздался оглушительный визг, кобыла шарахнулась в сторону, и он едва не вылетел из седла.

— Ложись! — заорал он и треснул кобылу в бок пяткой. На месте, от которого он только что отскочил, лежал, дергая харей и свистя, здоровенный поросенок. Он поднял голову вверх и увидел высоко на балконе фигли-мигли парочку, делавшую вид, что это до се не касается. В ту же секунду перед мордой залягавшейся кобылы вырос некий молодой дядя и тяжело опустился на мостовую перед околсвающим поросенком.

Человек в красных штанах вновь обрел утраченное было из-за такого явления, как падающие с псба свињи, самообладание. Он свесился с седла и пытливо всмотрелся в черты поросячьей хари.

— Готов, — тихо произнес хозяин поросенка и встал на ноги. — Эх, жизнь наша, — меланхолически сказал он и пошевелил носком сапога охлаждающийся хвост.

— Да, — процедил человек в красных штанах. — Живешь, работаешь, строишь коммунизм, а косая так тебя и дожидается. Вы кем, извините, будете?

— Шофером работаю, — уныло отозвался хозяин дохлого поросенка и, обрадованный дружеским участием, добавил, кивнув в сторону поросенка: — Из-за бабы все дело.

— Да, — сочувственно покивал головой всадник в красных потрепанных галифе, — бабы да вино — вот, что нас губит, и

еще — капитал. — Однако он не совсем ясно представлял себе связь между трагической гибелью поросенка и поступком бабы.

Как бы почувствовав его сомнения, хозяин дохлого поросенка пояснил:

— Не стерпел я. Как увидел ее с этим мужиком, захотел промеж глаз вдарить, а он и сорвись. Высота-то, эн какая. Теперь — крышка: пусть сама как знает, так и живет. Положил я на нее.

— Да, — промямлил человек в красных штанах, — найдешь другую, — и развел ноги, чтобы стукнуть по бокам кобылу. Но в это время хозяин дохлого поросенка сказал нечто такое, от чего его ноги застыли в разведенном положении и он, перегнувшись через кобылью шею, пристально уставился на человека, бросившего свою бабу, через которую он зря погубил полезное в хозяйстве животное.

— Я, говорит, писатель, мне, говорит, какая хошь баба даст, а муж будет смотреть да помалкивать, потому я могу всякого мужа в «Правде» или в «Библиотеке Огонек» протащить.

Враг в красных штанах повернул морду кобылы к морде мужа и опустил собственную морду к их мордам, и все они склонили свои морды над мордой загубленного поросенка.

— А ну-ка, давай, — подмываемый волнением, прохрюкал он, заерзав в седле.

— Ну и вот. Ой, значит, с поитом па горло. А я за задницу и с балкона его перекидываю. А тут как она вцепится мне в лопесь, да как заорет, как резаная. Ну, я и выпустил.

— А он чего такого не говорил, этот-то самый, писатель-то ее?

— Чего? Говорил! Я, говорит, в книжке пропишу!

— А еще чего такого?..

— Еще про коммунизм говорил.

— Про коммунизм?! Во-во-во! Давай, чего он там про коммунизм?

— Чего? Говорил, что с такими коммунизм сроду не построить.

— Что мы коммунизм не построим?

— Нет, с такими не построим.

— С какими такими?

— Ну, значит, с такими, которые за задницу хватаются и с балкона меня скидывают. А так, вообще, построим.

— А что не построим, не говорил?

— Не, вроде не было.

— А ты вспомни.

— Вспоминаю. Да нет, не было.

— Лучше вспоминай.

— Да говорю, не было.

— А я говорю было! Не должен такой сказать, что построим коммунизм.

— А я говорю тебе русским языком: не было!

— Ты мне еще поговори, ей-ей в лоб закатаю.

— Ты?

— Я!

Вместо ответа на такую пошлость муж взял человека в красных штанах левой рукой за челюсть, правой за излюбленную им в таких случаях задницу, вынул его из седла и, слегка потрясая им в воздухе, спокойно уложил рядом сдохлым поросенком, слегка при этом повредив асфальт.

— Ладно, — прохрипел самонадеянный человек в красных штанах. — Оставим этот вопрос. Как его фамилия?

— Чего, — переспросил муж, — фамилия? А вот этого не видал? — И с этими словами он слегка расставил ноги и, выпятив живот, похлопал ладонью по ужаснейшему из мест своего организма, затем он повернулся на каблуке и медленно зашагал через площадь, плюя на окружающую действительность.

Глава XXI

— Врешь! — взвыл враг в красных штанах. — Все равно построим коммунизм! — Он лежал на асфальте, слегка поврежденном, благодаря его перемещению с кобылы на мостовую, и ругал переместившего его мужа именно тем местом, которое тот показал ему вместо того, чтобы назвать столь любопытную ему фамилию.

Кобыла, понюхав своего хозяина, зевнула и завалилась рядом с ним.

— Уйдет! — вдруг блеснула молния испуга в голове человека в красных штанах и он вск... Он наполовину вскочил. На вторую половину он не мог вскочить, ибо именно за эту половину взяла его правая рука, безусловно способствовавшая побегу упомянутого писателя... Через 17*, — злобно решил про себя человек в красных штанах. — Червонец! — уже одно это стоило того, чтобы подняться, вскочить в седло и скакать, скакать. Скакать за помощником любовника жены, из-за которой погиб поросенок и произошла эта многое обещавшая и столь разочаровавшая встреча.

— Помогите! — простонал он, озираясь на проходящих мимо соотечественников.

— Некогда, — буркнул один соотечественник.

— Сам не хвор, — проворчал второй соотечественник.

— Черт с тобой, — заявил третий соотечественник.

— Пошел в болото, — процедил четвертый соотечественник.

* 17 — статья уголовного кодекса.

— Очень надо, — прошамкал пятый соотечественник.

— Ссйчас, сейчас! — воскликнула прекрасная молодая женщина, — бедный, бедный дедушка!

Она опустилась на колени перед захныкавшим врагом в красных штанах, протянула к нему руки и, дико вскрикнув, отшатнулась назад. Но враг в красных штанах схватил ее за руку и поднялся на ноги.

— Спасибо, — прояммлил он, — давно в партии?

Прекрасная молодая женщина остановившимися глазами смотрела на врага, вцепившегося ей в руку.

— Очень, — прошептала она и вскочила.

— Хорошо, — заявил он, — жить на советской земле: каждый прохожий тебе друг. Ну-ка подсоби. Вот. Порядок. Упирайся коленкой. Вот. Ну как? Порядок. Посхали.

Она сидела на крупе кобылы, обхватив руками брюхо врага в красных штанах.

— Как звать-то? — спросил враг, когда они просзжали мимо Дома правительства.

— Кого? — не поняла она.

— Тебя, кого же? — начал допрос он.

— Меня?

— Тебя.

— Маша, — сказала Марианна.

Подозрительно оглядевшись по сторонам, он проворчал что-то и завернул к подъезду Министерства государственной безопасности.

— Приехали, — сказал враг в красных штанах. — Дóма, как говорят, и стены лечат. Слезай.

— Давайте еще покатаемся, — робко попросила Марианна, — я очень люблю кататься верхом. Еще немножко.

— Будет, — сказал он. — Слазь. Делом надо заниматься.

— До свиданья, — дрожащим голосом сказала она, тая робкую надежду.

— Чего? — не понял он. — Давай, проходи.

— Хорошо, — прошептала Марианна и, последний раз взглянув на сверкающее утренней чистотой небо, в последний раз вздохнув чистый воздух свободы, рыдая, переступила порог Министерства государственной безопасности.

Глава XXII

Дом, из которого вывалился поросенок, сыгравший такую громадную роль в развитии нашего сюжета, был осажден, оцеплен, обыскан и заховавшийся в нем некий писатель схвачен и доставлен в Министерство государственной безопасности. В

момент, когда его накрыли, он валялся в постели, прикинувшись, будто собирается подышать якобы от какой-то уличной драки, и хавал сало сверху намазанное маслом.

— Ох, — простонал враг в красных штанах, наваливаясь на плечо Марианны. — Все кости разламываются.

И они с превеликим трудом прошли из рабочего кабинета приятеля-следователя в комнату, где приятель-следователь имел обыкновение приготавливать свой организм к встречам со своими подследственными.

— Ничего особенного, — подумала Марианна. — Обыкновенная комната для спортивных упражнений. Трапеция, турник, гири, козел.

— Ох, — простонал враг в красных штанах и опустился на клеенчатую кушетку. — Сидай, — предложил он Марианне, указав на место рядом с собой.

Дверь из кабинета распахнулась и в гимнастическую комнату влетел приятель-следователь. Он схватил гирию, несколько раз быстро поднял ее, потом бросился к турнику, подтянулся, перешагнул через козла, торопливо проглотил несколько глотков воды и, засучивая на ходу рукава, выскочил из комнаты.

— Ну вот, — прошамкал враг в красных штанах и, сложив ладошки, зажал их между колен, качнулся назад и вперед, уголком глаза поглядывая на прекрасную женщину.

— Да, — сказала Марианна и со вздохом устремила глаза на окно, представлявшее собой застекленную раму-решетку.

— Да, — сказал враг в красных штанах и покосился уголком глаз на прекрасную женщину.

— Да, — сказала Марианна и внимательно осмотрела потолок.

— Фартовая ты баба, — ухмыльнувшись, заявил враг в красных штанах. — Факт. Ха-ха-ха!.. Чего помалкиваешь? Яблока хочешь? — Он достал из кармана яблоко, обтер его о колено и сунул ей в руку. — Жуй, — подмигнул он и хихикнул.

Вдруг из кабинета вылетел рассыпчатый взвизг и Марианна, задрожав, шарахнулась к выходной двери.

— Чего прыгаешь? — спросил враг в красных штанах, — так их фашистов, мало они нас передушили!

— Да, — сказала Марианна, доставая из-под шкафа закатившееся яблоко.

— Знаешь, кого там тискают? — спросил он, поведя челюстью в сторону кабинета приятеля.

— Не... я не знаю... — пробормотала Марианна.

Враг в красных штанах снова подмигнул и хихикнул. Он сидел, расставив ноги, и заклеивал плохо склеивающуюся сигарку.

— Попался, голубок, — медленно проговорил он, обращаясь

скорее к самому себе, к заветным своим думкам. — Сорок два дня... — и, неожиданно подняв глаза от сигарки, сказал оцепенело глядя на Марианну: — И сорок две ночи. Наяву и во сне — видел: стоит он и уже мертвый. — Враг в красных штанах вздрогнул и тряхнул головой. — Чего молчишь?

Он опять зацепенел. Голос его был глух, он говорил, погружившись в глубокий колодец воспоминаний.

— Говорил, нахрапом не возьмешь. Еще как дачу спалили. Не наваливайтесь скопом. Уйдут. Ушли. Сорок два дня и сорок две ночи. Ждал. Верил. Любил. Вот оно: пришло. Теплый. Потрогать бы. Э-эх.

Вдруг из глубины его послышался скрип, он вынырнул из колодца и с бульканьем расхохотался:

— Ха-ха-ха!.. Иди сюда к моему празднику! Дай маленько. Не бойсь: ты своя, не укушу. Дай щекотну-то. Праздник-то, праздник-то какой вышел! — Он поднялся на задние лапы и, пошатываясь, пошел на нее. Он схватил ее передними лапами и задышал ей в лицо. Из глаз ее медленно выкатились две обжигающие слезы. Раскрыв челюсти, он — дышал.

Из кабинета выскочил, подпрыгивая, вопль и ударился в задребезжавшие стекла. Она отшатнулась, и он, потеряв равновесие, опустился на передние лапы.

— Аркадий!.. — пошевелились ее губы, — муж мой...

— Ложись! — прорычал он.

— Я убью себя, — тихо сказала она. — Если вы подойдете ко мне.

В это мгновение распахнулась дверь кабинета, следовательно-приятель бросился к гирям, и она увидела жирную розовую ляжку и круглую голову с вывалившимся языком.

— Ермилов! — тихо воскликнула она и шагнула к нему.

Дорогу ей пересек следовательно-приятель, он выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь.

— Убьешь?! — заревел враг в красных штанах, — я те убью.

— Что? — не оборачиваясь к нему, спросила она. — Что? А-а-а!.. Ну, не надо сердиться. У-у-у, какой сердитый! Разве можно так разговаривать с женщиной? Так вы никогда не понравитесь женщине!

*4 сентября 1950 г. — 12 апреля 1951 г.**

* Имеется расхождение между датой, которой помечено окончание работы над рукописью (12 апреля 1951 года), и датой, упомянутой А. Белинковым на допросе у следователя (14 апреля 1951 года).

Глава XXIII

Медленно сползая, обваливалась глыба половины XX века, унося со щебнем и пылью надежду на счастье людей под игом капитализма, вступившего в свою последнюю фазу. Дымясь, уходила за горизонт в могилу всемирная предыстория народов, оставляя за собой клубы горького дыма. Приплясывая и скаля зубы, посыпалась на Запад китайская, самоедская, русская, румынская, татарская, мадагаскарская, мордовская, дикая, лесная, звериная история.

Силою она всех нас загоняла на остров Мадагаскар; окружат, накроют и слопают. Все равно нам всем подышать. Так лучше уж я сам пушу себе пулю в лоб, чем дождусь, когда волосатый монгол, сжевав классическую элегию, перднет и сунет меня в суп. Монгол! Сука! Я еще живой и, хоть я и не могу придумать сильную положительную программу, но я еще тыпну тебя за мясо. Рано пляшешь, монгол: цапну! Проклятый!

Когда в стакан утреннего чая Александры Михайловны попала муха, она едва удержалась от слез, глядя на эту бессмысленную смерть. Именно в эту минуту на Сеульском направлении в 18 километрах севернее Сувона разорвался снаряд и похоронил солдата, имя которого осталось неизвестным. Я сообщил об этом Александре Михайловне, и она согласилась, что безусловно солдат, разорванный снарядом на Сеульском направлении, важнее бури, разыгравшейся в стакане воды.

— Для интеллигентного человека убийство всегда останется немислимым, — сказала Александра Михайловна. — Потому что ведь интеллигентный человек слишком верит в аргумент. Всегда можно персубедить другого человека, правда, всякое убийство — это измена интеллекту, Аркадий Викторович.

— Мне стыдно, что я еще никого не убил, Александра Михайловна, — сказал я, глядя ей в глаза. — По Земному шару ходят враги с концепциями, книгами и топорами, сколько врагов, а я еще не убил ни одного врага. Какой же вы человек, Александра Михайловна, если не можете убить другого человека — врага, подкарауливающего за углом симфонию Скрябина или играющего на тромбоне вашего сына? Вы ничего не можете, Александра Михайловна, ни любить, ни ненавидеть... Хорошо, — сказал я, — пейте кофе с мухами. — Я встал из-за стола и ушел в свою комнату. Нет сомнений, что римская интеллигенция эпохи Гонория была уверена в том, что больше ничего хорошего не будет.

— Черт возьми! — проворчал я, бросаясь на диван, — неужели это я писал книгу сонетов? Чепуха. Это писала Марианна. Я не писал книгу сонетов. Ах, вот оно что! — понял я, наконец, Марианна, это — среда. Среда определяла мое творчество.

Но теперь все мои поступки будет определять не Марианна, а хищный американский империализм. Потому что только он еще может противостоять дикой, лесной, звериной истории монгола. Я буду писать не сонеты, а листовки. Сколько болтовни на свете! Если бы каждый человек мог убить хоть одного врага, то на земле не осталось бы ни одного коммуниста. Посвящаю свои сонеты человеку, который убьет последнего коммуниста. Я встал с дивана и громко сказал: Марианна, любимая! Не надо заниматься искусством. Если я увижу тебя еще хоть один раз, я подарю тебе семизарядный автоматический пистолет с самым трогательным посвящением «Лучшей женщине Земного шара! Убей коммуниста». И она убьет, любимая. Пройдут годы. Мясо врагов расклюют степные вороны. Будут задушены всякие ростки демократизма. Миром станет править чистый разум. Я нежно люблю тебя, Марианна. Ты навсегда останешься лучшей метафорой счастья, какой увидел тебя впервые мальчиком в сумраке недвижимого классического музея. Клянусь тебе семизарядным автоматическим пистолетом, любимая.

— Нет, — сказала входя Александра Михайловна. — Я хочу быть в стороне от борьбы.

— Этого никогда не будет, — сказал я. — Вы просто хотите, чтобы мухи попадали в чужие чашки.

— Я думаю, — сказала Александра Михайловна, — что в любви важно не мировоззрение, а знаете, что нужно в любви? Любить.

— Это неправда, — сказал я. — Это то же самое, что сказать: в горении нужен огонь. Огонь только знак горения. Для горения нужен уголь. У вас нет угля.

— Что мне делать, Аркадий? — спросила она, заплывая за слезы.

— Милая, хорошая, Александра Михайловна, — тихо сказал я, — так как вас скорее всего не устраивает участь домашней хозяйки среднего дарования и наличие партийного билета не вызывало в вас желаний убивать врагов, то, конечно, лучше всего вам повеситься.

Вы принадлежите к той категории людей, которые имеют право на большую судьбу, но судьба лишила их этого права.

То, что вы называете неудавшейся жизнью, представляет собой непродуманность негативной программы и полное отсутствие позитивной.

Вам не удалась жизнь, а как-то не удалось присесть за стол с карандашом и блокнотом и сосредоточенно высчитать свои возможности и намерения, имея в виду, что всегда лучше, если намерения немного больше возможностей: остаток их уйдет на реализацию возможностей.

Встреча с вами сыграла серьезную роль в моей жизни, потому что я окончательно понял, что большинство людей живет, не

задумываясь по крайней мере над двумя вопросами: зачем они живут и зачем должны жить люди?

То, что вы делаете, вам не нравится не потому, что это нехорошо, но потому, что это незначительно.

Жизнь людей, не способных на серьезные поступки, не заслуживает большего внимания и лучшего обращения, чем кирпич, дерево, известь и другие строительные материалы.

Они необходимы в строительстве общественного здания. В частности, они идут на постройку лестницы, по которой люди, способные на серьезные поступки, поднимаются вверх.

Если бы вы могли быть крепкой ступенью на лестнице, по которой я обязан, я обречен подниматься, то я, конечно, хорошо относился бы к вам. Но вы просыпаетесь утром для того, чтобы наконец испытать обязанности домашней хозяйки среднего дарования, а для этого нет смысла просыпаться.

Поискав переживания, вы не нашли страстей.

Вы не хотите стать царицей эфира не потому, что это очень трудно, но потому что вам это не особенно хочется.

Каждый человек обязан быть императором мироздания.

Для того, чтобы что-нибудь делать, необходимо твердо знать, стоит ли это делать.

Я готов получить самый вздорный ответ о смысле жизни, но никогда не прощу незнания ответа или уверений в жизненной бессмыслице. Прощайте!

— Не уходите, — сказала она. — Научите меня тому, из-за чего не только стоит, но и необходимо жить. Поймите: сейчас людям, строительному материалу, необходимо пятое Евангелие.

— Хорошо, — сказал я. — В уже упомянутой положительной программе сказано... Что вы смотрите по сторонам? Возьмите карандаш и бумагу.

Глава XXIV

Враг в красных штанах скакал на кобыле.

Чихая в пустышную черкизовскую ночь, кобыла перемахнула через мусорный ящик, увенчанный картофельной шелухой с гириадами кудрявой капусты, и с раскатистым ржаньем влетела в распахнутые двери другого мусорного ящика, в котором цело стахановское семейство строителей нашего коммунистического завтра.

По агентурным сведениям в курятнике, пристроенном к мусорному ящику, скрывались Марианна и я.

— Махню! — завопила хозяйка мусорного ящика, мечась между зыбкой с ревущим младенцем и ржущей кобылиной мордой. — ГПУ!

— Куда заховала?! — прохрипел враг в красных штанах и пнул кобылу мордой в хозяйкину харю.

— Ни, — запыла хозяйка, — не мае пикого. Малая людына у хати. Не мае, не мае.

— Врешь! — заорал он. — Не мае! Я те дам, сука, не мае!

Она выносит иконы...

16.4.1951*

Рукопись рассказа «Человечье мясо» написана мной и изъята у меня при обыске.

25.5.1951

Аркадий Белинков.

* Имеется расхождение между датой 16 апреля, которой помечено окончание рукописи, и датой 14 апреля, упомянутой Белинковым на допросе.

Следственное дело № 57/52. 1951 г.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА

25 мая 1951 г.

Вопрос. Когда и откуда вы прибыли в Карлаг МВД, в каких лаготделениях содержались?

Ответ. В Карлаг МВД я прибыл в августе месяце 1945 года из пересыльной тюрьмы гор. Москвы. За этот период я содержался во многих лаготделениях, в частности, содержался в Сарептском, в Лечебно-санитарном отделении <...> и примерно с августа 1949 года по настоящее время содержался в Самарском отд. и работал в качестве леккома на участке «Бородиновка» <...>

Вопрос. Вы показали, что в 1944 году осуждены за литературную деятельность антисоветского содержания. Если это так, то скажите, что предшествовало вашим антисоветским убеждениям?

Ответ. Будучи на протяжении длительного времени (с 1929 г.) тяжело больным с постоянным пребыванием в постели, я был абсолютно оторван от коллектива. Болезнь и полное одиночество выработали во мне замкнутость и ярко выраженный индивидуализм. Чрезвычайно много читая, я, естественно, находил общее с теми авторами, которые воспевали отрыв от действительности и неприязненные отношения к ней. Поступив в Литературный институт, я сразу же почувствовал, как мало общего у меня с теми молодыми советскими писателями, которые меня окружали. Все то, что я делал, было враждебным по отношению к современной советской литературе. Это вызвало неприязненные отношения ко мне окружающих и тем самым еще более укрепляло меня в моем антисоветском мировоззрении. Плодами этого мировоззрения и явились написанные мною книги и публичные выступления на литературные темы. Никаких других влияний, кроме мною указанных, я не испытывал.

Вопрос. Сейчас вы остались такого же антисоветского убеждения?

Ответ. Да, я был антисоветски убежденным и остаюсь таким же и сейчас. Это подтверждается написанными мною здесь в Карлаге МВД в 1950 и 1951 годах моими произведениями антисоветского содержания, которые я озаглавил «Россия и Черт», «Человечье мясо», «Роль труда» и другие, которые у меня изъяты при обыске.

Вопрос. Содержась в лагере, каким образом и где вы писали антисоветские произведения, кто вам способствовал в этом?

Ответ. Находясь в заключении, именно в этот период, на участке «Бородиновка» Самарского отделения я жил в отдельной кабинке. В силу этого имел возможность находиться один, и, используя это, я и писал свои произведения. В этой работе мне никто из заключенных, а также и вольнонаемных не способствовал, а также не помогал в написании их, так как я в помощи не нуждался.

Вопрос. А кому из заключенных или вольнонаемных работников отделения было известно о вашей антисоветской деятельности в такой форме?

Ответ. Я думаю, что об этом никому известно не было. Я тщательно свою деятельность и записи скрывал, при посторонних лицах никогда не писал и не рассказывал. <...>

Вопрос. Вам предъявляется рукопись рассказа на 23 листах, озаглавленная «Человечье мясо». Ознакомьтесь с данной рукописью и скажите, вы ее написали? Если вы, то в какой период времени и где?

Ответ. Предъявленная мне рукопись рассказа, озаглавленная «Человечье мясо», принадлежит лично мне и написана мною в период с 4 сентября 1950 года по 14 апреля 1951 года. Писал я этот рассказ, находясь в заключении на участке «Бородиновка» Самарского отделения Карлага МВД.

Вопрос. Что изложили вы в указанном рассказе?

Ответ. В моем рассказе «Человечье мясо» я писал о трагедии человека, совершившего тяжкий путь от простой отчужденности от советской действительности до тяжелой неравной борьбы с Советским государством, приведшей к гибели героя. Одним из действующих лиц рассказа является автор рассказа, т.е. я.

Этот рассказ насыщен враждебными, антисоветскими высказываниями, изречениями и заявлениями, связанными с моим враждебным отношением к Советскому государству и советской действительности.

Вопрос. Приведите отдельные антисоветские высказывания, заявления, помещенные вами в рассказе «Человечье мясо».

Ответ. Дискредитация советской власти в моем рассказе «Человечье мясо» велась по нескольким темам. Я утверждал, что Советская власть отрицает свободу творческой деятельности писателя. В связи с чем писатель, не желающий подчиняться требо-

ваниям партийной политики в области искусства, вынужден скрываться, постоянно опасаясь кары со стороны государственной безопасности. Повествуя о попытках героя рассказа избавиться от преследования органов власти, героем допущен ряд высказываний антисоветского характера. Примером этого может служить следующее: так, в первой главе мною написано о том, что органы Советской власти преследовали героя с целью его уничтожения, что является клеветой на существующие взаимоотношения между Советским правительством и обществом в СССР. В первой главе рассказа я клеветнически утверждал, что Советская власть — дрянь.

В той же первой главе рассказа, характеризуя советское государство, я утверждал, что у власти стоят убийцы, «горячо любимые» народом. Я так это описал в рассказе: «... Но самое страшное не в том, что убийцы захватили власть в государстве, а то, что народу они свои, родные и любимые...»

Во второй главе, касаясь вопроса взаимоотношений государства и общества в СССР, я клеветнически утверждал, что такие взаимоотношения являются характерны<ми не> только для советского периода русской истории, но и более свойственны прошлому. Во второй главе, касаясь вопроса о взаимоотношениях героев рассказа с обществом, я утверждал, что люди, населяющие Советский Союз, несчастливы, ибо они не свободны, причем всякое свободомыслие заканчивается для них гибелью. В своем рассказе я описал в такой форме: «О том, что люди несчастливы, этот человек писал свои рассказы, драмы и сценарии. В его творчестве наступил перелом, когда он понял, почему люди несчастливы: они были несчастливы потому, что не были свободны. Они не были свободны не только потому, что каждому из них угрожала гибель за признание, но главным образом потому, что несчастливы они стали не по собственному выбору, а им приказали: будьте счастливы, а то мы вас...»

И дальше: «Когда появились первые романы, рассказы, драмы и сценарии этого человека, в которых так и было сказано — люди, живущие в эпоху построения коммунизма, несчастливы и несчастливы они потому, что не свободны, его начали толкать, ругать и выгонять отовсюду, и те, которых он обвинил в несчастье людей (нужно понимать Советское правительство), и те, которых он любил и защищал».

Продолжая развивать тему взаимоотношений писателя и общества, я утверждал, что советское общество уничтожает варварски людей, носящих эти идеи. Я в этом рассказе изложил так: «Они ворвались в его дом, изорвали рукописи и книги, затоптали картины, а дом подожгли. Но писатель недаром прожил всю свою жизнь рядом с ними, убийцами и поджигателями...»

Далее, дискредитируя Советскую власть, я утверждал тождество между Советской властью и преступным элементом.

«...Наверное завтра убьют. Или воры, или надзиратели. Одна у них советская власть...»

В своем рассказе, касаясь о борьбе Советской власти с изменниками родины, вредителями и диверсантами, я утверждал, что наряду с действительными преступниками было уничтожено большое количество людей, к преступлениям не причастных. Я по этому поводу писал в рассказе:

«...Травя измену на строительстве Кузбасса, он (действующее лицо рассказа) загубил полгорода невинных советских душ, за что едва не лишился партбилета, и пошел работать по призванию во внутреннюю тюрьму ОГПУ старшим надзирателем 6-го этажа».

В 16-й главе рассказа я писал, что теория Советского государства ничем не отличается от идей буржуазных государств. Та и другие приведут к гибели мировую культуру.

«Наш век — век человеческого мяса, борьбы за человеческое мясо. <...> В мире всего две идеи (социалистическая и буржуазная), одна настаивает на том, что человеческое мясо принадлежит ей, другая требует себе человеческого мяса. Что касается качества этих двух диаметрально противоположных идей, то оно выяснится после того, как станет ясным, на чьей стороне победа...»

В 19-й главе рассказа я остановился на вопросе, являющемся для меня основным в моем представлении о теории государства. Я считаю, что государство должно быть построено не на демократических началах и не на началах диктатуры, а на господстве разума над силой и ее демократическими свободами, т.е. я подменял борьбу классов идеалистической борьбой идей. В своем рассказе это я выразил в антисоветской форме так: «Мы боремся для того, чтобы уничтожить коммунизм, как формацию, лишившую свободы человеческий интеллект, и построить общество, в котором впервые за все века истории народов власть будет осуществляться не силой оружия, но силой интеллекта (разума). Это будет государство умных людей».

Кроме антисоветских высказываний я в своем рассказе допустил выражения, содержавшие призывы к убийству коммунистов как виновников всего того, что происходит в мире.

В 21-й главе рассказа я писал: «Сколько болтовни на свете! Если бы каждый человек мог убить хоть одного врага, то на земле не осталось бы ни одного коммуниста. Посвящаю свои сонеты (стихи) человеку, который убьет последнего коммуниста». Свой рассказ «Человечье мясо» я полностью не закончил, потому что начал писать рассказ, являющийся по своему характеру достойным [ответом] советскому писателю.

Вопрос. Что вы желаете дополнить по существу допроса?

Ответ. Ничего дополнить не имею.

Вопрос. Вам предъявляется рукопись пьесы, озаглавленной «Роль труда» на 41 листе. Писали ли вы эту рукопись? Если писали, то в какой период времени и где?

Ответ. Предъявленная мне рукопись пьесы, озаглавленной «Роль труда», на 41 листе, написана лично мною в период с 6 июня по 1 сентября 1950 года. Писал я эту пьесу, будучи в заключении на участке «Бородиновка» Самарского отделения.

Вопрос. Содержание этой пьесы так же, как и рассказа «Человечье мясо», антисоветского характера?

Ответ. Да, содержание указанной мною пьесы, так же как и содержание рассказа «Человечье мясо», антисоветское от начала до конца.

Вопрос. В чем заключается содержание написанной вами пьесы?

Ответ. Содержание пьесы «Роль труда» сводится к тому, что реакционные идеи, под которыми я подразумевал историю марксизма-ленинизма, способствуют возникновению в человеке животных инстинктов. Героев пьесы Аркадия и Марианну пригласили на совещание в отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП (б), где им было предложено начать изучение «Краткого курса истории ВКП (б)». Они от предложения отказываются. Однако затем под влиянием своих знакомых решают начать изучение «Краткого курса истории ВКП (б)», и вдруг в процессе изучения обнаруживают странное превращение, происшедшее с ними: зубы их превращаются в звериные клыки, ногти становятся когтями, и молодые лица зарастают дремучей звериной шерстью. В ужасе они глядят друг на друга и, поняв, что это превращение в зверей произошло под влиянием реакционных идей, т.е. марксистско-ленинских идей, с отвращением бросают изучение «Краткого курса истории ВКП (б)» и снова становятся молодыми-прекрасными. Далее Марианна предаёт своего мужа Аркадия, и он оказывается окруженным врагами, т.е. идеологами марксизма-ленинизма. Между ними и Аркадием начинается спор, в котором идеологи марксизма-ленинизма по мере произнесения марксистских тезисов постепенно превращаются в зверей. Спор кончается тем, что они сжирают Аркадия. Попытка Марианны вернуть им человеческий облик кончается дикой звериной дракой, в которой они сначала сжирают Марианну, а затем начинают пожирать друг друга.

Вопрос. Приведите несколько фактов антисоветских высказываний из написанной вами пьесы «Роль труда».

Ответ. Одним из таких фактов является утверждение, что люди, работающие в области марксизма-ленинизма, делятся по моему, на три категории: 1) лица, имеющие от марксизма-ленинизма все блага и боящиеся их утратить; 2) лица, опасющиеся

органов государственной безопасности; 3) псевжды, считающие, что все люди, не владеющие марксизмом-ленинизмом, испытывают жестокую нужду и лишения.

Эти антисоветские высказывания написаны мною в первом акте пьесы «Роль труда»: на листах № 5 и 6. В первом же акте на листе 10, клевета на марксизм-ленинизм, я утверждал следующее: «Марксизм-ленинизм не обрез, из которого стреляют при грабеже. К сожалению, мы очень часто доверяем это замечательное оружие грабителям и убийцам...» Под грабителями и убийцами я подразумеваю людей, входящих в одну из трех вышеназванных мною категорий.

Вопрос. Вы, как и в рассказе «Человечье мясо», в рукописи пьесы высказывали террористические намерения?

Ответ. Я утверждал, что все катастрофы, разразившиеся в мире: войны, преследование людей, напряженность международной обстановки, — являются плодом коммунистических идей, и утверждал необходимость уничтожения этих идей коммунистов. На стр. 37 я свои убеждения выразил словами главного героя Аркадия в такой форме:

«...Человек прекрасен и создан для борьбы. Да! Да! Для борьбы за великие и чистые человеческие идеи. Эти идеи надо защищать и завоевывать не только строками светлых и тихих поэтов, но штыком, ножом, взрывом, выстрелом. Люди! Боритесь за свое счастье, за то, чтобы человек был человеком. Коммунисты принесли в мир идеи ненависти и уничтожения. Уничтожайте коммунистов и их идеи! Это они ввергли мир в пламя войны. Это из-за них люди не спят спокойно ночами, учат своих детей ненависти и страху. Нет покоя и счастья. Каждый человек, если дорога ему человеческая история, должен убить коммуниста!..»

29 мая 1951 г.

Вопрос. На предыдущем допросе вы частично изложили факты своих антисоветских изречений из написанной вами пьесы «Роль труда». Сейчас продолжайте излагать их подробно.

Ответ. Я считаю, что среди людей, клянувшихся марксизмом-ленинизмом, имеется большое количество таких, которые поклоняются марксизму-ленинизму, преследуя этим удовлетворение своих корыстных целей. В своей рукописи «Роль труда» на стр. 6 эту мысль я выразил монологом одного из героев пьесы: «Я ненавижу промысел марксизма-ленинизма с ловом жирных карасей; не пошедших зазывалами в марксизм-ленинизм из боязни органов государственной безопасности. т.е. не совсем не боящихся этих органов, но достаточно смелых, чтобы погубить себя, но не согласиться с ними».

Продолжая развивать тезис о единстве-сходстве марксизма-ленинизма с самыми реакционными буржуазными теориями, в этой же пьесе я писал на оборотной стороне стр. 6 следующее: «В 1932 году Гитлер убил дряхлого Гинденбурга и получил тупой нацизм, а в 1947 году какой-то Готвальд убил выжившего из ума Бенеша, которому больше ничего не оставалось, как умереть, и получил зверский марксизм-ленинизм. Кто же из них хуже: нацизм или марксизм-ленинизм? Оба одинаковы...»

То есть я лично считаю и убежден, что между марксизмом-ленинизмом и нацизмом никакой разницы нет. Говоря о методах изучения марксизма-ленинизма, я в своей пьесе на оборотной стороне стр. (?) указывал, что в СССР изучение произведений марксизма-ленинизма производится не добровольно, а под страхом наказания. По ходу пьесы мною написано следующее: один из отрывков пьесы представляет собой клеветнический Указ Советского правительства о поднятии идеологического уровня СССР. Этот указ мною сформулирован так:

[А.Белинков цитирует отрывок из пьесы «Роль труда».] Далее следуют подписи и дата, затем аплодисменты и возгласы «Ура!» Далее следует отрывок, издевательски воспроизводящий текст военной присяги, в которой я подчеркиваю обязательность под угрозой наказания выполнения пунктов Указа. Текст присяги выражен мною так:

«Я гражданин СССР, в минуты, когда моей великой родине угрожает военная опасность, перед лицом великой матери-родины клянусь, не щадя своих сил, а если понадобится и жизни, изучать гениальный труд (следует имя одного из руководителей СССР)* «История ВКП (б). Краткий курс». И если слабость или злой умысел, или страх за свою шкуру помешают мне изучать гениальное произведение, то пусть покарает меня суровая, но справедливая рука советского закона и презрение всех трудящихся...»

Вопрос. Вы помимо изложения антисоветских изречений на бумаге высказывали свои настрояния среди заключенных?

Ответ. Среди заключенных я свои настрояния и убеждения не высказывал, свои рукописи я от окружающих тщательно скрывал.

30 мая 1951 г.

Вопрос. Вам предъявляется рукопись на 16 листах, озаглавленная «Россия и Черт». Ознакомьтесь с этой рукописью и скажите, вы ее изготовили? Если вы, то когда и в какой период времени, где?

* В тексте пьесы назван И. В. Сталин.

Ответ. Предъявленная мне рукопись, озаглавленная мною «Россия и Черт», написана лично мною, находясь в заключении на участке «Бородиновка» Самарского отделения Карлага. Написал я ее в период с 31 марта по 5 апреля 1950 года, причем я предполагал под этим заголовком написать роман в нескольких книгах, но написал, вернее, успел написать, одну главу.

Вопрос. Эта рукопись, как и предыдущие, также антисоветского содержания?

Ответ. Да, моя рукопись, озаглавленная «Россия и Черт», так же как и рукописи, озаглавленные «Человечье мясо» и «Роль труда», антисоветского содержания от начала до конца.

Вопрос. Изложите кратко содержание написанной вами первой главы рукописи «Россия и Черт».

Ответ. Содержание первой главы первой книги «Россия и Черт» сводится к тому, что один из главных героев книги — Черт — спускается на землю с тем, чтобы завербовать советских граждан в ад, в буквальном смысле обещая действующим лицам денежные вознаграждения за согласие. В дальнейшем я предполагал при встрече главного героя Аркадия (я подразумевал самого себя) с Чертом написать сцену, в которой оба героя, Аркадий и Черт, заключают договор, по которому за свою душу Аркадий получает возможность эффективной борьбы с советской властью за сохранение мировой культуры.

Вопрос. Приведите отдельные антисоветские изречения, написанные вами в указанной рукописи.

Ответ. На стр. 2 рукописи я, дискредитируя советских политических деятелей, не имея в виду никого конкретно, говорил, вернее, писал, что путь советского государства к коммунизму сопровождался творчеством величайшего русского поэта Маяковского, погибшего из-за разочарования в революции. Я считаю, что фактором, погубившим Маяковского, была политика советской власти в области идеологии.

В своей рукописи, делая обзор русской истории с древнейших времен до наших дней, касаясь эпохи 20 годов, я изложил так:

«А в яме (под ямой я подразумевал Россию) беглые каторжники, проститутки, интеллигенция из университетов дружно встали у кормила власти (советской) и под ветром, дующим из глубин, повели свой корабль в бесклассовое общество, и пел им песни великий певец (Маяковский), плохо знающий, что поет он, но певший за своим учителем (Пушкин) лучше всех своих соотечественников, а когда он замешкался, став думать над тем, кому и что он поет, — его убили и впредь стали еще жестче убивать всякого, кто пел песню воле, а не яме-державе и ее каторжникам, проституткам и лихим ораторам...»

Вопрос. Кого вы имете в виду под каторжниками?

Ответ. Под каторжниками я подразумеваю многих членов советского правительства, находившихся в царское время на каторге и в ссылках.

Вопрос. Продолжайте излагать антисоветские изречения, написанные вами в рукописи.

Ответ. В моей рукописи «Россия и Черт» я в целом ряде мест дискредитировал органы государственной безопасности, политику советской власти в области идеологии, в антисоветской форме изображал стремление советского народа к коммунизму.

На стр. 16, говоря о карательной политике советской власти, я это изложил в следующей форме: «... Кто там будет спрашивать у тебя доказательства. Просто пошлют на 10 лет копать уголь на Воркуте, и дело с концом. А жаловаться станешь, еще 10 лет добавят, чтобы не жаловался. Это же Лубянка, а не Дом пионеров».

5 июня 1951 г.

Вопрос. С какой целью вы писали рукописи антисоветского содержания?

Ответ. Будучи антисоветски настроенным человеком, я, повинуюсь естественным потребностям писателя, написал рукописи антисоветского содержания, озаглавленные мною «Человечье мясо», «Роль труда», «Россия и Черт». Указанные рукописи я каким-либо образом сдать в печать не намеревался, заранее зная, что они напечатанными быть не могут в силу своего антисоветского характера.

Вопрос. В таком случае для чего и кому вы их писали?

Ответ. Написанные мною рукописи не адресовались читателю, а были лишь потребностью выразить свои мысли и чувства на бумаге. Хорошо понимая, что существующая в настоящее время в СССР политика является не временным явлением, а постоянным, я не надеялся на публикацию написанных мною рукописей. Повторяю, что написанные мною рукописи являются выражением моих антисоветских убеждений, хотя я не имел надежду на их публикацию.

Вопрос. Кто из близких ваших товарищей знал об изготовлении вами рукописей антисоветского содержания?

Ответ. Абсолютно никто. <...>

ПРИГОВОР

Союза Советских Социалистических Республик 1951 года
августа 28 дня в гор. Караганде

Военный трибунал войск МГБ Казахской ССР в составе:

Председательствующего: Майора юстиции...

Народных заседателей: Лейтенанта...
и младшего лейтенанта...

При секретаре: Старшем лейтенанте...

рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по обвинению **Белинкова** Аркадия Викторовича, 1921 года рождения, уроженца гор. Москвы, из служащих, еврея, гражданина СССР, беспартийного, имеющего высшее образование, судимого 5 августа 1944 года по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ, срок наказания не отбыл, в совершении им преступления, предусмотренного ст.ст. 58-10 ч.1, 19-58-8 УК РСФСР.

У с т а н о в и л:

Белинков, отбывая срок наказания в Карлаге ССР и будучи враждебно настроенным по отношению к Советской власти, начиная с марта месяца 1950 по апрель 1951 года, занимался изготовлением и хранением рукописей антисоветско-террористического содержания, в которых возводил клевету на советскую действительность, на теорию Марксизма-Ленинизма, историю ВКП (б) и методы изучения ее в Советском Союзе, а также призывал к необходимости уничтожения идей Марксизма-Ленинизма и физическому уничтожению коммунистов.

Виновность **Белинкова** доказана личным признанием самого подсудимого и изъятыми при его аресте рукописями антисоветско-террористического содержания.

Означенными действиями **Белинков** совершил преступление, предусмотренное ст. ст. 58-10 ч. 1 и 19-58-8 УК РСФСР, и, признавая его в этом виновным, Военный Трибунал, руководствуясь ст. 58-10 УК РСФСР,

П р и г о в о р и л:

Белинкова Аркадия Викторовича, на основании ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР, лишить свободы с отбыванием в исправительно-трудовом лагере сроком на 10 (десять) лет с последующим поражением в правах по п.п. «а», «б», «в» ст. 10 УК РСФСР на 5 (пять) лет.

Его же по ст. 19-58-8 с санкцией ст. 58-10 УК РСФСР подвергнуть заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 (двадцать пять) лет с последующим поражением в правах по

п. п. «а», «б», «в» ст. 10 УК РСФСР на 5 (пять) лет с конфискацией денежных средств, изъятых при его аресте в сумме 1225 рб.

По совокупности совершенных им преступлений, на основании ст. [нрзб] УК РСФСР меру наказания определить по ст.ст. 19-58-8 с санкцией ст.58-10 УК РСФСР, **Белинкова** подвергнуть заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 (двадцать пять) лет с последующим поражением в правах по п. п. «а», «б», «в» ст.10 УК РСФСР на 5 (пять) лет и конфискацией денежных средств в сумме 1225 рб.

Срок отбывания наказания исчислять с 28 мая 1951 года.

Погниси.

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 ОТ 16 VI 1956 г.
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ
В СООТВЕТСТВИИ
С УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР ОТ 24 МАРТА 1956 ГОДА НА ЛИЦ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ДОЛЖНОСТНЫЕ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ***

С л у ш а л и:

Дело № 57/52 по обвинению **Белинкова** Аркадия Викторовича, 1921 года рождения, уроженца гор. Москвы, судимого 5 августа 1944 года по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ, осужденного Военным Трибуналом войск МГБ Каз. ССР 28 августа 1951 года по ст.ст. 19-58-8 и 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 25 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и конфискации денежных средств.

П о с т а н о в и л и:

Учитывая объяснение, состояние здоровья (инвалид 3-й группы), ограничиться отбытым сроком наказания — из мест заключения **О С В О Б О Д И Т Ь** со снятием судимости и поражения в правах.

Погниси.

* За отсутствием подлинника или заверенной копии настоящий документ восстановлен на основании данных Г. Файмана и нижеследующей справки, а также в соответствии с принятым в то время оформлением подобных документов.

СССР МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Спецчасть ИТЛ Р-6

СПРАВКА № 026772

Выдана гражданину Белинков Аркадий Викторович, год рождения 1921, национальность еврей, в том, что он содержался в местах заключения МВД с 30 января 1944 г. по 22 июля 1956, откуда освобожден, выписка из протокола №5 от 16 VI 1956 Заседания Комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Фотокарточка, скрепленная гербовой печатью: Министерство Внутренних дел Союза СССР. Управление исправительно-трудового лагеря Р-6.

Начальник лагеря
Начальник отдела

Погнись.
Погнись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/4кр-648/89
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА КАЗАХСКОЙ ССР

3 ноября 1989 г.

г. Алма-Ата

Президиум Верховного суда Казахской ССР в составе: председательствующего — и. о. председателя Верховного суда Казахской ССР — Малахова М.Ф., и членов — Айсинае Т.С., Дулатбекова С.Д., Жумажанова А.Ж., Кенжебаева К.Т. Петровой Н.А., Юрченко Р.Н., с участием заместителя прокурора Казахской ССР Ефимова А.Н., при секретаре Путинцевой О. рассмотрел по протесту заместителя прокурора Казахской ССР уголовное дело в отношении **Белинкова** Аркадия Викторовича.

Приговором военного трибунала войск МГБ Казахской ССР от 28 августа 1951 года:

Белинков Аркадий Викторович, 1921 года рождения, уроженец гор. Москвы, гражданин СССР, еврей, беспартийный, образование высшее, в 1943 г. окончил институт литературы, Особым совещанием при НКВД СССР по ст. 58-10 ч.2 УК РСФСР заключен на 8 лет в ИТЛ, заключенный Карлага МВД, осужден по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет. По ст.ст. 58-8 УК РСФСР к 25 годам лишения свободы, с последующим поражением в правах на 5 лет с конфискацией денежных средств в сумме 1225 рублей. По совокупности мера наказания определена 25 лет лишения свободы с последующим поражением в правах на 5 лет с конфискацией денежных средств в сумме 1225 рублей.

Судом он признан виновным в том, что, отбывая наказание с

марта 1950 года по апрель 1951 года, занимался изготовлением и хранением рукописей антисоветско-террористического содержания, в которых возводил клевету на советскую действительность, на теорию марксизма-ленинизма, историю ВКП (б) и метода изучения ее в СССР, также призывал к необходимости уничтожения идей марксизма-ленинизма и физическому уничтожению коммунистов.

Определением военного трибунала Туркестанского военного округа от 26 января 1955 года протест военного прокурора ТуркВО об отмене приговора в части осуждения по ст.ст. 19, 58-8 УК РСФСР и прекращения в этой части дела отклонен, приговор оставлен без изменения.

В протесте ставится вопрос об отмене состоявшихся решений и о прекращении дела за отсутствием в действиях **Белинкова** состава преступления.

Заслушав доклад члена Верховного суда Казахской ССР Юрченко Р.Н., заключение прокурора Ефимова А.Н., поддержавшего протест, изучив дело, президиум—

У с т а н о в и л :

Протест подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, **Белинков**, отбывая наказание в Самарском отделении Карлага МВД и используя то, что ему была предоставлена возможность проживать в отдельной комнате в медпункте, писал рассказы «Челoveчье мясо», «Россия и Черт», пьесу «Роль труда», в которых содержится критика имеющих место в период культа личности извращений демократических принципов социализма, необоснованных репрессий, идеологических извращений, обязательного изучения всеми «Гениального труда Сталина» «История ВКП (б). Краткий курс».

Однако эти рукописи, как он сам показал (свидетелей в суде не было), не адресовались читателю, а были лишь потребностью выразить свои чувства. Среди заключенных **Белинков** свои настроения и убеждения не высказывал, свои рукописи от окружающих тщательно скрывал. Действительно, эти рукописи были обнаружены только при обыске в помещении, где проживал **Белинков**.

По содержанию эти рукописи не могут быть расценены как антисоветская агитация, поскольку в них нет призывов к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти. Они содержали личное мнение **Белинкова**, и он не преследовал цели их распространения среди заключенных.

Необоснованно он осужден и по ст.ст. 19, 58-8 УК РСФСР по обвинению в покушении на совершение террористического акта, так как, призывая в своих рукописях к уничтожению коммунист-

тов, **Белинков** в осуществлении этих намерений никаких практических действий не предпринимал. Кроме того, объектом террористического акта могут быть конкретные представители Советской власти или деятели политических организаций. Ни на кого конкретно **Белинков** не покушался и намерения не имел.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 375 УПК Казахской ССР президиум, —

П о с т а н о в и л:

Протест удовлетворить.

Приговор военного трибунала войск МГБ Казахской ССР от 28 августа 1951 года и определение военного трибунала Туркестанского военного округа от 26 января 1955 года в отношении **Белинкова** Аркадия Викторовича отменить, дело прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Председательствующий —
И. О. Председателя Верховного
суда Казахской ССР

М. Ф. Малахов

Склонен к побегу



Возвращение к прозе

Название этой части книги — «Склонен к побегу» — взято из лагерного формуляра.

После освобождения в 1956 году Аркадий Белинков перестал заниматься прозой. Он переключился на литературоведение. Воспользовавшись послаблениями в идеологической политике 60-х гг., он успел написать две книги: «Юрий Тынянов» (о лояльном художнике) и «Сгача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша» (о сгавшейся творческой личности). Это были работы уже зрелого мастера, в которых, как и в своих ранних вещах, он говорил о неизбежном конфликте между творческой личностью и властью, между поэтом и чернью. Книга о Тынянове вышла двумя изданиями и имела такой успех, что ее даже выдвигали на Государственную, тогда — Сталинскую, премию. Принять такую премию для Белинкова значило изменить самому себе. Он сел писать отказ. Чем бы это все кончилось, вообразить легко. К счастью, дальше выдвижения дело не пошло. Печатный станок для Белинкова опять на долгое время становился недоступным. В 1968 году он покинул страну. В США он занялся публицистикой. Начал работать над книгой о Солженицыне (о писателе сопротивляющемся). Читал лекции в университетах. И вернулся к прозе рассказом «Побег». Реальный побег привел к очередному делу — заочно. Аркадий Белинков умер 14 мая 1970 года, уверенный в том, что «Советскую власть уничтожить нельзя. Но помешать ей вытоптать все живое — можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть» (из обращения в ПЕН-клуб, 10 сентября 1969 г.).

Рассказ «Побег» печатается по первой публикации: сб. «Новый колокол». Лондон, 1972.

Справка об уголовном деле № 299 с приложением ответа на запрос юридической консультации публикуется впервые по письму адвоката В. А. Эрмана к составителю. Справка о реабилитации А. В. Белинкова публикуется впервые по копии, переданной составителю через российское консульство в Сан-Франциско.

Н. Б.

Побег

Войдя в квартиру, мы увидели приклеенный к двери моего кабинета лист бумаги, на котором большими зелеными буквами было написано:

КАК ТОЛЬКО ПРИЕДЕТЕ, НЕМЕДЛЕННО ПОЗВОНИТЕ НАМ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ ДО ЗВОНКА. ЦЕЛУЮ. ЛЕНА.* 16 ИЮН 68. НАТАШИНУ ЛАМПУ РАЗБИЛА Я. БАБУШКА СКАЗАЛА, ЧТО ЭТО К СЧАСТЬЮ. НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ.

Было четверть третьего ночи, мы не стали обсуждать записку, написанную зелеными буквами, и Наташа, застревающим в двухмесячной пыли пальцем, набрала номер.

— Это Женечка с шуточками? — ядовито и заспанно спросили на другом конце города.

— Нет, — сказала тихо Наташа. — Это я. Мы приехали.

— Мы будем у вас через тридцать минут, — тревожно и быстро сказала Лена.

К пяти часам стало ясно, что третье издание моей книги о Тынянове погибло, издание книги об Олеше погибло, окончание первой публикации этой же книги в журнале «Байкал» погибло, статья в университетских ученых записках погибла, что уже шестерых из наших близких друзей (а сколько дальних — неведомо) вызывали в Комитет государственной безопасности и одних вежливо, других, как в прежние времена, — с воплями, спрашивали обо мне, что, пока нас не было в Москве, они устроили обыск и за отсутствием рукописей, которые мы успели вывезти, изъяли все мои напечатанные работы, а также десятка три книг с неподходящими (по их представлениям) дарственными надписями Пастернака, Ахматовой, Солженицына и других писателей, которых советская власть сильно не любит. Кроме того, мы узнали, что резкие статьи обо мне, напечатанные в «Литературной газете» 25 мая и 5 июня, когда мы были еще за границей, появились вовсе не потому только, что Виктор Борисович Шкловский, науськанный своей супругой Серафимой Густавовной Нарбут,

* Вымышленное имя. (Сноски сделаны автором и являются частью текста рассказа.)

первой женой Юрия Олеши, и ее сестрой — второй женой Юрия Олеши — Ольгой Густавовной Суок, прибежал к заведующему отделом культуры ЦК Шауре* и, брызгаясь, визжа и всхлипывая, требовал расправы. У Виктора Борисовича, кроме семейных причин, были и свои собственные, по которым он старался сделать все, чтобы моя книга погибла: в ней было рассказано о нем много такого, что он бы предпочел утаить. Мы узнали, что эти статьи появились потому, что по плану, утвержденному Политбюро в ноябре 1966 года, сразу же после того, как люди, писавшие и подписывавшие письма протеста, будут растоптаны, следует приступить к уничтожению писателей, которые, воспользовавшись критикой культа личности, ухитрились кое-что напечатать о древних тиранах, восточных деспотах, Иване Грозном, Николае I, фашизме, людоедах и прочем. (О том, что пришел наш час, стало известно из выступления, — конечно, нигде не напечатанного, но, конечно, немедленно разошедшегося в сотнях копий по всей стране, — секретаря ЦК Федосеева, заявившего в Ленинграде в предъюбилейные дни 1967 года, что критика культа личности прекращена, потому что некоторые люди пользуются ею для подрыва основ советской идеологии. Кто хочет писать о произволе и беззаконии, — добавил он, — пусть пишет о Мао Цзедуне или о латиноамериканских диктаторах.) Срок действия загадочной, озадачившей всю литературную Москву фразы Председателя идеологической комиссии Центрального Комитета, кандидата в члены Политбюро Демичева о том, чтобы меня не трогали, произнесенной в ответ на резкий выпад Кочетова в конце ноября 1967 года, кончился. Меня начали трогать.

Стало ясно, что больше они мне ничего не позволят. И поэтому нужно было делать все самое непозволительное. Самым непозволительным было писать о том, ктѣ они и чтѣ они сделали. И я писал об этом всегда, но сейчас нужно было писать, не прикрывая злодеяние историей, аллегорией и метафорой.

Кривая роста сталинизма все настойчивее выпрямлялась и встала угрожающе прямо. Как палка.

Мы вышли на балкон; было серо, сыро и рано.

— Что ждет нас на родине? — с тоской спросила Наташа.

На родине нас ждал топтун.

Медленно и нудно на другой стороне улицы, под нами, рассказывался унылый топтун.

— Смотри, — сказал я, показывая бровью вниз. — Чей это топтун?

— Твой топтун, — уверенно сказала Наташа. — Не Карповой** же.

— Не Карповой, — вздохнув, согласился я.

* Все имена подлинные.

** Подлинное имя.

(Валентина Михайловна Карпова представляет собой полное собрание жира, злобы, тупости и дерьма, а также безграничной предашности новому составу Политбюро ЦК КПСС и еще не до конца осуществленных надежд на уничтожение подвластной ей литературы — она главный редактор издательства «Советский писатель», и ее надежды постепенно осуществляются. Валентина Михайловна наша соседка по дому писателей, в котором мы живем, мой смертельный враг. О ней я решил написать роман. Или трагедию.)

В шесть часов утра, никому не сказав о своем возвращении в Москву, побросав дорожные вещи в красную с черной клеткой сумку, мы уехали в Таллин.

Нужно было понять, решиться понять, что мое странное существование, прозябание в советской литературе кончено.

Я сообщил своим друзьям на Западе, что теперь нужно печатать мою книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», рукопись которой была отправлена за границу сразу же затем, как издательство «Искусство» после доноса заместителя главного редактора Юлия Германовича Шуба и заведующего редакцией драматургии Валентина Ивановича Маликова потребовало от меня переделок, которые могли бы удачно превратить ее в другую книгу: «Победа и возрождение советского фашиста. Михаил Шолохов».

Решив печатать несомненно враждебную советской власти книгу в свободной стране, я счел свои взаимоотношения с советской литературой законченными. И поэтому мое пребывание в Союзе писателей Кочетова и Федина, Софронова и Шкловского, Ермилова и Славина совершенно противоестественно и я должен из этого Союза уйти.

Дом был большой, кривой и темный. По нему тихо ходили четыре человека и две кошки. Я работал над письмом в Союз писателей за старинным столом, который до захвата этой маленькой прекрасной страны принадлежал (по рассказам) ректору университета в Тарту.

Я хорошо знал, что такое необходимая и неминуемая обреченность интеллигенции в рабовладельческой полицейской стране, и я знал, что меня ждет гибель.

Я знал, что даже смерти Сталина не хватило на то, чтобы исправить советскую власть. Советская власть неисправима, неизменяема, преступность ее непрерывна, из восьми председателей ее Совета Министров — Ленина, Рыкова, Молотова, Сталина, Маленкова, Булганина, Хрущева, Косыгина — только первый и последний (пока) ею же самой не объявлялись преступниками. Люди должны понять, что такое советский фашизм, понять, испугаться за себя и научиться защищать свою свободу.

Лена повезла письмо в Москву, а мы остались в Таллине ждать известий об издании книги на Западе.

Известий не было день и не было два. Больше ждать было невозможно, потому что мое письмо уже, несомненно, пришло в Союз писателей, а меня самого в Москве не было.

Фиолетовая вспыхивающая и замирающая эстонская ночь стояла над домиками и пустырями таллинского предместья.

До отъезда оставалось час с четвертью.

Зеленоватый человек стоял у калитки. Калитка пружинно пошла туда, назад, туда.

— Зачем.

— А!

— Нет.

— Давай.

Я увидел синеватые покачивающиеся печати на голубоватом косо повисшем листе, его подбородок висел над моей головой, шла по дуге от груди к карману рука с отрубленным большим пальцем, я с силой выпрямил тело, ударил его головой в подбородок и упал.

Дерево, листвой вниз, плясало передо мною. Проехал по ногам дом. Кружил вокруг головы поезд свистя.

Я подтянулся на руках, уперся локтями в землю и, подтягивая к животу ноги, встал.

Их было двое, и они были далеко.

— Без треску, — отчетливо и тихо сказал первый. — Крути так.

Наташа была над ними. Второй отделился и косо побежал вниз. Я скользил вверх влево. Первый падал медленно и легко. Выставив прямые ноги, я уперся плечами в изгородь и — дышал. Легко и быстро пробежала вперед, назад Наташа и, завизжав, с размаху надела ему на голову красную сумку в черную клетку.

— Дура, — заорал я, оцепеневая от страха, — беги! — И побежал сам вдоль изгороди. Наташа побежала в другую сторону, потом метнулась назад, побежала за мной, схватила меня за рубашку, и мы оба упали. Он бросил в нас красную сумку в черную клетку, и Наташа с криком: «Это чужая сумка!» — схватила ее и, прижав к животу, побежала.

Я выскочил из арки. Дерево было похоже на взрыв.

— Выпейте молока, Наташа, — медленно сказала Эва. — Конечно, просто так они не убьют вас. Я знаю. Им нужно живых. Я знаю.

Прекрасная белая, голубоокая художница, которая девочкой пережила русских, девушкой — немцев, молодой женщиной — снова русских, знала все.

То, что мы сделали, было, вне всякого сомнения, самым нелепым поступком в нашей жизни. Последствия этого поступка могли быть только смертельны. Все это было иступлением, ослеплением, отчаянием, непростительным, роковым легкомыслием. Куда бежать? Прятаться? Скрываться? Ведь знал же я в 1943 году, что меня арестуют, но мне и в голову не пришло бежать. Куда

убежишь в этой стране, где тебя из корысти, страха и преданности выдаст первый пионер, последний пенсионер. Но ведь это Эстония, она была свободной и не забыла об этом. Как бежать, как бежать? Когда я и десяти шагов не пройду не задохнувшись.

— Нужно что-то придумать, — сказала белая и голубая художница, медленно соединяя и разъединяя перед глазами пальцы, уже придумав.

Я не хотел, чтобы она это сказала первой.

Наташа хотела сказать это первой.

— Нет, — сказал я. — У нас есть только один выход.

Я боялся, что Наташа захочет заплакать. (Она любит плакать.)

Если бы всего этого не произошло, попытались бы мы бежать на Запад? Да. Попытались бы, рискуя жизнью, вырваться из этого советского застенка. Думал ли я до этой ночи о свободе? Да, конечно. Всякий раз, когда я видел кровь, которую льет эта власть, пепел ею сожженных книг. А она льет кровь, сжигает книги, топчет свободу без перерыва и сна, без праздников и выходных дней, не уходя в отпуск, не уставая, не отдыхая. «Господи? — думал я, — Господи, неужели я никогда не вырвусь из этой смердящей ямы, именуемой моей родиной?» (Меня опровергнет полковник в отставке, народный артист, токарь-лауреат, доярка-герой, академик, выживший из ума, эмигрант-патриот.) Тогда мысль об эмиграции утрачивала столь яркие краски, однако приобретала более отчетливые формы. Но до тех пор, пока была надежда, тень надежды, еще не растаявшее эхо надежды на то, что можно хоть что-нибудь сделать в России, об эмиграции незачем было думать. Русский писатель должен бороться с отвратительными преступлениями своих соотечественников в своем отечестве. Но в моем отечестве наступила такая злобная и безудержная реакция, что борьба, которую я вел двадцать пять лет с первой своей книги до последней строки, — на старом театре стала бесплодной. Нужно было искать новых путей; я думаю, что эти пути лежат с Запада на Восток.

(Вы, конечно, сразу напишете, что мы бежали из-под ареста не из-за письма в Союз писателей, а из-за того, что неудачно пытались изнасиловать соседскую старуху, поджечь водопровод и ограбить колхоз. О колхозе лучше не пишите, поскольку всем известно, что грабить там нечего.)

— Хорошо, — сказала Эва, вернувшись. — Все хорошо. Шведские паспорта стоят две тысячи рублей. Нужно две фотографии.

У нас едва набралось полторы тысячи (остатки гонорара за третье издание моей книги о Тынянове). Триста было у Эвы (с завтрашними на хлеб). Мы побросали в проклятую красную сумку деньги, часы, кольца, золотой браслет с чем-то зелененьким, какую-то сомнительную брошку, которая в нашем доме условно считалась «жемчужной», и золотой зуб. Я попробовал бросить

туда же утиог (для веса), но Наташа отпяла утиог и выставила меня за дверь.

Когда поезд тронулся, я заглянул в паспорт. В голубоватом его небе висел черный орел Федеративной Республики Германии...

— Куда мы едем? — синяя от страха и бешенства, просипел я.

— В Федеративную Республику Германии, — как мне показалось, пошутила Наташа. — Все переменялось. Я забыла тебе сказать. Между прочим, шведских уже не было. Расхватали.

Уходила, убывала, таяла земля великой России, гениальной страны, необъятной тюрьмы. Из этой страны-тюрьмы пытался бежать Пушкин и бежал Герцен. Прощай, прощай, прощай, Россия. Прощай, немытая Россия. Прощай, рабская, прощай господская страна. Страна рабов, страна господ, страна рабов, страна господ...

Я десять раз видел смерть и десять раз был мертв. В меня стреляли из пистолета на следствии. По мне били из автомата в этапе. Мина под Новым Иерусалимом выбросила меня из траншеи. Я умер в больнице 9-го Спасского отделения Песчаного лагеря и меня положили в штабель с замерзшими трупами, я умирал от инфаркта, полученного в издательстве «Советский писатель» от советских писателей, перед освобождением из лагеря мне дали еще двадцать пять лет, и тогда я пытался повеситься сам. Я видел, как убивают людей с самолетов, как убивают из пушек, как режут ножами, пилами и стеклом на части, и кровь многих людей лилась на меня с нар. Но ничего страшнее этого прощания мне не пришлось пережить. Мы сидели вытянутые, белые, покачивались с закрытыми глазами.

В Мюнхене нас встретили старинные московские друзья, милые и добрые брат и сестра, пишущие вместе и написавшие десяток книг и сотню статей по истории, литературе, социологии и общественной мысли России. О России они знали все.

— Аркадий! — закричал Клод,* увидев нас в окне подъезжающего поезда, — это правда, что на Урале обнаружили документы, подтверждающие, что Сталин был гуманист и очень тонкий политик?

Поезд долго шел вдоль длинной платформы и Клод с Дези,** размахивая цветами, бежали за ним.

— Что? — кричал я, — документы? Обнаружены, обнаружены. А вы, наверное, очень беспокоились, что они где-нибудь затерялись?

— Мы страшно волновались! — кричала Дези, отставшая на два вагона.

— Не волнуйтесь! — кричал я, вываливаясь из окна. — Я сам

* Вымышленное имя.

** Вымышленное имя.

обнаружил «Историю ВКП (б). Краткий курс». Там все написано, как вы говорите.

Поезд остановился. Мы стояли в вагоне, брат и сестра, розовые и страшно довольные, на перроне.

— Да, теперь у вас хорошо. Очень хорошо, — кивал розовый Клод.

— Как я им завидую! — прелестно вздохнула розовая Дези. — Позвольте... — она раскрыла рот и закрыла глаза, — позвольте... — она закрыла рот и раскрыла глаза, — зачем же вы тогда... — она раскрыла и рот и глаза, — бежали?!

— Дези, — тихо и с отвращением сказал я, — у нас тоже есть такие. Им ужасно хочется, чтобы все было хорошо. Особенно им самим. И они необыкновенно искренне стараются решительно ничего не понимать. И многим это удается прекрасно. Они предлагают вниманию почтенной западноевропейской и восточноевропейской публики (раскланиваются) два цирковых номера, я хотел сказать две идеи: при Сталине было хуже, а сейчас лучше, и возврат к сталинизму невозможен.

— Да-да, — кивали Дези и Клод, — как это правильно, как правильно. Действительно, как много еще таких людей. Мы тоже так думаем.

Может быть, поезд перевели на другой путь, быть может, мы уже были в Бразилии — я встречал добрых, хороших людей в разных странах, — а мы все стояли, разделенные железной стенкой вагона и беседовали об истории, литературе, социологии и общественной мысли России. Только мы были голодные, а они добрые.

Мюнхенская ночь стрекотала электрическими вспышками, шинами автомобилей, скрипками и стихами, вспыхивала и мерцала.

Мы бродили по темной спальне, натыкались на мебель, говорили не друг другу, а широкому кругу советской и западноевропейской, восточноазиатской и южноафриканской либеральной интеллигенции фразы, иногда очень резкие, об истории, литературе, социологии и общественной мысли России.

О, я еще не забыл длинные реки московских бесед о том, возможен ли возврат к сталинизму или невозможен. А в это время уже арестовывали и тайно судили, избивали, обыскивали, снимали с работы, выгоняли из университетов, жгли книги.

Люди должны понять, что нельзя предаваться иллюзиям, нельзя утешать себя и обольщаться надеждой. Год 1937 тоже начинался не с «бессмысленных» репрессий. «Бессмысленными» они стали потом, когда их стало выгоднее называть бессмысленными, чем естественными для жандармско-коммунистического государства. Не прельщайтесь выгодным для нынешних дней сравнением со сталинскими временами. В любую минуту безответственный однопартийный режим, пошептавшись в углу со специалистами в

разных областях усмирения, с Богом, идя навстречу пожеланиям трудящихся, может устроить кровавую пляску и уже устраивает ее. А мотивы могут быть такими; по мере продвижения к социализму наступление внутренних врагов становится все более ожесточенным. И поэтому нужно беспощадно уничтожать всех, кто выступает против нашего великого дела. Или такими: по мере продвижения к коммунизму наступление внешних врагов становится все более коварным. И поэтому нужно беспощадно уничтожать редких, но еще встречающихся в нашем здоровом обществе отщепенцев, которые мешают нашему великому делу.

В любую минуту все может вернуться к прежнему и уже возвращается, потому что однопартийный режим не терпит единственной серьезной гарантии свободы — оппозиции. Не ободряйтесь звериной внутрипартийной борьбой: она не принесет нам свободы. Потому что это лишь борьба одних негодяев против других негодяев, и победа одних над другими не приведет ни к чему. Сейчас в России есть только одна сила, способная сдерживать бешеное наступление сталинизма, фашизма — не сдавшаяся интеллигенция. Та интеллигенция, которая знает, что такое настоящий советский террор, помнящая, как он начинался, и понимающая, что он начинается снова. Мы — единственные носители идеи национальной свободы, и нас сосредоточенно и серьезно слушает молодое поколение России. Все это гораздо опаснее, чем думают владельцы страны, концепция которых не выходит за пределы разумения милиционеров.

Утром я написал письмо и телеграфировал известному русскому ученому Глебу Петровичу Струве* о том, что мы на свободе, а вечером мы получили в ответ от него телеграмму. Глеб Петрович каким-то образом догадался, что мы голодны, и весьма сердито велел нам немедленно взять деньги у своего мюнхенского знакомого в счет издания моих книг на английском языке. Кроме того, он поручил нас своему другу, видному адвокату мистеру Роберту Найту.**

Потом мы послали в американское консульство и подали заявление о предоставлении нам политического убежища в Соединенных Штатах и выдаче въездных виз.

В консульстве поудивлялись, повздыхали, закивали головами, спросили, какая погода в Москве и когда придет на гастроли Леонид Коган. Про визы забыли, потом вспомнили, ужаснулись и пригласили зайти на следующий день.

Бежав из Советского Союза, мы совершили преступление, предусмотренное статьей 64 Уголовного кодекса РСФСР, и должны быть судимы и осуждены на тюрьму или лагерь, или смертную казнь.

* Подлинное имя.

** Подлинное имя.

Я не считаю ваши законы имеющими юридическую и моральную силу, и я отвергаю глупенький аргумент касательно того, что если ты живешь в стране, то обязан подчиняться ее законам.

Есть и другие аргументы.

Вы забыли о том, что был Нюрнбергский трибунал, который осудил главных нацистских преступников именно потому, что они создали преступные законы и действовали по ним.

Вы не считаете ваши законы преступными, и рейхсминистр Риббентроп был такого же мнения о своих. Однако же представитель советского обвинения вместе со своими западными коллегами настаивал на том, чтобы этого законодателя и исполнителя повесили, и его повесили.

Я настойчиво советую вам, советские законодатели и исполнители, внимательно изучать материалы процессов над всеми злодеями.

Но можно предлагать не только глупенькие советские аргументы. В историческом существовании людей, общества и государства действительно возможен вопрос: во что превратилось бы человеческое бытие, если бы люди жили лишь по тем законам, которые они признают?

Вероятнее всего, здесь возможны лишь два случая. В одном — жизнь была бы превращена в ад, подобный тому, который устроили вы, нарушив законы Российской империи и заменив глубоко реакционную монархию откровенно преступной диктатурой. В другом случае — произошло бы обновление цивилизации, как это было в эпоху Возрождения, когда подверглись разрушению наиболее консервативные законы эпохи-предшественницы.

Переезд из одной страны в другую нравственные — то есть главные — нормы не запрещает, а болтовня об измене родине отношения ко мне не имеет, ибо я не солдат, присяги вам не давал и отношение к вашим идеалам у меня не менялось. Я всегда относился к ним одинаково: с гадливостью. Именно поэтому, когда мне едва исполнилось двадцать два года, вы посадили меня в тюрьму и по своим хищным законам поступили совершенно правильно. Я с глубоким удовлетворением думаю о том, что просидел около тринадцати лет в советском застенке не за песни, посвященные доблестной советской власти, а за то, что как мог убеждал людей, что это вы, договорившись с Гитлером в 1939 году, развязали Вторую мировую войну, получив за это Западную Украину и Западную Белоруссию, Бессарабию, Эстонию, Латвию и Литву. Как мог, убеждал я людей в том, что более жестокой, бессмысленной, жадной, лицемерной и безнравственной власти, чем советская власть, история мира не знала. И уже есть люди, которых мне удалось убедить. Я хорошо знал, что делаю. Книгу, за которую я был арестован, называли «Антисоветский роман», книгу, за которую я получил двадцать пять лет лагеря особого назначения, называли «Антифашистский роман».

Свобода открылась неожиданной догадкой, что она существует, что она реальна. Покачиваясь и переливаясь, она поспешила нас в новые измерения людей и событий.

Мы благодарим всех вас, кто дал нам хлеб, кто дал нам кров, кто дал нам перо и бумагу, на которой мы рассказали вам о себе, отвечая лишь перед совестью, истинной и неистребленной жаждой свободы.

Косо и быстро летел Атлантический океан. Качнулся и исчез под крылом Нью-Йорк. Потом — болезнь, госпиталь святой Марии. Потом Рочестер, Чикаго, опять Нью-Йорк, Гринвич... Может ли сразу понять человек из России, что он на свободе? Прощайте все, кого мы любили и любим, милые и дорогие... Соленая горечь утрат и потерь... Прощайте, прощайте...

9 июля 1968 года, Спринг Велли, Миннесота.

Уголовное дело № 299. 1968 г.

В марте 1988 г. адвокату В. Л. Эрману сообщили по телефону из архива ФСБ РФ, что против А. В. Белинкова и Н. В. Белинковой вскоре после предоставления им в октябре 1968 года политического убежища в США было возбуждено уголовное дело, приостановленное 21.XI.1968 г.

Адвокат В. Л. Эрман получил письмо из прокуратуры Москвы от 2.VI.1998 г. с извещением о том, что дело Белинковых 1968 г. не найдено. Известен только его номер — 299.

Бегство за границу гражданина СССР квалифицировалось по ст. 64 «а» УК РСФСР, действовавшего в 1968 году. Статья 64 называлась «Измена Родине».

По этой статье и было возбуждено дело против Белинковых, приостановленное 21.XI.1968 г.

Дела по этой статье согласно ст. 36 УПК РСФСР были подсудны Мосгорсуду.

Наказание по ст. 64 было: от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертная казнь с конфискацией имущества. Наказание определял суд. Согласно ст. 38 пункт 4 УК совершение преступления впервые являлось обстоятельством, смягчающим ответственность, если это преступление не представляло большой общественной опасности и было случайным.

Совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, согласно п. 1 ст. 39 УК, являлось обстоятельством, отягчающим ответственность при назначении наказания.

Постановлением Конституционного суда РФ от 20.12.1995 г. № 17—П положение п. «а» ст. 64 УК, квалифицирующее бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы, как измену Родине, признано не соответствующим ст. ст. 27 ч. 2 и 55 ч. 3 Конституции РФ.

В УК РФ, который действует с 01.01.97 г., этот состав преступления исключен из ст. 275 «Государственная измена».

По этим основаниям, а также в силу ст. 77 (изменение обстановки) и ст. 78 (давность) — обе по действующему УК, Белинковы не подлежат уголовной ответственности за бегство в 1968 году из СССР.

Амнистии по ст. 62 старого УК РСФСР не объявлялось.

**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
Г. МОСКВЫ**

113184, Москва, Новокузнецкая ул., 27

«18» июня 1999 года

№ 13/7-14-10/99

СПРАВКА О РЕАБИЛИТАЦИИ

Гр-н Белинков Аркадий Викторович

Год и место рождения 1921 г., г. Москва

Место жительства до ареста Москва, ул. Малая Грузинская, 31. кв. 69

Место работы и должность (род занятий) до ареста Московское отделение Союза писателей РСФСР, пиатель; критик-литературовед

Когда и каким органом осужден (репрессирован) 21 августа 1968 г. УКГБ при Совете Министров СССР по Москве и Московской области

Квалификация содеянного, мера наказания (основная и дополнительная), дата ареста не арестовывался; ст. 64 п. «а» УК РСФСР; 2 июня 1999 г. уголовное дело прекращено прокуратурой г. Москвы по ст. 5 п. 2 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления

На основании ст 3 п. Д и ст. 5 п. Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. гр-н Белинков А. В. реабилитирован.

Зам. прокурора города

С. И. Герасимов

Письмо В. Л. Эрману из прокуратуры Москвы от 2.VI/1998 г.

УФСБ РФ по Москве
и Московской области
Служба РАФ

Юридическая консультация
№ 16
(для адвоката Эрмана В. Л.)

119034, Москва,
Всеволожский пер., д. 3

Возвращается запрос юридической консультации № 16 о розыске уголовного дела.

По имеющимся в прокуратуре сведениям уголовное дело № 299 в отношении Белинкова А. Б.* и Белинковой Н. А. 04.08.94. за исх. № 13-1-94 возвращено в Службу РАФ УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Приложение: по тексту на 2л.

И. о. начальника отдела реабилитации
жертв политических репрессий

Т. В. Львович

* Так в документе.

Содержание

<i>Н. Белинкова-Яблокова. Правда вымысла прокладывает дорогу правде факта</i>	5
Большая зона	
Черновик чувств	11
Следственное дело № 71/50. 1944 г.	91
Исправительно-трудовой	
<i>Книга первая. Россия и Черт</i>	135
<i>Роль труда. Пьеса</i>	166
Человечье мясо	206
Следственное дело № 57/52. 1951 г.	255
Склонен к побегу	
Побег	271
Уголовное дело № 299. 1968 г.	282

Белинков А. В.

Б 43 **Россия и Черт.** Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы. — СПб.: «Журнал "Звезда"», 2000. — 288 с.

Книга известного писателя А. В. Белинкова «Россия и Черт» составлена из произведений, отражающих все этапы трудной жизни писателя. В книге опубликован его первый роман «Черновик чувств», за который выпускник московского литературного института получил в 1943 г. 8 лет лагерей. В заключении Белинков продолжал писать. За эти свои достижения он получил уже 25-летний срок... Недавно возвращенные наследникам писателя из архивов ФСБ, эти произведения печатаются в настоящем издании. Закончил свои дни А. В. Белинков в США, не вернувшись в 1968 г. из заграничной поездки.

Этому эпизоду посвящено его последнее, написанное в прозе произведение — рассказ «Побег». Художественные тексты писателя перемежаются в настоящем издании материалами следственных дел, протоколами допросов и другими документами из архивов ФСБ.

Аркадий Викторович Белинков

Россия и Черт

Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы

Редактор *А. Ю. Арьев*

Корректор *Н. В. Виноградова*

Художник *В. А. Гусаков*

Компьютерная верстка *С. А. Шараев*

ЛР № 062572 от 15 июля 1998 г.

Подписано в печать 10.05.2000 г.

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура Балтика.

Печать офсетная. Печ. л. 18. Тираж 2000 экз. Заказ 171.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «ИПК» Бионт».

Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., 86